

Литературно-художественное издание

Сервий **Юлий** Макрон

«...СОКРЫТИЕМ СОКРОЮ...»

Книга I:

РОДОССКАЯ ПАУТИНА

Интерлюдия:

ИГРА В ИЗЛОМАННЫЕ КОСТИ

Роман



Руководитель проекта К.С. Филиппов

Главный редактор В.В. Дашевская

Технический редактор В.И. Сергеев

Сдано в набор 17.08.2003. Подписано в печать 11.03.2004.
Формат 60×84 ¹/₁₆. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 16,74.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 61.

Издательство ООО «Терра».
344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 33, тел. 99-94-78.
ЛР № 65-61 от 24.01.2000.

Отпечатано в типографии ООО «Терра».
344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 33, тел. 99-94-78.
ПЛД № 65-110 от 15.07.97.

Сервий Юлий Макрон

הַסְתֵּיר אֶסְתִּיר

«...СОКРЫТИЕМ СОКРОЮ...»

Роман в трех книгах

Я сокрытием сокрою лицо Мое в тот день за все зло,
которое сделал он, обратившись к богам иным.

Второзаконие 31:18

Для чего в Дварим 31:18 слово «сокрытие» повторено
дважды? Чтобы показать – само сокрытие будет сокрыто.

Израэль Бааль Шем Тов

Ростов-на-Дону
«Терра»
2004

Сервий Юлий Макрон

Книга первая

РОДОССКАЯ ПАУТИНА

Представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде
деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и
вот и вся вечность.

Ф.М. Достоевский.

Преступление и наказание, IV:1

Что такое вечность – это банька,
Вечность – это банька с пауками.
Если эту баньку
Позабудет Манька,
Что же будет с Родиной и с нами?

Виктор Пелевин.

Generation «П»

*Перевод с латинского, литобработка:
В.И. Сергеев*

Ростов-на-Дону
«Терра»
2004

ББК Ш5(2Р)6=544.2и
С 32

Рисунок на авантитуле Р.А. Аванесян

Сервий Юлий Макрон.
С 32 «...Сокрытием сокрою...». – Кн. I: Родосская паутина. – Интерлюдия: Игра в изломанные кости: Роман / Пер. с лат. и литобработка В.И.Сергеева. – Ростов н/Д.: ООО «Терра», 2004. – 288 с.

ISBN 5-98254-012-9

Книга представляет собой весьма вольный, литературно обработанный перевод произведения предположительно античного автора, оригиналом которого редакция в настоящее время не располагает. Редакция обращается к лицу (лицам) или организациям, у которых находятся фрагменты оригинала, с настоятельной просьбой связаться с нею в целях полного научного издания документа, а также его текстологической, почерковедческой, папирологической и прочих экспертиз, которые позволят установить подлинность, надежность и достоверность источника. Выполнение этой работы может пролить новый свет на историю Рима начала новой эры. Пока этого не сделано, редакция просит читателей не связывать имена фигурирующих в книге лиц с реальными историческими и мифологическими персонажами и отнестись к предлагаемому тексту исключительно как к художественному вымыслу, апокрифу, а возможно, и злонамеренной фальсификации. Переводчик и издатели просят воспринимать предлагаемый текст буквально, «as is» (как есть), и не несут ответственности за мысли и ассоциации, которые могут прийти читателю в голову в результате его прочтения.

ББК Ш5(2Р)6=544.2и

ISBN 5-98254-012-9

© Сергеев В.И., перевод, литобработка, 2004

Пролог. ЦИНТИЯ

...Паук ласково жмурит восемь своих красноватых глаз, шевелит влажным бело-розовым провалом рта, обрамленным тонкими и короткими ветвистыми лапками; раздаются шелестящие звуки, но слов она не слышит или не понимает... Он похож на обросшего мхом краба, но размером – с веоря. Он нежен с нею – поглаживает ее щеку чудовищной клешней, поросшей мягким седоватым волосом, приносит еду, – сотовый мед, сыр, овощи, куски поджаренного мяса, с которых почему-то капает кровь... Он из своих лап кормит ее, а из его толстого, атласного, бело-золотого брюшка, поросшего спутанной рыжевато-седой шерстью, порой подрагивая, высовывается и тут же втягивается острое жало... И она, оцепеневшая, заледеневшая от ужаса, криво улыбается и ест эти кровавые блюда, – чтобы не вызвать его гнева...

Он свил гнездо у нее в животе, в fons vitae¹. Как он, такой огромный, умудряется влезать в нее, не причиняя ей боли, поворачиваться там, нежно постукивая ножками?..

Пошевелиться она не может – лежит навзничь на травянистом пригорке, заросшем колючим кустарником, вся опутанная сероватыми нитями, волокнистыми и липкими. К ним пристал пыльный мусор – разноцветные блестящие стрекозиные крылышки, пух одуванчиков, желтые сухие листья – и звездное небо видно едва-едва, отдельными кусками. Там, в этом уже давно безлунном небе, развешана чудовищная паутина, похожая на рыболовные сети. По ней бегают другие пауки, такие же, как этот, серо-золотые, с узором креста на спине. Они ловят созвездия: вот несколько пауков слаженно хватают запутавшееся в сетях созвездие Рыб, выстригают его, опутывают липкими нитями и подвешивают в коконе... Обливают кокон смолой и зажигают: летят багрово-черные

¹ Источник (родник, ключ) жизни (лат.).

сплохи, копоть, разносится смрадный запах смолы, горелой человеческой кожи, паленых волос...

Желтовато-бурый липкий дым – или туман? – окутывает все, серой пылью путается в волокнах паутины, грязными хлопьями свисает с них копоть... *Patriae fumus igne alieno luculentior*¹. Низкие небеса провисают, как койка галерного каторжника, страдающего недержанием мочи. И на этих серых и пятнистых небесах там и сям, на тех самых местах, где прежде горели груды звездного огня, висят гроздь паучьих коконов, мерцающих изнутри светом, который с равным правом можно назвать и золотым, и гнойно-желтым...

Вот пауки чего-то не поделили и схватились между собой: с низких паутинных небес на землю падают обломки жвал, лапок и клешней, хитиновые панцири, капает гной из пропоротых брюх...

И это все длится, длится, рассвет все не наступает...

Цинтия застонала во сне.

Тиберий услышал ее стон и тряхнул головой, отгоняя наваждение. Что за кошмар лезет в голову! Откуда эти пауки примерещились?..

Она сквозь сон услышала, что он идет к ней, и, не открывая глаз, пробормотала:

– Я уйду... сегодня...

– Куда это еще?

Тиберий в который раз удивляется: почему он до сих пор не «отодрал ее по черному», как выражаются легионарии? Потому что она так ошеломительно красива?.. Или потому, что напоминает ему Випсанию?.. Та тоже была совершенно воздушной...

Словно догадываясь о его желаниях, она встречает его во всеоружии, привстав на ложе так, чтобы иметь возможность ускользнуть. Впрочем, движения ее медленны, ленивы и бесстыдны... Во имя Венеры Вертикордии, как она пахнет со сна!..

– Откуда не возвращаются, вот куда...

¹ Дым отечества ярче огня чужбины (лат.).

А! Вчера он намекал ей, о чем будет писать Августу. Она подыгрывает ему.

– И ты собираешься унести туда, откуда не возвращаются, это изумительное тело?

Он хочет схватить ее, но она легко уходит от объятий, соскальзывает по ту сторону ложа и тянет за собой покрывало тончайшего виссона с пурпурной полосой по краю.

– Женщина уходит для того, чтобы остаться... – мурлычет она, одной рукой придерживая простыню, а кулачком другой то протирая глаза, то прикрывая зевающий рот. – Женщина потому только и остается, что вовремя уходит...

– В памяти, в памяти остается! – он слегка раздражен. – А не на самом деле. И потом, я еще вовсе не хочу, чтобы ты уходила! Тебе что, нравится поступать наперекор моим желаниям?

– Всякому нравится поступать наперекор чужим желаниям, ты это прекрасно знаешь. А иногда и уступать чужим желаниям... своим изумительным телом... – добавляет она, поддразнивая его.

Он усмехнулся:

– То-то...

– Пока оно изумительное... Но и потом!.. – словно спохватывается она, а на самом деле продолжает дразнить. – Послушай, я и потом, я и *оттуда* буду любить тебя! Ведь не может же быть *ut meus obeito pulvis amore vacet*¹...

– *Pulvis*?¹ Но мне не нужен прах! – ворчит Тиберий. – Мне ты живая нужна, живая...

Тиберия возмущает ее явный отказ от утренних забав. И все же на прямое насилие рука у него не подымается...

– А что значит «живая»? – продолжает Цинтия. – Когда-то я жила *в маме* – и ничегошеньки о том не помню. Но это не значит, что я была *неживая*, – из ее крови и семени отца в ней ткалась та пурпурная ткань, которая потом стала

¹ «Чтобы мой прах позабыл о нерушимой любви» (лат.; *Проперций*. Элегии, I: 19 / Пер. Льва Остроумова).

¹ Прах (лат.)

мной. Еще раньше я жила *в любви*, которую мама испытывала к отцу – и тоже об этом ничего не помню. Но это не значит, что я была *неживая*, – мама вздыхала, плакала, шла на причал, с замиранием сердца смотрела на закатные тучи над морем, на пенные гребни волн, искала глазами среди них *его* парус... Вот как я выглядела тогда... Мама звала меня Мелией – «песней»! – ни с того ни с сего добавляет она.

– Где ты этого набралась? – ворчит Тиберий. – Это – болтовня трусливых софистов. Они, мол, жили до рождения и продолжают жить после смерти. Конечно, *piscum sociore peritunt magnaе animae*¹ и все такое прочее, но это важно для тех, кто остался, а не для того, чье тело предадут костру!..

– Да, глупы люди, что боятся смерти – забавно морщит носик Цинтия. – Но я-то пребываю вовеки! И через сто, и через тысячу лет все та же я буду вдыхать тот же аромат роз и хлебать ту же горько-соленую морскую воду! Всех и каждого беру в свидетели! Никто не убедит меня в обратном!

Тиберий нахмуренно молчит, стоя у резного столика красного дерева, инкрустированного бронзой. На столике громоздятся письменные принадлежности, пергаменты, папирусы... «Вот помрешь – и узнаешь», – думает он раздраженно. Но вслух говорит другое:

– Одному легионарию моему голову снесли, а он в пылу битвы того не заметил и продолжал доблестно сражаться...

Цинтия игнорирует его слова.

– Знаешь, как молятся рыбаки в Аркадии, когда корабль уходит под воду? – говорит она, подходя ближе. – «О, Звезда Морей (*Ave, Maris Stella*), дай мне уснуть, а проснувшись, снова взяться за весла». Они знают, что смерть – всего лишь короткий сон, а потом снова нужно будет натирать мозоли веслами и парусной снастью.

– А ты-то откуда знаешь? Ты что, тонула с ними?

Улыбка и пожатие плечами в ответ.

– Рыбак и есть рыбак, – бросает Тиберий. – Умрет – на смену придет такой же. Рыбак, земледелец, легионер в

твоем смысле бессмертны. Но когда умирает Вергилий... Цезарь...

– А в чем разница? Тот возвращается к веслам, этот – к «Энеиде»... Или к своей паутине из донесений и приказов, гонцов и палачей, интриг и совещаний...

– *Возвращается?* После своей... после кораблекрушения?

– А разве пылкий поклонник Вергилия – не тот же Вергилий?

– Но он повторяет *чужие* слова...

– Чужих слов *нет*. Если в них истина – их диктует Тот, кто обладает истиной, это *Его* слова, и неважно, кто их записал. Если же в них ложь – один глупец за другим бормочут их, каждый раз считая своим открытием...

– Гм?..

– В тебе живут сотни людей – сотни снов, – и жизнь каждого длится не дольше мысли. Они являются – и тут же умирают; разве ты скорбишь об их смертях? Ты и замечаешь-то их не всегда... Ничего кроме этого нет. В какой-то момент – ты Вергилий, в другие – Август, Дионис, летящая бабочка...

– К воронам сны! – снова раздражается Тиберий. – И к воронам бабочек! Умирать-то будет не Вергилий и не Август, а я! Я, понимаешь, я, тот, что есть, единственный. *Других* нет.

– Но что же такое «я»? – с ленивой усмешкой возражает она. – Да, *других нет*, но кто *есть*, кто существует? Ты? Вот уж нет! Только Он Один, *от начала сущий*. Только Он может сказать о себе «Я»!

– А я?

– И ты, и я – всего лишь Его сны...

– ?..

– Я ведь только снюсь тебе, – улыбается Цинтия. – Разве ты не знаешь? И сам себе ты только снишься. Но ты уснул слишком крепко, и потому тебе кажется, что ты – есть, что ты – *на самом деле*... Поэтому тебе и страшно умирать... И больше никогда не пить вина и не трепать одежду на дорогах... Но что значит умереть? Просто присниться тем, кого сейчас нет, кто придет после. Быть их кошмаром – или их сладкой грёзой... Или *не* присниться

¹ Великие души не гибнут вместе с телом (лат.)

им...

– Про сон – это, конечно, чушь. Но главное ты поняла: человек должен остаться в памяти потомков! Иди-ка, прочти, что я написал! – Он самодовольно заводит руки за спину, прогибается, треща суставами. – Кажется, кое-что удалось...

Цинтия подходит, прищуриваясь и тряхнув буйными темно-рыжими кудрями.

– Это, что ли?

«...Мы провели Квинкватрии¹ с полным удовольствием: играли всякий день, так что доска не остывала. Вот и вчера гости были все те же, да еще пришли Виниций и Силий Старший. Мы играли по-стариковски: бросали кости, и у кого выпадет «собака» или шестерка, тот ставит на кон по денарию за кости, а у кого выпадет «Венера», тот забирает деньги...».

– Что ты читаешь! Это – Август пишет мне! Мое – вот оно!

«...Разве не истязая, прославила фортуна всех своих любимцев? И разве не смерть придает окончательный блеск славе человеческой? Зайдет ли разговор об известном человеке, и что мы спрашиваем в первую очередь? «Как он умер?» Двенадцатью подвигами славен Геракл, но первое, что вспоминаем мы – тунику, пропитанную кровью Несса и погребальный костер. Лишь чаша с цикутой окончательно сделала Сократа великим; три четверти людей не знают о нем ничего, кроме чаши с цикутой, и не будь ее – не знали бы и его. Лиши Регула звезд и досок, вырви у Катона меч, свяжи ему руки, чтобы он не смог сдернуть с ран повязки, – и вот уже немалая часть посмертной славы у них отнята...

Кто-то скажет – нелегко добиться, чтобы дух презрел жизнь. Но разве ты не видишь, по каким ничтожным причинам от нее отказываются? Тот повесился перед дверью отказавшей ему любовницы, этот бросился с крыши, чтобы не слышать упреков хозяина... Так неужели добродетели не под силу то, что с такой легкостью делает страх?

Я сделал для Рима достаточно, чтобы имя мое осталось в

памяти потомков. И довольно! Я ухожу!..»

Цинтия с недоумением читает эти строки, поднимает удивленные глаза на Тиберия:

– Чаша с цикутой, меч... Что ж крест-то пропустил?..

– Крест? – удивляется он. – Чей?

– Не посылай этого письма. Так нельзя писать...

– Нельзя? Почему это еще?

– В нем нет спокойствия... уверенности. Здесь они есть, – Цинтия касается письма Августа. – А у тебя... котурны, напыщенность... Может, это и хорошо для декламации... но Август ведь человек умный... Он ждет другого.

– И чего же он ждет?

Словно не заметив его слов, Цинтия оставляет письмо на столике и идет к балюстраде. Тиберий невольно следует за нею, шлепая по мрамору босыми ногами. «Какую, однако, власть забрала надо мной эта девчонка! – думает он. – Я ведь и в самом деле хочу узнать, что она об этом думает...»

...С полгода назад, в конце осени пришла она к дверям его виллы – худенький подросток с огромными глазами. Озябшая, голодная, со сбитыми пальцами и коленками, одетая не по погоде, в легком платье, без сандалий... Не будь она так красива – ликторы-фацисты¹ попросту досадливо отогнали бы ее. Впрочем, стражи из внешнего оцепления даже не видели, где и как она прошла, и клятвенно уверяли, что мимо них ни зверь не прорыскивал, ни ворон не пролетывал... Однако запах хиосского заставлял думать о другой, более прозаической причине их неведения.

Гречанка, из каких-то дальних далей, из всеми забытого рыбацкого поселка на берегу Аркадии. Что она видела в жизни? Мокрые сети, пахнущие гниющими водорослями, скудные сумерки в хижине, едва освещенной сосновой лучинкой?..

¹ Весенний (в марте) праздник в честь Минервы.

¹ От «fascio» – пучок прутьев (лат.), который носили на плече ликторы (охранники, императорская служба безопасности).

Она заявила, что у нее есть дело к наследнику императора. Никакого дела не оказалось, но Тиберий влюбился в нее без памяти, как только увидел.

А когда ее отмыли, умастили, приодели и накормили, оказалось, что с ней не стыдно появиться в любой компании, даже среди тех снобов, что то и дело с самыми благовидными поводами заезжают на Родос и из Египта, и с Востока, и из Малой Азии, и из самого Рима... Да что там «не стыдно»! Они спорили и почти ссорились за право сказать ей слово, сесть с ней рядом...

Плиты, на которых покоится солнце, горячи для босых ног, те же, на которых лежит тень платанов, по-утреннему холодны. Через балюстраду свешиваются длинные плети роз, их почки уже открываются. Тиберий касается руками прохладного мрамора и невольно вздрагивает от его скользкости: за балюстрадой, далеко внизу, вздыхает и взрыкивает море, налетая белопенными волнами на косматые зеленые скалы. Ниже и значительно правее шумит и гроыхает торговый порт Камироса; от судов к складам и назад цепочками идут рабы с амфорами, бочками, тюками и ящиками...

– О, Юпитер, какой чудный день! – жмурится на солнце Тиберий. – И умирать не хочется...

– Зачем же тебе умирать? – Цинтия полуобернулась через плечо, глаз ее не видно за ресницами. – Тебе жить и жить! Ведь ты теперь свободен. Уже несколько дней, как свободен! Завтра утром придет почта, и Август с обычными своими ужимками известит, что от твоего имени дал Юлии развод.

Тиберий недоверчиво хмыкает.

– Как ты можешь знать?

– Он раздумывает сейчас, отправить ее в ссылку или казнить за прелюбодеяние... по древнему праву отца... Ее любовник уже покончил с собой... И ее сообщница Феба, вольноотпущенница... А он сказал, что лучше бы ему быть отцом Фебы, нашедшей в себе силы на это, чем ее отцом...

– Как звали любовника? – быстро спросил Тиберий.

– Юл Антоний. Ты словно проверяешь меня, –

улыбается Цинтия. – Не беспокойся, я *знаю*.

– Только обреченные на смерть могут знать будущее.

– Все мы обречены, – был ответ. – А я сегодня *уйду*...

Тиберий удивленно смотрит на нее, а она – в небесную лазурь, на ту грань, где море перетекает в небо. Так она серьезно? Он делает движение к ней вдоль балюстрады – она отодвигается:

– Не подходи! Прыгну немедленно!

– И вот так всегда, – ворчит Тиберий. – Только почувствуешь себя более-менее уверенно, и на тебе! Либо солнце закатится, либо из цирка возгремит финал Еврипидова хора. *Что еще* тебе взбрело в голову?

– Я беременна, – говорит Цинтия. – Пятый месяц, он уже стучит ножками...

– Очень за тебя рад. Понятно, что тебе хочется прыгать от радости... но почему со скалы? И, раз уж ты взялась предсказывать: буду ли я императором?

Он просто не сумел сдержаться, задавая этот вопрос, и ему неловко. Она оглядывает его, ему чудится в этом взгляде презрение.

– Разумеется, будешь! – Цинтия поглаживает рукой мрамор балюстрады. – А наш сын – если он будет – будет императором мира... Века и века будут править миром его преемники!..

– Императором... Преемники... – иронически растягивает слова Тиберий, словно пробуя их на вкус. – Я по сей день не знаю, буду ли императором *Рима*, а тут сразу – *мира... века́ и века́*... Что ж, я, по-твоему, должен просить тестя, божественного Августа... гм... и сенаторов... признать наследником сына, рожденного... гм... на стороне?... Не зная еще, наследник ли я сам... Вряд ли они обрадуются. Так что с этим предсказанием ты... ошибаешься. А для пророка, видишь ли, важно, чтобы сбывались все его предсказания. Если он ошибается в одном, ему, как Кассандре, уже ни в чем нет веры... Ты, может, не знаешь: у меня есть сын, Друз, ему десять лет, и я нежно люблю и его, и его мать... Випсанию Агриппину... по сей день. Я и тебя-то... взял... потому, что ты на нее похожа. Если я стану императором, – в чем у меня после твоих слов вовсе не прибавилось уверенности, – супругой

моей будет она... я, во всяком случае, все для этого сделаю... Она, не ты. А наследником – он.

– А ни от тебя, ни от Августа, ни от Сената ничего уже не зависит, – усмехается Цинтия. – Випсания отдыхает... И Друз... Сейчас все – в моей власти. Забудь я о долге – ты поразишься, как легко устроится все остальное, сколько сил, – и человеческих, и... словом, *не* человеческих – будет в это вовлечено. Рожэ – и буду императрицей до гроба. И твоей супругой. *Consortium omnis vitae*¹... Даже если Випсания удавится от злости!

Тиберий некоторое время почти с восхищением смотрит на дерзкую девчонку.

– Но если так, – хмыкает он, – зачем тебе умирать? Впереди – океан счастья! Нырять в него, не в эту лужу! С этим ребенком, по твоим словам, к Риму придет власть над миром. Чем же он помешал тебе?

Показалось бы слишком могучим

*Племя римлян богам, если б этот их дар сохранило?*²

– Дар?... Да он будет запредельным чудовищем, ужасом человечества. Каких не было в истории...

– Ну и пусть! – скалится Тиберий. – Подумаешь, чудовищем! Лишь бы правил!

– Он целиком, до последнего человека, вырежет народ...

Тиберий хохочет, не дослушав ее:

– И в этом-то состоит *запредельное* злодейство?

– И еще он уничтожит *книги* (она выговорила это слово по-гречески – Βιβλίον), и после этого у людей не останется надежды. Уничтожит бесследно, полностью, понимаешь, и их, и тех, для кого они святы. И никто даже знать не будет, что книг нет, и надежды не осталось... Она именно так сказала...

– А кто эта «она»?

– Сивилла, – пожалала плечами Цинтия. – Сабба. Старуха. С глубокими морщинами, ввалившимися глазами, бородавками на лице, заросшими седым волосом. И под крышей ее хижины, среди сушеных трав и мухоморов,

¹ «Содружество на всю жизнь» (лат.) – римская брачная формула.
Вергилий. Энеида. VI:870 сл. (лат.; здесь и далее – пер. С.Ошерова).

висело чучело крокодила... – в голосе Цинтии мелькает тень озорства.

– Настоящая ведьма, – удовлетворен Тиберий. – Разве не могла она сказать ложь специально, во зло тебе или мне?

Цинтия стоит, в упор глядя на Тиберия, но и тот не собирается отводить взгляд:

– Ну, хорошо, я – злодей, сын мой – злодей... – Он старается не горячиться и быть убедительным. – Но при чем тут книги? Какое отношение имеют книги к надежде? Какой надежде? Надежде на что? Пойми, это просто бред! Не верь грошовым доморощенным предсказаниям! Из-за пустых слов, сказанных по вздорному поводу, ты собираешься лишиться жизни и себя, и сына. Живого, стучащего ножками! Цинтия! Опомнись! Приди в себя! *Monstra te esse matrem!*¹ Кстати, откуда ты знаешь, что будет сын?

– Сын, я знаю. Но его не должно быть, – спокойно, хоть пальчики ее слегка вздрагивают, возражает Цинтия. – Если он *будет*, он сделает то, что о нем предсказано. Уничтожит народ. Книги. Но те, кто останется, даже не поймут, что произошло. Они будут слагать только славословия в нашу – твою и мою – честь. А проклинать меня тогда, понимаешь, проклинать меня в веках, век за веком, как должно бы, будет просто некому. Некому, понимаешь? *Их* не будет.

– Да кого ж это *их*, разрази их Юпитер?! – откровенно паясничает Тиберий. – Кто посмеет проклинать мою девочку! Да я всех *их*, одного за другим, самолично зарежу, чтобы только ты осталась со мной... *Nec Deus intersit!*¹

– Их? Какая разница...

Цинтия поднимает руки и кончиками пальцев касается лба и висков. Лицо ее жалко и измучено, на верхней губке и на висках – росинки пота.

– В самом деле, какая разница! Мы же не о чем-то реальном говорим... О, позабытая в веках спасительница мира!.. У тебя истерика, девочка, в твоём положении это

¹ Покажи, что ты мать! (лат.)

¹ И Бог пусть не вмешивается (лат.)

бывает... Расслабься, успокойся, приляг, сейчас я велю принести вина и легкий завтрак... Соленые маслины, да? И холодной вареной баранины? Постной... С теплой душистой ячменной лепешечкой, а?

Цинтия отрицательно качает головой:

– Не хочу...

– Ты говоришь – книги. Но что такое книги? Вот Цезарь спалил Александрийскую библиотеку, почти полмиллиона книг – неважно, хотел, не хотел, пусть даже сама сгорела, – что и для кого от этого изменилось? Да хоть все вообще их сжечь – кому от этого станет жарко или холодно, кроме тех, кто сумеет нагреть на этом руки? Хочешь, я сожгу...

Не выпуская ее из вида, он отступает к столику, хватая письмо, подносит к факелу. Пергамент вспыхивает.

Цинтия, полуобернувшись, смотрит... И молчит.

Дались же ей эти книги... Лет десять назад Август действительно собрал по империи и спалил все писанные оракулы, но они были *ложными*, а истинные поместили в храме Аполлона Палатинского. *Nabent sua fata libelli*¹, и в Риме их судьба – быть сожженными. Тарквиний вверг в пламя Сивиллины книги. Цезарь жег все, до чего мог дотянуться. До Александрийской, хоть не все это помнят, была огромная библиотека друидов, в Галлии, в Алезии, – он предал ее огню вместе с друидами... И разве только это... Немудрено, что какая-то гадалка, у которой отняли шпаргалку, позволявшую зарабатывать ее вздорный хлеб, могла наболтать что-то невежественной девчонке...

– Она сказала, что я сама все увижу, – лихорадочно забормотала Цинтия. – И пойму. Я сразу забыла. А вспомнила недавно, после сна с пауком... и увидела. И поняла! Ее слова теперь ни при чем. Я вижу! Когда от подзвездного мира остается жалкая лачуга, заплетенная паутиной, и неразборчивый навязчивый шелест на ухо, – и это уже, пойми, для всех и навеки, надежд нет никаких, надеяться больше не на кого... *Sperandum est vivis, non est spes ulla sepultis*²...

¹ Книги имеют свою судьбу (лат.)

² Надеяться могут живые, для мертвых нет надежды (лат.; Феокрит. Идиллии, IV: 42.).

– Сна с пауком? – вздрагивает Тиберий, вспомнив свой предутренний кошмар, в котором он лежал, спеленутый паутинами, и глядел в полыхающее зарницами пожаров ночное небо. Спину его осыпает холодный пот. – Ты заговариваешься. Ты бредишь. Давай-ка ты приляжешь, и тебе сделают холодный компресс?... Я сам сделаю! А?

Цинтия отрицательно качнула головой:

– Конечно, забудем! Меня ты забудешь сегодня же, еще и солнце не закатится. «Цинтия? Чье это имя? Почему оно мне мерещится?» Так должно быть. Лучше безвестность, чем бесславье... воплощенное в словословиях...

– Цинтия!

– Он мог бы стать подлинным чудовищем, – медленно говорит она, словно закончив что-то мучительное взвешивать и приняв окончательное решение. – Именно этот. *Bellus qua non occisa homo non potest vivere*¹. Но его не будет... – Она побледнела и пошатнулась. – А другой и сделает другое...

Тиберий не ищет слов: слова не помогут. Он шагает от столика к балюстраде, теперь их разделяет всего несколько локтей... Она стоит, слегка склонив голову, упершись руками в балюстраду, словно собирается с силами... Одно мгновение: броситься, схватить ее...

И вдруг, как-то сразу и до конца, Тиберий понимает, что, собственно, происходит. Цинтия одержима демоном! Да! С красными глазами, горящими, как угли, со зловонным, опаляющим, липким дыханием, *cornutus et hirsutus*², – почти наяву предстает он перед ним. И сразу исчезает, но Тиберий чувствует, как руки его, спина, ноги наливаются нечеловеческой силой. Пальцы становятся цепкими, словно когти... Броситься и схватить! И всего-то тут несколько локтей...

Прицеливающимся взглядом, готовясь к прыжку, он глядит на нее, – и вздрагивает, отшатывается, прикрывает глаза рукой... Что это, во имя Юпитера Капитолийского?! За ее спиной распахнулись огромные лебединые крылья... Он отвел руку – разумеется, только показалось! Это всего

¹ Чудовище, не убив которого, человек не может жить (лат.)

² Рогатый и косматый (лат.)

лишь белое волокнистое облачко, отливая жемчужным и розовым, спешит своим таинственным путем по небесной лазури... Но момент для прыжка упущен, ноги слабеют, поджилки трясутся...

Как же устал он от этого разговора!.. О чем он старается? Зачем? Девчонка хочет утопиться, потому что ей что-то там такое наболтали о ее ребенке. Ну и пусть топится! В конце концов, *invitum qui servat idem facit occidenti*¹...

Но чем больше он так себя уговаривает, тем страшнее ему становится. Словно свет понимания – сначала дымный, чадающий, а потом нестерпимо яркий, опаляющий и слепящий, разгорается в нем. В нем, в его чреслах скрыт некий корень зла! Так Минос Критский вместо семени извергал ядовитых змей и скорпионов и губил сходившихся с ним женщин... С этим ребенком – его ребенком! – связано что-то страшное, лютое, непереносимое... От того, родится он или не родится, зависят судьбы мира. О! Она знала это заранее. И пришла специально, чтобы не другая, незнающая, а именно она зачала *этого* ребенка. Зачала для того, чтобы потом убить его... Но как, но разве вообще можно знать наперед такое?

– Цинтия!

– Да?

– Осенью, когда ты пришла, *ты ведь этого еще не знала?*

Ему кажется, что он не сам произносит безнадежный вопрос, а кто-то иной его губами выговаривает слово за словом.

Она не спрашивает, *чего* она не знала, она потупляет глаза, она не в силах солгать:

– Я это знала...

От этого ответа вдоль его хребта снизу вверх идет волна озноба, поднимая шерстинки.

– Ты *только для этого* приходила?

¹ Кто спасает человека против его воли, поступает не лучше убийцы (лат.)

Вот уж и на затылке волосы поднимаются от священного ужаса... Так он угадал?! Она из сонма небожителей?!

С минуту она смотрит на него взором из другого мира, из безмерного своего далека.

– То есть, что ли я, как подневольная рабыня, к тебе была послана... а теперь ухожу?..

Тиберий кивает. Глаза его широко открыты.

– А я ведь собиралась ночью... без тебя... Ты спал...

– Ну?

– Я не смогла...

– Почему?

– А ты не понимаешь? Я хотела проститься...

– Цинтия!..

– И я не могу тебя даже поцеловать, – заторопилась она, – потому что тогда ты меня уже не отпустишь... И я сама не смогу уйти... И ты станешь другим... Мы будем счастливы до погребального костра... Но *он* сделает то, что ему написано на родэ... А этого допустить нельзя... Я не орудие судьбы... пытки... Я – живая, хочу добра, люблю... Но если я не сделаю этого сейчас, я вообще никогда не смогу...

– Цинтия!..

– Не подходи!

Через балюстраду легким, мечущимся своим полетом перепархивает крупная яркая бабочка, снижается, снова поднимается почти к самому лицу Цинтии и от нее направляется в морской простор...

– Видишь – это Он, – говорит она, широко распахнув руки, совсем другим, легким и чистым голосом, тем, какой был у нее всегда. – Он зовет меня, видишь?

– Мелия! – вскрикивает Тиберий, и руки его сами собой вскидываются, словно хотят удержать ее...

– Ты запомнил, – оборачивает она к нему счастливое лицо, залитое слезами, а он-то и не видел, что она плачет. – Прощай! Любимый... Я вернусь! Может быть, завтрашним же утром вернусь!..

...Живое женское тело, комок теплой плоти и несказанных ароматов, легко взлетает над мраморной

балюстрадой, а потом, крутясь и переворачиваясь, начинает падать.

Тиберий отворачивается. Он не хочет видеть, как это произойдет... В то мгновение, когда тело ее с глухим шлепком коснется острых и корявых известковых скал, где взрывает прибой, – разом разорвутся таинственные нити, которыми дух привязан к материи. Все, что год за годом срасталось с этим телом или отпечатывалось в нем – страхи и надежды, желание счастья и тепла, память о боли и ласках, мечты и тоска, – все в одно мгновение станет ничем, канет во мрак без отклика и возврата. Волна за волной будут равнодушно приподнимать легко уступающие их движениям руки и ноги, желтовато-розовые на зелени водорослей. Но зелень скоро побуреет, пропитываясь кровью из разорванных артерий, покроется серой слизью из расколотого черепа... А потом очередная, более тяжелая волна сорвет труп со скал, оставив на них ключья выцветшей, белесой, обескровленной кожи, и потащит его в открытое море...

– Прости, – шепчет он.

Глава 1. ТИБЕРИЙ

Бабочка, не найдя опоры над морем, вернулась на мрамор и задышала крылышками, отдыхая. Слово зло мира сосредоточилось для Тиберия в ней, – одним широким шагом подступил он к балюстраде и с размаху расшиб яркое тельце ладонью. Крохотный пестрый трупик, однообразно вращаясь, полетел вниз.

– Animula... vagula... blandula!¹... – в три приема промывал Тиберий, провожая ее глазами, боясь увидеть самое страшное... но что это? Ни тела Цинтии, ни даже бурых пятен внизу, на скалах, нет! Удивительно, куда она исчезла так быстро? Да и сам шлепок... удар, хруст, как это назвать... он, наверно, просто не расслышал его в шуме прибоя?.. Нет тела и дальше: на бескрайней аквамариновой глади – лишь ослепительные солнечные блики. Тиберий с таким напряжением всматривается в них, что у него начинает рябить в глазах, они слезятся... Но он так ничего и не увидел.

Ауспиции

Ну что ж? Она проснулась – так выходит по ее словам. А я, выходит, продолжаю спать. Но жить-то надо! Скоро придет триера с почтой из Рима, – она сказала, завтра утром, – а письмо... А письмо, готовое, отделанное, он сжег в запале уговоров...

Письмо, целехонькое, переписанное набело, лежит на столе там, где он оставил его вчера вечером.

Он не успел осмыслить, что это может означать, как в дверь поскреблись, и на пороге появился Луцилий Лонг, давний товарищ всех радостей и печалей, единственный из сенаторов, с самого начала уехавший с ним на Родос.

– Вот и хорошо, что пришел, – ворчит Тиберий. – Смени береговую стражу, и пришли обоим ко мне. Да распорядись насчет завтрака.

¹ Душенька... чудная... летучая... (лат).

– Что-то случилось?

Тиберий досадливо морщится.

– Сегодня ауспиции, ты не забыл?

Во имя Юпитера, еще и это!.. Мало ему, что ли, предсказаний на сегодня... Но отказаться нельзя, он сам хотел спросить богов о судьбе и просил Лонга устроить ему это...

Тиберий пока еще оставался трибуном, – надолго ли, срок истекает! – и, как лицо официальное, имел право устраивать ауспиции. Но все птицегадатели-авгуры пребывают в Риме, под доглядом Августа.

«А зачем тебе, собственно? – словно бы слышит он знакомый ироничный голос Августа, притягательный и отвратительный одновременно. – Я и без авгура скажу, что будет дальше. Знает отец твой, в чем ты имеешь нужду, прежде чем насмелишься попросить у него. С каждой почтой, небось, получаешь по два кожаных мешка сестерциев! Десять талантов в месяц, и все звонкой монетой, легко ли? Можешь считать, что я их вкладываю в экономику Родоса...»

И ласково грозит пальцем. Шут! Шут...

И от такого человека он зависит. Целиком, до кончиков ногтей. Скажет умереть – и придется умереть... Как однажды отнял жену, навязал другую...

Всю жизнь Август чего-то требовал, вымогал у него.

Отнял мать, Ливию Друзиллу, – не у него самого, конечно, а у отца, Тиберия Клавдия Нерона, который вскоре затем и умер. Стал отчимом.

Отнял родовое имя Галлиев, оставленное ему по завещанию, вместе с наследством, сенатором Марком Галлием; Галлий был противником Августа.

Отнял Випсанию Агриппину, дочь Марка Агриппы¹. Эта потеря – самая нестерпимая... Она уже родила Тиберию Друза и была беременна во второй раз. Август велел ему

¹ Марк Випсаний Агриппа (64-12 гг. до н. э.) – один из ближайших сподвижников Октавиана Августа, в свое время – второе лицо после него в империи.

развестись. Он вообще не понимает слова «любовь». Женщина для него – только *animal impudens*¹, он не принимает во внимание никаких личных достоинств, – их у нее просто не может быть! Имеет значение только родовое имя.

«Достоинств ее личных я не отрицаю, что за выдумки, – снова бормочет в его голове голос Августа. – *Fama candida rosa dulcior*²... Но в том-то и дело! Она слишком хороша, как женщина, и ты с ней все больше уходишь в семейные дела, отходишь от интересов государства... Нет, дружок, обабиться я тебе не дам... Ты мне для иного, важнейшего нужен...»

В жены Тиберию он навязал свою дочь, эту распутную сучку... Августу дела до того не было. «Чего ты стыдишься? Власть, власть принесла тебе она в подоле, а не что-то иное! И Помпей, и Цезарь брачными союзами добывали высшую власть в государстве, через женщин передавали друг другу войска, провинции и должности...» Випсанию же он, «во избежание недоразумений», отдал за Азиния Галла, сына Паллиона... Говорят, по ее просьбе тот открыл библиотеку, книги из которой дает любому желающему...

Посейчас думать о Випсании было для Тиберия безмерной мукой. Он как-то встретил ее в Риме, – она торопливо прошла, закрыв лицо краем пенулы, а у него зашло сердце... Он ни разу не подумал, каково было пережить разрыв *ей*... Оцепенело смотрел ей вслед, пока его не увели... Август после велел префекту города устроить специальный присмотр, и за ним, и за ней, чтобы таких встреч больше не случилось...

«И я не спорил, не возражал, когда ее отнимали, – сморщившись, как от боли, мычит Тиберий. – Я должен был бы...» А что он должен был бы? Что он мог? Бежать с нею куда-нибудь в Галлию и кормить семейство *праведным трудом*? Она бы первая не захотела жить в нищете...

Но ведь и от Цезаря Сулла требовал развода с женою, – и, несмотря на неминуемую проскрипцию при отказе, Цезарь не покинул ее. И – остался жив! И – стал

¹ Бесстыдное животное (лат.).

² Незапятнанная репутация ароматной розы (лат.).

владыкой... Он скрывался здесь, на Родосе, у ритора Молона...

Тиберий сжал челюсти, стиснул кулаки...

Стать владыкой. Стать владыкой! Другого шанса вернуть Випсанию нет! Август – единственное препятствие. Но он же и единственная надежда!

Ведь Август не только отнимает, но и дает! Дает высокое покровительство. Дает магистратуры. Дает легионы. Дает венки и триумфы... Дает надежду. Деньги дает, в конце концов...

И отнимает, и дает он по одной и той же причине. Ему нужны преданность и любовь, – их-то он и вымогает у Тиберия! Преданность, несмотря ни на что. «Предан?» – словно бы спрашивает он. «Да!» – словно бы прямо и открыто отвечает Тиберий. – «А если еще и *это* у тебя отнять – ты как, разлюбишь или нет?», – продолжается кошмарный диалог... И Тиберий вновь и вновь отвечает: «Не разлюблю».

Такая вот игра.

Тиберий сделал опережающий ход в этой игре, не дожидаясь, что в очередной раз решит отнять у него Август. Он сам оставил все – Рим, Форум, храмы отеческих богов, курульные кресла, высокие покровительства, – и уехал на Родос, в добровольное изгнание. Следующий ход – за Августом.

Но тот медлил. Не просто медлил – игрался, как кошка с мышью. *Veni, vidi, fugi*¹, – эти слова в один день облетели Рим, ими с ухмылкой обменивались во дворцах и лачугах, банях и палестрах. Но то была лишь первая ласточка. Дальше – больше. Доходили слухи, что Август не возражает, когда в городах Галлии² уничтожают портреты и статуи Тиберия, что собеседники в императорских застольях открыто обвиняют Тиберия и в бывших, и в небывших грехах. «Сделай его наследником, если хочешь, чтобы Сенат и римский народ после твоей смерти восхваляли твое правление, сравнивая его с кошмаром, который наступит при Тиберии». И Август на это вроде бы

¹ Пришел, увидел, убежал (лат.).

² Тиберий был в свое время наместником Галлии.

заметил: «Бедный римский народ: в какие он попадет *медленные челюсти!*» Они смеются там надо всем – над высоким ростом Тиберия, его большим ртом и тяжелой челюстью, его худобой, его сутулостью, его медлительностью...

Хуже того: говорили, что как-то в Риме, на дружеском ужине, один из гостей, – имя ему тоже назвали, – сказал Августу, что хоть сию минуту по его велению поедет на Родос и привезет оттуда голову *ссылного*, – и Август не возразил, не возмутился, только усмехнулся... Но и привезти голову не приказал...

Тиберий делал вид, что ему ничего не известно. Так пойманная кошкой и отпущенная ею мышь порой не сразу бросается в безнадежное для нее и усладительное для кошки бегство, а становится столбиком между двумя когтистыми лапами и начинает мыть мордочку и расправлять усики...

Такие вот игры.

Такие вот дела.

Долго ли еще мне «держат волка за уши», по старой поговорке? И есть ли в этом смысл? Быть ли мне принцепсом? Или *quadrigae meae decurrerunt*¹? Ведь мне скоро сорок...

«Голова *ссылного*», – более чем ясный намек. Август словно бы спрашивает: «А жизнь отдашь?» Последнее письмо было ответом на этот вопрос, очередным ходом Тиберия в игре. Тиберий писал в нем, что готов отдать жизнь во имя величия Августа, укрепления мощи Рима. *Dulce et decorum est pro patria mori*² и все такое прочее. Вскрыть вены. Лечь грудью на меч. Выпить чашу цикуты.

Цинтия осмеяла письмо, сказала, что это – декламация, а нужна настоящая смерть. И показала, как это делается.

Вышло – он к смерти не готов. – Готов, но по достойному поводу, а не так вот, среди полного благополучия, – возразил он. А она сказала, что благополучия в мире нет и долго еще не будет. Ни полного, ни неполного. Никакого. И

¹ «Промчались мои колесницы» (лат.), т.е. время прошло, шансы упущены.

² Сладостно и почетно умереть за отчизну (лат.).

потому один момент для смерти ничем не хуже другого.

Вот так. На одной чаше весов – все царства мира (*она сказала – мира*) и слава их. И для меня, для моих наследников (*она сказала – на тысячи лет. Может ли такое быть?*).

Только нужно поклониться Августу. Нынешнему принцепсу мира сего. И не просто поклониться, а еще найти, как это сделать, чтобы было убедительно. Чтобы убедило его. А что его убедит? До сих пор его ничто не убедило, включая попанную любовь, поверженные к его ногам земли ретов и винделиков, паннонцев и германцев, бревков и далматов...

Она ведь так и не сказала, чего ждет от меня Август! *Он ждет от тебя другого*, – сказала она. А ведь она знала, чего!

И еще: что за *крест* (сгух) она помянула?

Острая тоска по ушедшей охватывает его. Схватить бы ее, удержать, выпытать, выспросить, что она знает... знала... унесла с собой... О, боги, о чем это он! Себя она унесла, себя... Поистине, любовь – религия, бог которой смертен...

Тиберий уронил стилос и закрыл лицо ладонями.

Уже месяц, как у Тиберия пропал аппетит, начиналась бессонница. Луцилий Лонг, умница, преданный друг, нашел авгура, давно отошедшего от дел, отдохавшего здесь. Сухой, долговязый, седой, как одуванчик, с рябым от оспы лицом, он был до того худ, что при ветре невольно хотелось схватить и придержать его. Приковывала взгляд его пышная борода, в которой каждый волос казался серебряным. Звали его Деций Квадрат. Он долго и бесцеремонно всматривался Тиберию в лицо, даже сделал движение, словно собираясь схватить его за щеки костлявыми коричневыми пальцами и повернуть к свету, чтобы лучше рассмотреть, – однако вовремя отдернул руку. Тиберий старался быть с ним доброжелательным и даже заговорщицки подмигнул; у того дрогнули брови. Осмотр удовлетворил Квадрата; он повернулся к Лонгу и коротко кивнул ему:

– Я возьмусь за гадание об этом Тиберии!

Тот протянул глухо звякнувший кожаный кошель, и авгура без малейшего смущения упрятал его в складки тоги.

Гадания он назначил на ближайший Венерин день¹ – значит, сегодня. В качестве templum выбрал пролысину в дубняке на высоком прибрежном взлобке, куда велел Тиберию явиться рано поутру, одному, в тоге, башмаках, без оружия и с покрытой головой. Undique ad inferos tantumdem viae est¹, – с циничной усмешкой ответил он Луцилию на вопрос, играет ли роль место ауспиций.

Но прежде, чем отправиться на ауспиции, Тиберий хотел покончить дело с утренним эпизодом. Для того и охрану вызвал. «Может, взять двух-трех гетер из лупанария, таких же легких и стройных, как она, и посмотреть, как летит тело, куда оно девается...», – думал он, когда фацисты, один за другим, переступали порог. У обоих – испуганный вид, а у Цецилия даже некрасиво вздрагивает и приплясывает нижняя челюсть. Тиберий понял: они видели... Расспрашивать незачем. Поэтому он сразу же распорядился:

– Ее нужно достать.

Страх на лицах обоих уступил место недоумению.

– К-кого, господин?

– Разве вы не видели... ну, того, что случилось с молодой госпожой?

На лицах обоих проступил священный ужас:

– О, господин!

– Организуйте рыбаков. Сети, багры...

– Г-господин, – выдавил из себя Цецилий, – разве можно сетями или баграми... О! Только Вулкану удалось поймать Венеру в сеть, но разве похож я на Вулкана? Или Стаций – на Меркурия?

– Что ты плетешь? Ты пьян? А ну, наклонись!

От обоих несло молодым вином, но совсем чуть-чуть. Тиберий пожал плечами.

¹ Пятница.

¹ Путь в подземное царство отовсюду одинаков (лат.).

– Я говорю, что утопленницу нужно извлечь. Я должен сжечь ее тело. В расходах не скупитесь, я устрою раздачу в ее память. Организуйте рыбаков, пусть выйдут с сетями...

– Какую утопленницу? – удивился Стаций.

– Ты хочешь забрасывать сети в небо? – ахнул Цецилий.

– При чем тут небо? – растерялся Тиберий.

– Но госпожа *улетела!*

Пришел черед заикаться Тиберию.

– Т-то есть к-как?

– На крыльях, господин, как еще улетают? Ты же сказал, что видел!.. Огромные лебединые крылья! И мне не забыла улыбнуться и рукой махнуть!

– И мне! – усердно закивал Стаций. – И мне! Госпожа всегда была так добра ко мне!

Тиберий ошалело смотрит на них.

– Но она *утонула!* Разбилась о скалы...

– Ты сам это видел, господин?

– Н-нет...

– Она *улетела!* Перескочила через балюстраду, расправила громадные крылья, и отправилась в полет! О! Господин! Твой дом почтила своим присутствием небожительница, и я всю жизнь буду гордиться, что служу в таком доме!

– И я! – подтвердил Стаций. – И я! Я всем поведаю, что мало в мире есть домов, которые посещают небожители, но дом моего господина – это именно такой дом...

– Только не это! – восклицает Тиберий. – Никому ни слова, – или я отошлю вас в легион.

Фацисты переминаются с ноги на ногу. А ему кажется, что мозги его сейчас расплавятся и потекут. Что это? Ребятки набрались хиосского сверх меры? Или им лень собирать рыбаков, лезть в воду, и потому они лгут? Или их так проинструктировал Лонг? Но это – заговор, а за него – смертная казнь!.. Никак не сходятся концы с концами.

Или они в самом деле видели? Он ведь и сам видел крылья у нее за спиной!

– Если услышу хоть от кого разговоры об этом – буду считать, что начали их вы. И прикажу казнить вас, а не кого-то. Ясно? Марш!

– А если это видел кто еще? Рыбаки с лодок, рабы на вилле? Чем же мы виноватее?..

Тиберий отмахивается рукой, и ликторы уходят, недоуменно переглядываясь. Он еще некоторое время смотрит им вслед невидящими глазами, а потом вдруг широко улыбается и звучно декламирует строфы, это – эпиграмма Энния:

*Если возможно взойти в небожителей горную область,
Мне одному отперта неба великая дверь...*

...Склон очень крут, и Тиберий карабкается по козьей тропке почти на четвереньках, левой рукой придерживая складки тоги, а правой то и дело хватаясь за кустики серо-серебряной травы, похожие на подшерсток диковинного зверя и остро пахнущие полынью. Их корни сбивают склон в большие кочки. Впрочем, они легко выдергиваются, и служить опорой никак не могут. Над полынью на тончайших стеблях возносит пушистые ости ковыль; при порывах ветра крутой склон горы струится голубоватым маревом. Ниже он крутым уступом обрывается в море, и там, на острых зубьях скал, мотаются буро-зеленые ленты водорослей, кипит белая пена.

– Во имя Юпитера Капитолийского! – с раздражением говорит себе Тиберий. – Зачем я туда лезу? Верю я хоть на лепту, что этот Квадрат знает истину и скажет ее мне? Нет, нет и нет! Зачем же?

Тем не менее неведомая сила ведет его выше и выше.

Тиберий поворачивается спиной к склону, вцепляется пальцами в землю и несколькими ударами каблука сбивает кочку. Она летит не менее стадия, крутясь, шурша и подпрыгивая, и наконец рассыпается в прах, оставив по себе тонкое кружево корешков и стеблей, да облачко белой пыли...

...Деций Квадрат встречает его на вершине, с заступом в руке – он отбивает узкую канавку в дерне вокруг невысокого дикого камня, густо обросшего бурыми и золотистыми лишайниками. Кряхтя, разгибается, схватившись левой рукой за спину, выбрасывает правую

руку вперед в молчаливом приветствии. Тиберий отвечает так же молча – кто его знает, может, положено молчать, чтобы не разрушить атмосферу гадания, – глубоко вздыхает и оглядывается. На северо-западе лежит лиловато-серое море, над ним (и – опрокинутые – в нем) нежатся белые башни облаков. С юго-востока горизонт закрыт невысоким дубовым редколесьем.

Все-таки он недаром он взобрался сюда!

Largior hie campos aether¹!

Здесь слышно, как Земля, чуть покачиваясь, плывет сквозь многоцветье весеннего хаоса, сходя с ума от собственного благоухания, шевелится всей массой ползущих из глубин корней, почек и росточков. По винноцветному морю бегут корабли-многопарусники. Дальше, за горизонтом, кипят многолюдьем города, идут по дорогам торговые караваны, звенят колокольчики и верблюды роняют на песок тягучую коричневую слюну; покойно лежат свитки книг в прохладной тишине библиотек; покрываются утренней росой золото и самоцветные камни в кованных сундуках... Весь огромный и прекрасный мир лежит перед ним, как на ладони, и ждет, и спрашивает: когда же ты возьмешь меня?..

А как его возьмешь?!

...Тиберий сидит лицом к востоку на обросшем золотистыми лишайниками камне, кончиками пальцев поглаживает сухое и шершавое прошлогоднее соцветие горного василька и с нарастающим раздражением следит за манипуляциями авгура. Тот же своим *lituus* – длинным жезлом с семью утолщениями, изогнутым на конце – чертит в воздухе линию с севера на юг, *cardo*, и другую, с востока на запад, *decumanus*.

Опустив жезл, он наклоняется к уху Тиберия:

– Смотри же теперь внимательно, дабы не пропустить нам знамений; не появится ли орел или альбатрос, не будет ли странностей в поведении чаек или иных птиц в пределах, очерченных мною...

Затем он заходит слева от Тиберия, левой рукой возносит жезл к небесам, правую возлагает ему на голову и

восклицает:

– Отец Юпитер! Если боги велют, чтобы этот Тиберий Клавдий Нерон, чью голову я держу рукой, был принцепсом в Риме, яви надежные знаменья!

Тиберий чуть не охает. Как? Принцепсом в Риме? Он не ожидал, что вопрос прозвучит так скоро и окажется столь откровенным. Правду сказать, он сам еще не вполне сформулировал свой вопрос. «Сменит ли отчим гнев на милость, и когда?» – вот как должен звучать вопрос. – Или так: «Будут ли у нас с Августом нормальные отношения, как у отца и сына?»

Но того, что сказал авгур, произносить было нельзя!

Тиберий поворачивает голову влево, чтобы взглянуть в лицо этому человеку, но тут ему на голову, громко треща и хлопая крыльями, садится белый голубь, символ Венеры, покровительницы рода Юлиев. Вероятно, вылетел из дубняка.

– Отец твой благоволит дать тебе принципат, когда восполнятся сроки! – с удовлетворением и достоинством пафосом восклицает авгур.

Тиберий раздраженно сбрасывает трепыхающегося голубя с головы.

– Кто велел тебе задавать этот вопрос? – тихо и презрительно спрашивает он.

– Но разве... – растерянно бормочет идиот.

– Ты знаешь ли, что в таком вопросе всякий непредубежденный человек увидит начало бунта? Или ты мечтаешь о гражданской войне, мерзкий заговорщик? Ты хочешь натравить сына на отца? Или отца на сына?

Авгур падает на колени, умоляюще трясет руками:

– Нет, нет...

– Или ты хотел увидеть, как восприму я эти слова, и сообщить это своему патрону, гнусный шпион?

И пока Тиберий говорит это, он вдруг понимает, что так оно и есть. И что патрон авгура – божественный Август собственной персоной. Драгоценнейший отчим и тесть в одном лице. А, стало быть, он перегнул палку, и пора подумать о собственной голове.

– Твоя дерзость заслуживала бы смерти, – почти спокойным голосом говорит он, – но я, так и быть, отпущу

¹ «Здесь просторен эфир» (лат.; Вергилий. Энеида, VI: 640).

тебя с миром. Но при одном условии: если ты безошибочно проречешь, отпущу ли я тебя с миром.

Глаза у авгура становятся круглыми и белыми. Он понимает: это приговор. Уловка старая, как мир: если глупец говорит «ты отпустишь меня», его убивают с присказкой «не угадал». И с чистой совестью. Но авгур – не глупец.

– Нет, нет, – бормочет он, отрицательно крутя головой.

– Что значит это «нет»? – сурово возглашает Тиберий. – Значит ли оно, что ты дерзко пытаешься оспаривать мои условия или правомочность их выдвижения? Или это ответ на вопрос, и ты хочешь сказать, что я не отпущу тебя с миром?

– Д-да, – кивает авгур головой. – Ты н-не отпустишь меня. Я угадал, я ответил правильно, и поэтому ты должен отпустить меня, как обещал!.. Я угадал! Я угадал! Ты должен сдержать слово...

Тиберий и сам не знает, как поступить.

– Скажи, холост я или женат? – спрашивает он, вспомнив предсказание Цинтии.

– Разумеется, женат, на дочери божественного Августа...

Душная, багровая волна гнева поднимается в Тиберии. Или лжет... Или ничего не знает... В любом случае – мерзавец...

Впрочем, ко всему, что произошло дальше, Тиберий имел так мало отношения, что самый строгий цензор в Элевсине не нашел бы оснований отстранить его от участия в мистериях¹. Действовал кто-то иной, скорее всего – рок.

– Встать! – гаркает Тиберий на авгура. Тот неуклюже торопится, но при этом его жезл запутывается у него в ногах; одновременно Тиберий, поднимаясь с камня, неловко оступается и, чтобы устоять на ногах, слегка упирается руками в грудь авгура... Тот теряет равновесие, падает, кувыркается и стремительно летит со склона, нелепо взмахивая длинными руками и ногами, пытаясь ухватиться за стебельки ковыля и полыни, оставляя за собой белый пыльный след. Вот он долетел до уступа,

обрывающегося в море, и исчез за ним. Вот очередная волна, разбившись о скалы, и откатываясь, вынесла в море широкую бурю полосу... Впрочем, возможно, это всего лишь бурая лента водоросли – не разберешь за кипением белой пены...

...Тиберий, в запыленных башмаках и грязной тоге поднимается на крыльцо виллы.

– Рано утром, прежде, чем на холм пошел авгур, – морщится от стыда за собственную нераспорядительность Луцилий Лонг, – туда отправился мальчишка, его раб. Украдкой. И с корзиной. С белым голубем.

– Я видел голубя, – кивает Тиберий. Мельком он думает, что авгур не слишком-то хорошо выбрал птицу: голубь – знак Венеры, покровительницы рода Юлиев, но он-то, Тиберий, – Клавдий, а Юлий – лишь по усыновлению... – Фацисты контролировали холм со вчерашнего вечера, чтобы туда не пробрался заговорщик... но слишком поздно доложили мне о мальчишке, ты уже ушел. Знай ты это заранее, можно было бы и не ходить.

– Можно было бы, – соглашается Тиберий. – Спускаться тяжелее, чем подниматься. Икры и бедра болят. Пошли мне массажистку.

– А где Квадрат? – спрашивает Лонг.

– Этот мелкий мошенник... не удержался на должной высоте... – равнодушно бормочет Тиберий.

И зевает широким, сладким зевком.

Иксион

Он велел завесить окна от солнечных лучей и уже почти заснул, как вдруг в голове его отчетливо прозвучал голосок Цинтии: «Что ж крест-то пропустил?..»

Тиберий приподнимается на ложе, звонит и велит рабу вновь пригласить Лонга.

– Я ей – о римской доблести, о чаше Сократа, о повязках Катона... а она говорит «крест». Почему крест? Что за крест?

– Кому «ей»? Кто «она»?

¹ Убийцам не позволено было участвовать в Элевсинских мистериях.

– Но Цинтия же!.. – изумленно поднимает Тиберий глаза на него.

– Цинтия? – с не меньшим изумлением спрашивает Луцилий. – Что еще за Цинтия?

Тиберий некоторое время совершенно ошарашенно смотрит на него, а потом понимает: он не сможет объяснить ему ясно и убедительно, что значила для него Цинтия. Поэтому он просто повторяет вопрос:

– К чему в моей жизни может относиться крест?

Луцилий мычит, подняв глаза к потолку.

– Может быть, сократовский «Второй Бог», который запечатлен на всей вселенной в форме креста? – с сомнением говорит он.

Тиберий поднимает глаза на Луцилия:

– «Второй Бог»?..

– Платон, биограф Сократа, утверждает, что тот называл вселенную, весь этот мир, включая и нас самих, живым телом, «Сыном» и «благословенным богом». Этот Сын суть творение Демиурга, его воплощенное Слово, Λογος, постоянно гибнущее и вновь воскресающее. По Сократу он возлежит в центре вселенной на кресте, простертом на четыре стороны света в виде буквы *икс*.

– Бог, распятый на кресте, пусть даже вселенском? – хмыкает Тиберий. – Ты понимаешь, какую нелепость сморозил? Да после таких слов нужны очищения!

И вдруг Луцилий хлопает себя по лбу:

– Буква *икс*! Ну, конечно же, Иксион, Потаенный!

– Иксион?

– Смертный, которого Зевс возвел на небеса, приблизил к себе, сделал своим сотрапезником, позволил возлежать за столом небожителей....

– За какие достоинства?

– Они, возможно, были, но память людская...

– Скорее, людская глупость! Разве всякий способен ощутить запах ирисового корня... Но продолжай!

– Иксион, ошеломленный красотой Геры, вздумал ее соблазнить... Он признался ей в любви, и добавил, что Зевс столь часто изменял ей с земными женщинами, что она вправе отомстить...

– Хорош! Но ведь и в самом деле: Европа, Даная,

Семела, Леда... Конечно, Гере это должно было опротиветь! Кто еще?

– Ио, Каллисто... Да и тот, кого Иксион называл сыном, Пирифой, на самом деле – сын Зевса...

– Ох, семейка... Ну, и что же?

– Зевс с Герой решили посмеяться над несчастным, и создали из облака призрак, похожий на Геру; Иксион возлег с видением, думая, что совокупляется с Герой. Но, как и все, чего коснулся бог, очаровательная тень обрела *длительное* бытие, и стала нимфой. Она получила имя Нефела – облако, пар, туман, душа земная... От Иксиона и Нефелы родились полулюди-полузвери: кто называет их кентаврами, кто говорит – сатиры. А по матери их должно звать νιφλοι, – нифлунги или нибелунги. Эти дети тумана ушли туда, где дни, подобно их душам, облачны и кратки; с ними-то мы и воюем в северных краях, именуя их германцами. Душа их – пар, и им не больно умирать...

– Они-то ушли на север, а ты – в сторону от рассказа. Что же Иксион?

– Вернувшись на землю, стал хвастаться, что разделял ложе с Герой, и люди верили ему! И Зевс наказал его, но не за любовь, – нет в ней ничего дурного, – а за хвастовство. Иксиона прибили к кресту, вделанному в колесо, и забросили на небо. Он по сей день вертится там, в виде солнечного диска...

– Вон оно что... – протянул Тиберий. – А почему ты сказал «Потаенный»?

– Иксион и значит «Потаенный» – по-гречески. А нашему «потаенный» – это «латентный», от этого мы и латины, «скрытые», «потаенные»: истинное наименование Рима – святая тайна. Квинт Валерий Соран кощунственно разгласил ее и был за то наказан смертью...

– Ну?

– Греки называют Латину Латоной, и видят в ней мать Аполлона, то есть... ну, твою мать, если так можно выразиться, ведь ты и есть Аполлон сегодня... Аполлон и Иксион – одно, ведь оба они – Солнце. И она же, Латина, возвратила Энею мощь и красоту!..

Тиберий широко зевает, опускаясь на ложе:

– Намеки, увертки, недомолвки, невнятные ложно-мно-

гозначительные соответствия... Все зыбко, все ускользает... Уа-ха-ха!.. Ты ничего не знаешь толком!.. Выпиши мне... Найди мне толкового знатока этих фабул... и хорошего предсказателя... Все. До вечера! Вечером – пир, как обычно...

Тиберий молчит, а потом добавляет, очерчивая пальцем в воздухе широкий круг:

– И художника найди... чтобы нарисовал этот крест, катящийся по небу, в венке из ветвей дуба и... и, пожалуй, лавра. *Только* крест, без Иксиона...

Невидящим, мечтательным взглядом он упирается в портик, завешанный пестрым ковром:

– Впрочем, на рисунке должно быть... крылатое существо... отчаянно смелое, дерзкое... Возможно, она... оно держит этот крест... этот веночек...

Он тянет на себя легкий виссон и отворачивается к стене.

Глава 2. МАРА

Засиделись до утра. Смоляные факелы, прикрепленные к колоннам перистилия, стали потрескивать от утренней сырости, а потом – гаснуть, один за другим. Тиберий не велел охране менять их:

– Скоро рассвет, – восклицает он, указывая на взошедшую ущербную луну. – А мы еще не налюбовались нашей царицей!

– Не она, но ты властитель ночи! – возражает, беря чашу, Луцилий Лонг. – И этой, и всех последующих...

Он уже изрядно пьян. Серебряный лунный свет мешается с багровыми бликами факелов, дробится на мелкой бронзовой чеканке чаш. По столу мечутся тени факелов.

– Луцилий прав! – заявляет Вескуларий Флакк. – Кое-кто смеется, что луна над Афинами не лучше луны коринфской! Но, клянусь Гекатой, сегодня луна особенно хороша над Родосом. Здесь она светит и нежнее, и ярче, чем та, что над Римом. А завтра, возможно, будет наоборот!

(«Вспомни же и меня, хозяин, когда прийдешь в царствие твое», – с усмешкой заканчивает в уме Тиберий его речь).

Флакк прокашливается и, переделывая всем известный стишок, напыщенно и вместе с тем по-шутовски произносит:

*Ныне на Родосе мы среди роз собрались и пируем;
Шесть величавых богов, шесть лучезарных богинь.
И, увидав, как с лицом сияющим Феба
Тибра владыка сам сидит среди нас на пиру,
Вострепетали от зависти все небесные силы
И, позолоченный трон бросив, Юпитер бежал...*

Компания хохочет и аплодирует, а Флакк разом опрокидывает в свою пасть, сверху и снизу заросшую рыжим волосом, за малым не килик родосского нектара.

Флакк недаром сказал «богов и богинь». Лучшие люди не только с Родоса, но со всего Востока (те из них, кто не имел доступа ко двору Августа, но иногда и те, кто имел) домогались чести участвовать в ночных пирушках Тиберия. В подражание застольям Августа их называли «пиром двенадцати богов». Тиберий ценил греческие традиции, а одна из них, восходящая к незапамятным временам, предписывала: да окружает гистриона хор именно из двенадцати человек.

Гости возлежат за столом в тончайших тканях, диадемах и запястьях. Кто-то скажет: «стараясь походить на небожителей». Нет! Не «походить», и даже не «чувствовать себя», а быть ими! У них есть все для этого: красота, молодость, здоровье... Велико и могущество почти каждого из здесь присутствующих мужчин и женщин, разумеется, по человеческим меркам. Но завтра, если Тиберий станет императором, оно неизмеримо возрастет...

Флакк садится. Тиберий, не касаясь чаши, ждет, пока хохот и аплодисменты стихнут; смазливая стенографистка с табличкой и стилосом подается вперед, ожидая его слов.

Вино, которое Тиберий пьет наравне со всеми, словно бы и не действует на него: он становится трезвей, сосредоточенней, тверже.

– Да, моя мать подарила народу великого сына, – задумчиво, словно себе самому, говорит он. – И все же я не могу принять ваших похвал. Я Тиберий, но я не «владыка Тибра». Один владыка у этого мира (он сказал это по-гречески, *мироправитель века сего*, коэмократорос тоу αἰῶνος τουτου и это – Август. Моя же задача проста: во всем быть верным ему, даже и до смерти...

Он поднимает глаза, и, оглядывая посуровевшие, напряженные лица собутыльников, улыбается:

– Не бойся, стадо малое! Или благоволит отец мой ко мне, а со мной и к вам, и даст мне царство...

Он держит паузу сколько возможно. Диана, гетера из Коринфа, слушавшая его, как и всегда, затаив дыхание, не выдержала, закашлялась и смутилась.

–...или не благоволит, – заканчивает он, дождавшись, когда она прокашлялась. – Для меня от этого ничего ни на йоту не изменится. Как сейчас я всем сердцем люблю его и

готов выполнить любое его... м-м-м... просьбу, так и впредь буду любить, независимо от его решений. Того же и вам желаю. Ибо подлинные сокровища – лишь те, которых ни вор не украдет, ни моль не съест, ни ржа не источит, и каждому квириту они известны с детства: верность, доблесть, честь.

И он декламирует строфы древнего стойка Клеанфа:

*Властитель неба, мой отец, веди меня
Куда захочешь! Следую не мешкая,
На все готовый. А не захочу – тогда
Со стенами идти придется грешному,
Терпя все то, что претерпел бы праведным.
Покорных рок ведет, влечет строптивого.*

Он произносит дактили по-гречески, а последнюю фразу повторяет по-латыни: «Volentem ducunt fata, nolentem trahunt». И опускает ресницы, словно девица, желающая прослыть скромницей.

– Как это мудро, справедливо и... и... – восклицает Флакк, пытаясь загладить промашку...

– И самоотверженно, – потихоньку подсказывает Луцилий.

– Вот именно! Вот именно! И самоотверженно! Ты в точности подобен Энею, восклицавшему: «Salve, sancte parens!»¹...

– Мой свет, мои благодеяния, если вы и согласны считать, что я изливаю их на вас – это лишь отражение света иного, подлинного величия! – останавливает его Тиберий. – Я пью за гений моего божественного отца!

И он подносит чашу ко рту. До Флоралий² еще далеко, но теплынь позволила сбросить с плеч шерстяные тоги. Короткие рукава пурпурной туники Тиберия, расшитой аттическим серебряным меандром, не скрывают мускулистых рук солдата, впрочем, тщательно очищенных от волос и спорящих изысканностью форм с сосудами коринфской бронзы...

Диана, воспользовавшись паузой, поднимается,

¹ «Здравствуй, священный родитель!» (лат.; Вергилий. Энеида, V: 80.).

² Праздник в честь богини Флоры, 28 апреля – 1 мая.

принимает картинную позу, простирает перст на восток и восклицает:

*Там, среди звездных огней, увлажненный водой океана,
Блещет в ночи Люцифер, больше всех любимый Венерой,
Лик свой являя святой и с неба тьму прогоняя!*

Все головы поворачиваются к востоку: над морской гладью, среди едва розовеющих облаков, действительно сияет яркая звезда. Застолье аплодирует Диане, уму и тонкости намека: ведь род Юлиев божествен, происходя по прямой линии от Венеры, с которой сочетался отец Энея, змееногий Анхиз. А Тиберий чуть заметно морщится: он тоже уловил намек, но ведь он – Клавдий, а Юлий – лишь по усыновлению... Это уже второй раз за день... Или они все работают по сценарию одного и того же драматурга?

Тиберий отставляет чашу, поворачивается к Диане, за подбородок приподнимает ее лицо. Сколько ей? Двенадцать? Четырнадцать?

Красивое, но словно бы фарфоровое девичье личико. Flava coma², но когда-то ее волосы были темными; их нынешний светлый цвет – плод женских ухищрений. Черные насурьмленные веки и брови. Большие глазаминдалины поблескивают, но цвета их не определить при луне. Маленький, слегка вздернутый нос и небольшие пухловатые губки, особенно оттопыренная нижняя, придают лицу выражение задора и дерзкой смелости. Парчовая эксомида расшита золотой нитью так, что напоминает кольчугу. На голове вздрагивает похожий на корону венюк из оранжерейных фиалок и роз, надежно приколотый к прическе. Высокая для ее возраста грудь, гибкая, тонкая талия... Разве в этом дело? Разве способна она заменить ему Цинтию... То есть не Цинтию, конечно, Випсанию, Випсанию заменить...

Девушка, поняв происходившее как ласковый вызов, легко вспрыгивает на стол и декламирует, медленно и тягуче изгибаясь и извиваясь в такт словам каждым суставом:

¹ Вергилий. Энеида, VIII: 589-591.

² Белокурая (лат.).

–...Вдруг появилась змея из гробницы:

*В семь изящных колец изогнув упругое тело,
Стол семь раз обвила, с алтаря на алтарь
проползая...¹*

Именно так Анхиз, пращур фамилии Юлиев, к которой теперь принадлежит и он, Тиберий, явился в незапамятные времена Энею... Строки Вергилия удивительно звучны, а эксомида на девушке поразительно напоминает змеиную чешую... Флейтистки, сидящие поодаль, подхватили ритм...

Диана многообещающе изгибает стан и руки, танцует напротив Тиберия; движения ее становятся все более медленными и тягучими, томными... Плавное и широкое покачивание бедер каждый раз завершается коротким и энергичным толчком; вот еще один; и еще; и еще... Вновь и вновь повторяя это изумительное движение, она делает полный оборот вокруг своей оси, чтобы Тиберий со всех сторон увидел и оценил и его, и ту часть тела, которым оно производится.

Чего не хватает во всем этом великолепии? Почему мерещится ему чей-то пристальный и злой взгляд со стороны, оценивающий, вымеряющий тайные времена и сроки? Почему кажется, что все они каждое слово произносят с какой-то дальней и давно предусмотренной целью?

...Флейты высвистывают все ту же мелодию, и Тиберию кажется, что время остановилось, что воздух превратился в подобие липкого и густого желтоватого меда, и танцовщица медленно барахтается в нем, как большая рыба с золотым чешуйчатым хвостом.

Вот она вновь повернулась лицом к Тиберию; легкое и вроде бы невольное движение плеча заставляет упасть пропитанную мускусом эксомиду, обнажив упругие груди совершенной формы, подрагивающие в ритме танца... Она приподнимает их снизу ладонями, ногти которых выкрашены в алый цвет, словно предлагая Тиберию ароматные сочные плоды... Еще движение – и эксомида летит в сторону; на танцовщице осталась лишь косая, по

¹ Вергилий. Энеида, V: 84-86.

египетскому вкусу, набедренная повязка все из той же парчи, напоминающей змеиную кожу. Повязка узенькая, она оставляет обнаженными живот и верхнюю треть бедер. Бока танцовщицы продолжают прежнее движение – покачивание и толчок, – но почти неприметно для глаза; зато играют, бьются, вздуваясь и опадая, перекатываясь под бронзовой кожей нежные мускулишки живота: одна за другой катятся по нему тягучие волны, груди дрожат мелкой дрожью...

Гудят барабаны, флейтистки продолжают высвистывать мелодию, а одна, опустив флейту на колени и приподнявшись, высоким и взволнованным голосом выпевает древнее заклинание: «Ο οφίς ο αρχαίος ο καλούμενος Διαβόλος, και ο Σατανας, ο πλανων την οικουμενην ολην

В сущности, древний обычай прямо предписывает девушкам сбрасывать платье во время танцев на Флоралиях. Правда, до Флоралий еще больше месяца...

Ритм флейт стремителен, барабаны рокочут, их удары сливаются в сплошной гул, – но что происходит со временем? Нет, оно не остановилось, хуже: оно проворачивается на одном и том же месте, показывая Тиберию что-то давнее, уже бывшее, уже случавшееся, и не один раз. Девушки за столом, Данаиды своих дыр потихоньку бормочут, Тиберий не все слышит, зато уже не первый раз:

– У него ж полгода, как никого нет... – говорит одна.

– А Диана? – фальшиво изумляется другая.

– Обхаживает его, но... да любая... но ты ж сама видишь...

–...*Дракон* сосет им по ночам сердце, а высосанное уносит на паучьи сенокосы, смешивает с туманом и утренней росой...

–...Хлопья пены на вербеннике и прибрежных ивах...

–...Я как подумаю, у меня прямо все течет...

Тиберий догадывается, что речь идет о нем, хочет возразить – ведь у него же есть Цинтия, вот уже полгода, как есть!.. – но его память напрасно бьется, пытаясь вытащить хоть одну ее живую черточку, хоть один эпизод с ее участием... Так рыба, приплясывая на горячей пыли и

судорожно разевая жабры, глотает лишь пустой воздух. *Нет* у него Цинтии! С сегодняшнего утра нет! Или ее *вообще* не было? Или это был лишь призрак, порожденный его тоской и любовью?

А Випсания – она была?

Она – есть?

Он не знает ни единого ответа, и это – самое мучительное. Впрочем, нет, самое мучительное, самое ужасное – что ему навязчиво демонстрируют сто раз уже виданные им картины, вымогая у него какое-то решение, известное всем – но не ему... Нет, снова не так. Попросту – Тиберий заранее знает, что сейчас произойдет, что через мгновение скажет каждый из присутствующих, – но не знает, зачем и откуда пришло к нему это знание, кем оно дано ему и почему он должен терпеть его, утомительно стучащее в висках подобно головной боли.

Сейчас он должен сделать то, что много раз уже делал прежде, в минувших веках: на глазах у всего застолья схватить танцующую Диану в охапку, кинуть ее на плечо и не вполне твердыми шагами, пошатываясь, двинуться прочь от стола. Это поймут и оценят. Диана, хохоча, будет стучать кулачками по его спине, а Флакк, сложив ладони рупором у рта, крикнет им вслед, пародируя Еврипида:

– *О, дева младая!*

Это не смертный простой – богом ты одержима! –

И кто-то из женщин с завистью проворчит:

– *Аполлон, напрягая поводья,*

Деву прекрасную знал, ей стрекало под сердце вонзая!...

А потом и другие мужчины и женщины, разгоряченные вином, разбредутся по соседним кустам. Вскоре откуда послышатся то сладкие всхлипы, то сдержанные женские вскрики, то учащенное мужское сопение... А когда совсем рассветет, парочки будут подтягиваться к столу. Рабы уберут объедки, поставят свежие блюда... По всем лицам будут блуждать похотливые ухмылочки; девицы, растрепанные и красные до ушей, с потупленными

¹ Вергилий. Энеида, VI: 100-101.

глазами, будут доставать бронзовые зеркальца, поправлять прически, платья, стряхивая с них веточки и листики, посылать рабов в кусты – отыскать утерянный браслет или ожерелье...

Нет, не мед: стекло. Застывшее стекло. Лед. Лед! Вот откуда этот лютый холод в груди! Флейты не свистят уже, они воют, как зимняя метель, барабаны грохочут, стол вздрагивает под ударами маленьких босых пяток танцовщицы, но ничто не шелохнется, замороженное, закованное тайной силой. Это невыносимо! Это просто невыносимо!

И Тиберий не выдерживает: выламываясь из оковавшего его льда, опускает он кулак, в котором намертво зажата бронзовая чаша, на вздрогнувшую поверхность стола.

– Sufficit!¹

Звон и грохот поражают его самого. Снизу доверху, до самого небосвода, со звоном и хрустом разлетаются длинные извилистые трещины; стекло, стоящее между ним и миром, раскалывается и с грохотом осыпается... И что за рожи, во имя Юпитера Капитолийского, что за кошмарные рожи скрывало оно! Кто это оскалил в мертвой тишине свои безгубые пасти и роговые клювы? Чьи это черные пустые провалы глаз? Чьи это суставчатые лапы в жестких щетинках?

Это пауки. Пауки! Только что деловито шелестевшие в темноте, выпрядая свои нити, они в ужасе замерли, неожиданно освещенные яркой вспышкой.

Только одно мгновение длится непереносимое видение, и вот все то же стекло, словно осенний лед – лужу, затянуло пробитую Тиберием дыру. Нет никаких пауков. Стол с красными лужами вина. Мерцающая темная бронза чаш и светильников. Мечущийся по столу свет. Факелы трещат. Диана спрыгивает со стола и, заходясь в рыданиях, как обиженный ребенок, убегает в начинающие редеть сумерки, подсвеченные нежным светом зари...

¹ Довольно! (лат.)

– Что с тобой, Тиберий? – наклоняется к нему Флакк.

– Тебе плохо? Выпей! – протягивает чашу Луцилий.

И еще гудит чей-то насмешливый голос, источника которого Тиберий не может понять:

– Haec facies Trojae cum caperetur erat!¹

А Тиберий, уже понимая, что вокруг – свои, все никак не может шевельнуться, не может оторвать руки с зажатой в ней чашей от стола, не может разжать пальцев, не может повернуть головы... Луцилий продолжает настойчиво предлагать ему чашу. Видимо, в ней разведен сок маковых головок. Тиберий еще раз пробует разжать закаменевшие пальцы и, – о счастье! – они разгибаются. Он берет чашу у Луцилия, в несколько больших глотков осушает ее... Эффект поразителен: по телу, взамен леденящего холода, разливается благостное тепло, все в мире становится на свои места. Вокруг – милые, простые, добрые, открытые лица...

– Она была *небожительницей*, – медленно и твердо, словно вбивая каждое слово в головы собеседников, говорит Тиберий. – К кому еще из земнородных приходила небожительница, чтобы насытить сжигавшую ее страсть?

Луцилий и Флакк переглядываются, звука их голосов совершенно не слышно:

– О ком это он?

– Но уж точно, не Диана...

Тиберий вдруг понимает, что они гораздо менее пьяны, чем хотели бы казаться. Вот Флакк что-то говорит Луцилию, тот оборачивается к розовеющему востоку и указывает рукой на горизонт. Один за другим гости поворачиваются: там совершает сложный маневр, входя в порт, военная бирема, паруса которой облиты светом зари.

– Это почта, – восклицает Луцилий, – и, клянусь Иридой, она везет добрые вести!..

– Истинно так, – замечает Тиберий. – Она сказала – я разведен с Юлией...

– Разведен с Юлией?.. – изумляется Лонг. – Но откуда...

– Я свободен! Но чтобы достойно встретить вестников радости, нужна очистительная жертва. И немедленно! А

¹ «Се – облик Трои в час ее падения!» (лат.)

вон барашек...

Действительно, в полутора-двух стадиях, на опушке дубовой рощи, вне территории виллы, на длинном ремне привязана к колышку белая овечка. Луцилий указывает на нее центуриону, тот кивает двум фацистам и они направляются туда. Другие тем временем бросаются собирать хворост.

Тиберий подымается из-за стола, да так и застывает, ошеломленный. Отчего картина, распахнувшаяся перед ним, которую он видел уже десятки раз, сегодня кажется пришедшей из счастливых снов?

Из всех зорь, что тысячелетие за тысячелетием вставали над островами Архипелага, нет и не было прекраснее этой! Двумя мягкими волнами, заросшими зеленью, ниспадает Родос к необъятной чаше Океана. Солнце, чуть приподнявшееся над горизонтом, закутано в желто-розовые облака, и молочно-волоконный туман в ложбинках не торопится рассеиваться. Густо напитавшаяся росой трава отливает сизоватой синевой. На деревьях и кустах нет еще листьев, но почки раскрываются, и потому заросли терносливы, дубняка и можжевельника можно принять за облачка зелени, прилегшие на землю: сероватые, розовые, с желтой искрой...

Фацисты уже рядом с барашком, один наклоняется, чтобы ловчее подхватить его, но тут из леса выбегает девчонка и хватает барашка на руки и что-то кричит им, отсюда не слышно, но, вероятно, «Убирайтесь» или «Не дам!» Она явно не собирается расставаться со своим любимцем, и Флакк, выполняющий при Тиберии обязанности казначея, не дожидаясь специальных указаний, направляется туда: девчонке, разумеется, надо заплатить, никто не собирается из-за пустяков ссориться с местными греками...

«Хоть даже и вдесятеро переплатить, против базарного», – бессвязно думает Флакк.

Тиберий трогает его за плечо:

– Пойдем вместе...

Собственно, ему там совершенно нечего делать, все уладят и без него, – но он не может, не желает возвращаться к столу, где увидел чудовищных пауков.

За ним направляется вся свита: квириты в тогах и башмаках (а кто – в гиматиях и сандалиях), гетеры в изысканных шелках, браслетах и запястьях... Многовато, пожалуй, для сельской девчонки в раннее весеннее утро... Но она не собирается отступать, только крепче прижимает барашка к груди. Всем своим видом она показывает, что поставит на своем!

На шее жалобно блеющего существа – аккуратный бантик из скромной тряпицы, домотканого холста, когда-то синего, но давно ставшего серо-голубым. Такая же ленточка вплетена в волосы девочки, на ней – знак оберега, два белых треугольника, нашитые один поперек другого. На ней – скромное, чуть линияемое платье из цельного куска холста, темно-коричневое с красными полосками, тщательно выстиранное и кое-где аккуратно заплатанное... Нехитро скроенное, наивно-мешковатое, не подпоясанное, оно подчеркивает трогательную ее тонкость и хрупкость.

Но что это происходит с людьми, как только они приближаются к девчонке на десять-двенадцать локтей? Почему они изумленно застывают, порой даже всплескивая руками, поворачиваются то с вопросительным, то с недоумевающим видом, глазами отыскивая в толпе Тиберия?

Флакк подходит ближе... и сам застывает, изумленный. Во имя Юпитера Капитолийского! Да это же вовсе не сельская девчонка! Это же...

Люди молча расступаются, пропуская вперед Тиберия, и он остается один на один с девочкой, все еще прижимающей к груди барашка. Растерянный, недоумевающий, не знающий, верить ли глазам, счастливый и испуганный одновременно, беспомощно приподымает Тиберий руку:

– Цинтия? Ты вернулась?

Девочка никак не реагирует на это имя (из какого сна оно мне примерещилось, – вновь сам себе удивляется Тиберий). И он еще тише и растерянее спрашивает:

– Випсания? Ты пришла?

– Меня зовут Мара, – говорит она.

Но он уже не слышит. Ноги его подламываются, и он

сначала опускается перед нею на колени, а потом боком, без чувств, падает на мягкую затравевшую весеннюю землю.

Все мироощущение Тиберия переменялось в один день.

«Когда же, наконец!..» Год назад, приехав сюда, он каждый день просыпался с этой мыслью. Сердце колотилось в предчувствии нового назначения, руки рвались к поводьям государства...

Потом осталась лишь острая тоска. Как это случилось? Почему почти достигнутая цель в последний момент стала столь далекой? Власть у него отняли, отняли подло, незаконно! Впрочем, в иные минуты он не отрицал и собственной вины, ошибки или простой неосторожности – возможно, доказывая Августу, что будет достойным преемником, он выбрал не те аргументы.

Здесь, на Родосе, как и на всех островах Архипелага, ловят жемчуг. Из каждого погружения в темные пучины ныряльщик выволакивает на свет божий сетку раковин, притороченную к поясу. Потом он острым ножом вскрывает их одну за другой, перерезая запирающую мышцу, роется в мягких слизистых потрохах моллюска, – и с отвращением его отбрасывает, убедившись, что жемчуга нет. К участкам берега, которые облюбовали для ловли ныряльщики, можно подойти, лишь зажав нос: все усыпано гниющими моллюсками...

Тиберий, как ни противоестественно римскому гражданину отождествлять себя с рабом, казался себе таким ныряльщиком, раз за разом вытаскивающим из холодных пучин очередную сетку пустых жемчужниц. Слыша во время прогулок эту скверную вонь, он говорил себе: так пахнут неосуществившиеся надежды.

Однажды он сказал это Луцилию. Тот усмехнулся:

– У осуществившихся надежд – *тот же* запах.

Но разве действительно все потеряно? Что-то говорило ему: это – лишь очередное испытание: Август ждет чего-то очень простого... какого-то действия... или, наоборот, недеяния... но какого? Какого, во имя Юпитера Капитолийского и всех его присных?!

А на следующий день им вновь овладевало холодное отчаяние: все потеряно, Август забыл его, а наследником – это же очевидно! – сделает Гая или Луция...

«Разбейся, сердце! – жаловался он как-то Лонгу в этом настроении. – Нет сил жить! Смерть – это свобода, и кто понял это, тот выше всякой власти. Он вне всякой власти! Что ему тюрьма и стража, и затворы? Выход всегда открыт! Две цепи держат нас на привязи, и первая из них – это привычка к жизни, а вторая – страх уходить в неизвестность, туда, откуда никто не возвращался...»

И вот ровным счетом ничего не переменялось в его судьбе, но если бы Лонг напомнил ему эти слова, Тиберий не понял бы даже, о чем идет речь.

И все только потому, что на его пути встретилась эта девчонка?

«Да, только потому, что встретилась эта девчонка!» – отвечал он сам себе и счастливо улыбался.

Это было подобно волшебству: одним взглядом, улыбкой, ароматом дыхания, простым присутствием рядом, шелестом складок своего платья – она сделала мир не просто приемлемым для бытия, она сделала его счастливой сказкой, обещающей неизмеримое блаженство в самом ближайшем будущем.

Это началось в первое же утро.

...Без стука, без доклада, без всяких церемоний, без элементарного стеснения, столь естественного в отношении молоденькой девочки к зрелому мужчине, ворвалась она в его кабинет. Ему показалось – она два-три раза прошлась колесом от стены к стене, хотя ничего подобного, разумеется, не было – вошла она тихо и скромно. Но у него возникло ощущение – нет, предчувствие – яркого и шумного вихря, полета, праздника. *Ее* праздника, к нему не относящегося. *Пока еще* не относящегося... Он писал какое-то многотрудное отношение в Рим – она бесцеремонно устала на его руки, скребущие стилосом по табличке. При этом она жевала кончик длиннейшей травинки с метелкой на конце, голенастой, как журавлиная нога.

– Стараешься? – спросила она, и сделала вид, что пишет травинкой. И снова сунула ее в рот. А в ее голосе под сурдиночку, но вполне отчетливо прозвучала насмешка. Если не презрение.

Тиберий онемел. Так никто не смел с ним разговаривать. Был негласно очерченный круг тем, связанных с Римом, Августом, престолонаследием и те де и те пе, на которые вообще нельзя было говорить, как нельзя прикасаться к нарыву. Нельзя даже спрашивать, почему нельзя. Впрочем, это и так понятно. Если спросить об этом хотя бы раз, то больше невозможно жить. А жить нужно. Жить и ждать.

Или она просто глупа?

– Что ты имеешь в виду? – сухо и холодно уточнил он.

– А то, что тебе никому и ничего не нужно доказывать, – запальчиво возразила она. – Разве ты не владыка уже сейчас?! Разве ты не знаешь, что империя от тебя никуда не уйдет?

Эта девчонка не понимала, чего нельзя, не хотела понимать, почему нельзя. И оказалось – можно! Гнойник, год с лишним мучавший Тиберию, прорвался, стоило ей коснуться его. Гной вытек, боль бесследно исчезла! Он даже оглянулся по сторонам, не сразу поняв, отчего вдруг стало так легко... Она произнесла пару фраз – и словно бы ему вручили императорский жезл...

– А что ж ему написать?

– А так и напиши, как есть! Декать, срок моих трибунских полномочий истек, соперничать с Гаем и Луцием я по-прежнему не хочу, как и при отъезде моем, но теперь еще и не могу. Я для вас полностью безопасен. А посему нельзя ли, наконец, вернуться мне в Рим и увидеть милых родственников, по коим так стосковался...

Он, сорокалетний воин, слышал этот единственно родной в мире голос (поглядеть на нее он все еще не решался), и к горлу его подкатывал комок, а к глазам – слезы. Откуда она знает? Увидеть Рим, набережную, серо-серебряную рябь Тибра с его многочисленными лодчонками, улочки Каринтия с утренними прохладными голубоватыми тенями на влажной от росы булыжной мостовой, Целий и Эсквилин, Форум с его многоголосым шумом, знакомый каждой аркой, каждой колонной...

Увидеть Випсанию...

Випсанию?

Но это же она и есть! Или нет?

Откуда портовая девчонка может знать о Гае, Луции?

Медленно и осторожно, словно на голове его стоял хрупкий и тяжелый кратер, до краев наполненный вином, стал поворачиваться он в ее сторону, и боясь, и страстно жаждая в деталях увидеть ее лицо, сразу узнанное, но так смутно и неотчетливо запомнившееся с того, первого, утра. Ведь это она? Или не она?

Легкой, нежной, обволакивающей душу улыбкой встретила она его пристальный, оценивающий, не имеющий права ошибиться взгляд.

Это была она. Она! Или что же тогда вообще значит лицо человеческое?!

Он смотрел на ее лицо, а в ушах его что-то лязгало, громыхало и звенело, словно отодвигался ржавый запор в конструкциях мироздания. Вот он отодвинут; вот, скрипя и скрежеща, распахиваются врата восприятия: сначала узкая щелочка, в которую льется свет и свежий воздух, а вот уж створки настезь, и в уши его врываются оглушительный птичий гам и щебет, шелест листвы, вздохи морских волн. Слово впервые в жизни видит он чистой небесную голубизну, блеск слюды, серых и розоватых кристалликов гранита на парапете, клейкую зелень раскрывающихся почек... Весь необъятный и чудесный мир, который он по сей день принимал за звериную клетку, вдруг снова, как в юности, распахнулся перед ним во все стороны множеством дорог, сплетением самых невероятных и счастливых возможностей.

И тогда он встал, краями одежды смахнув со стола несколько папирусов и пергаментов, которые еще утром казались ему важными, и даже не заметил этого:

– Ну и что ж мы с моей девочкой будем делать сегодня?

Он морщится: фраза получилась напыщенной, слащавой и неуклюжей...

Мара шагает ему навстречу. Движения ее ленивы и пленительны, буйные темно-каштановые кудри летят у лица, кожа пахнет фиалками...

Он мог бы поклясться всеми богами, что все это,

черточка в черточку, уже случалось и с ним, и с ней в какие-то незапамятные, внебытийные времена, случалось не раз и не два... Но каждый раз он совершал какую-то – все одну и ту же, – непростительную ошибку, – предательство? – и все кончалось жестоким мучением одной и страшной виной другого... Сосущей в душе пустотой невозвратимой, невосполнимой утраты...

И вот в очередной раз, в ореоле тех же цветных невесомых лучей и запахов, идет все та же девушка к нему сегодня, и так же точно она не знает, ошибется он или нет на этот раз... Но она идет к нему, идет легко и радостно, и на лице ее сияет улыбка!..

А он? Ошибется вновь? Вновь потеряет ее?..

Как безмерно щедр Податель Благ, и два, и три, и много раз дающий ему возможность исправить все ту же ошибку!..

«*Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna*»¹, – звучат в его голове строки Вергилия. – «Приходят времена, предсказанные Кумской сивиллой; возвращается Дева и с нею царство Сатурна; колеблется на своей оси потрясенный мир; необъятная земля, безбрежное море и глубокий свод неба трепещут в чаянии грядущего века!..»

Он протянул к ней руки. Он знал: сейчас она вывернется из его объятий. Он знал даже слова, которые она при этом скажет!..

– Смотри, а то уйду! – с усмешкой пригрозит она. – После свадьбы будешь руки протягивать... Если она еще состоится!..

– Состоится! – спокойно и уверенно отвечает он на ее незаданный вопрос. – Или я не владыка уже *сейчас*? *Veni, electa mea*³...

Но тут зардевшееся было лицо Мары бледнеет, улыбка уступает место истоме, руки опускаются, ноги подгибаются, и не подхвати он ее на руки, она так и рухнула бы на мраморный мозаичный пол.

Глава 3. МИР ФОРМИРОВАНИЯ

Мара сидит в тени коврового навеса, растянутого между двух скал. На ее коленях – пергамент с недельной главой и комментариями... «А Моше пас скот тестя своего Итро, правителя Мидьяна, и погнал скот на ту сторону пустыни...»

В глазах – неприятная блестящая рябь: перекипает солнечными чешуйками тяжелая, как расплавленный свинец, гладь Ям ха-Мэлах¹. Она отворачивается от сияющего зеркала.

«...Он пас скот и на плечах носил маленьких и слабых ягнят: всякое живое существо достойно сочувствия и жалости. Все на земле, даже те, которые кажутся нам незначительными и ничтожными, могут оказаться носителями Шхины, Божественного присутствия...»

Ковер защищает от прямых солнечных лучей, но не от зноя: под навес втекает столь раскаленный воздух, что, кажется, его можно пощупать.

«Огромная степь окружала его, но из этого широкого, счастливого и веселого мира он должен был уйти по повелению Предвечного, и путь его делался на каждом шагу все уже и уже, строже и определеннее... Беды и потери, унижения и неизбежная гибель ждали его, – но и великое окончательное торжество...»

Мару совсем разморила жара, мысли ее – хоть это вовсе и не ее мысли, *кто-то* диктует их ей, – текут медленно и несвязно. Даже окунаться в озеро не хочется: это ж подниматься, идти, а потом еще омываться в микве с родниковой водой, ибо соль, засыхая на коже, неприятно стягивает ее...

По пергаменту бежит крохотный паучок, видимо, как и она, пытающийся совместить свое бытие с непереносимым зноем. Словно порывом ветра переносит его к кусту терновника, вцепившемуся корнями в скалу

¹ Дева приходит опять, приходит Сатурново царство... (лат.).
Ср.: *Вергилий*, Эклоги, IV.

³ Приди, избранница моя... (лат.).

¹ Мертвое, букв. Соленое море (ивр.).

рядом. Насквозь прокаленный зноем, куст словно светится от жары, и там, в сердцевине огня, распятый на собственной ловчей сети, судорожно сжимает и разжимает лапки паучок, обожженный солнечными лучами.

«Я – с тобой и среди терний!» – шепчет Мара, выбирается из-под навеса и пергаментом прикрывает паучка от солнца.

И прошелестел паучок:

– Мара, Мара!

– Вот я! – отвечает она, закрыв лицо ладошкой, но продолжая смотреть на него сквозь пальцы.

– Ты должна стать женой римского императора!

– Да будет мне по слову твоему, – привычно отвечает она и вздыхает. Ну, и когда уже? Жизнь-то проходит... Так и умру...

– Хочешь увидеть, как это будет?..

...За терновником прячется большая паучья нора с гладкими, словно обточенными стенками; обрыв вокруг нее увешан плотными лохмотьями запыленной паутины.

– Смотри сюда! – говорит паучок.

Мара заглядывает в отверстие. Там валит снег; он засыплет странные бугры, размером не больше человеческого тела, и тает на них, пропитываясь алыми и буровато-желтыми пятнами...

– Погоди, я сейчас налажу! – бормочет паучок. Теперь в норе виден роскошный луг, усыпанный цветами, на котором пируют, весело хохоча, мужчина и девочка, едва-едва становящаяся девушкой...

– Это не то, не то, – приговаривает паучок, и, наконец, восклицает:

– Вот!

...Четверо держат за углы большое бело-синее покрывало, а под ним стоит высокий мужчина с открытым лицом. Две девушки ведут к нему третью, шелковое облачко, до пят сверкающее серебряным и жемчужным шитьем...

«Это я», – понимает Мара, но тут паучок исчезает в норе, и Мара, вовсе не думая, как она выберется обратно, бросается за ним. Ахнуть не успевает она, как поток знойного воздуха подхватывает ее и несет (она плывет в

нем, словно в густом масле) по слабо освещенному тоннелю, а впереди, призрачные и неуловимые, мелькают то лапка, то брюшко паучка...

За очередным поворотом тоннель расширяется в небольшой зал, земляные стены которого, покрытые известковыми натекми, теряются в темноте. Здесь прохладно и сыро. Паучок бесследно исчез. Возможно, он юркнул в одну из нор, которыми источены стены странного зала.

Мара оборачивается – но нора, через которую она попала сюда, столь узка, что сквозь нее не могла бы выбраться и мышь. Паучья нора! И из этой дырочки веет зноем, там, совсем рядом, рукой подать, сияют море и небо, пестреет ковровый полог, которые она только что покинула... Как могла она несколько минут назад считать зной мучительным? Да он восхитителен!

Она бросается к этой драгоценной норе, – но стена вдруг начинает отступать, оставаясь на расстоянии чуть дальше вытянутой руки. Странно же она отступает! Комочки земли разом исчезают с легким шорохом или потрескиванием, оказавшись к Маре ближе какого-то предуказанного им предела. Обнажаются то повисшие в воздухе корешки неведомых трав, в белесых хлопьях грибницы и копошащимися червями и сороконожками, то мышинное гнездо, куда юркая хозяйка натащила травы, сухих листьев и птичьего пуха, то кротовый ход... Но ничто не падает, удерживаемое неведомой силой. Появившись и помаячив некоторое время в недостижимой близости у стенок движущейся сферы, каждая вещь отступает назад и исчезает: комочки земли вновь возникают из пустоты, каждый на своем месте, с еле слышным звуком, похожим на всхлип...

Но все это – совершенные пустяки в сравнении с тем, что делается со знойным берегом, к которому она стремится! Он словно улетает прочь, и вскоре оказывается в умопомрачительной дали, крохотный и недоступный...

Мара оглядывается в поисках какой-нибудь палки, чтобы расковырять нору – и видит в стенах зала ниши, много ниш на разной высоте, прикрытые пучками белесых корней, лохмотьями паутины и полусгнившими досками...

Она пытается схватить одну из досок – та рассыпается трухой, а из скрытой за нею черноты вываливаются желтоватые позвонки, губчато-черные на изломе...

Мара кричит – но звука не слышно, в зале ничто не шелохнулось. Брезгливо поджав губу, она хочет протянуть руку к кощунственно потревоженным позвонкам, дабы вернуть их на место, – и, несмотря на полусвет, не видит своей руки...

– Что это со мной?..

Вдруг раздается легкий шелест, и Мара видит паука, заманившего ее сюда. Он застыл на стенке против ее лица, и в позе его, насколько паучья поза может быть выразительной, ей мерещится любопытство. В каждом из восьми красноватых глаз мерцает не то сочувствие, не то – насмешка.

Мара – в растерянности, она готова просить помощи у кого угодно, и не отдает себе отчета в том, что говорит:

– Завел сюда, теперь выводил!..

Паучок, словно что-то поняв, бежит по стене в глубину зала, прочь от глазка, где, в несказанной дали, можно было бы еще раз увидеть море и ковер... Бросив прощальный взгляд на пятнышко света, похожее на звездочку, Мара печально и покорно следует за паучком.

*– Люди, в землю собирайтесь!
Жизни срок истек давно!
Злитесь, ахайте, пугайтесь,
Пойте, пейте, кувыркайтесь –
Не поможет все равно!
Пролетит, время, эпоха
В свисте флейт и реве труб.
Хорошо ли это, плохо,
Только жизнь – короче вздоха:
Каждый сам свой носит труп.*

Так она бормочет, невесомо плывя в темноте от норы, которая отсюда начинает казаться спасительной. Стихи не ахти какие, но они позволяют хотя бы минутами не думать о том, в какую сложную ситуацию она попала.

Предельная реальность происходящего кажется самым ужасным. «Это – не сон» – утверждает каждая крупинка земли на стенках тоннеля, каждый торчащий из них корешок.

– Как отсюда выбраться? Или я так тут и останусь?

Пробормотала она это вслух или паучок понимает ее как-то иначе, но только он вдруг останавливается и спрашивает:

– А зачем тебе отсюда выбираться?

– То есть как? – теряется Мара. – Там – жизнь!..

– А здесь не жизнь, что ли?

И снова Мара в недоумении. В общем-то, здесь, судя по всему, тоже жизнь... но такая непривычная...

– Здесь она какая-то не такая...

– Ну да, ну да! – хмыкает паучок. – Здесь холодно и сыро. А там ты станешь женой римского императора!

В пахнущей плесенью темноте фраза звучит жестокой насмешкой.

– Так стану или нет? – в упор спрашивает Мара.

– Неизвестность, конечно, мучительна, – голосом рава Шимона говорит паучок. – Но почему тебя успокаивают слова? Скажу я «да» – и ты расцветешь; а были ли для того основания? Скажу я «нет»... А что ты сделаешь, если я скажу «нет»? – с интересом спрашивает он.

– Скажу, что ты лжец и не за этим звал меня.

– Лжец – тяжелое слово, очень тяжелое, – бормочет паучок. – Но и оно, в конце концов, только слово...

– Говорят, недостойные ученики некоего рава, – язвительно начинает Мара, – сказали ему, чтобы посмеяться, что дохлый осел на улице ожил, стал есть овес, а потом взмахнул крыльями и взлетел в воздух. Рав заявил, что хочет увидеть это своими глазами, и стал подниматься со скамеечки. – «Неужели ты поверил очевидной лжи?» – спросили ученики. – «Я поверил не лжи, а вашим словам, – возразил рав. – Я скорее поверю в то, что дохлый осел летает, чем в то, что еврей может солгать».

– М-м-м? – недоумевает удивительный ее собеседник. – Но ведь я – всего лишь паучок, мне лгать можно? Разве паучок может быть евреем? Бывает обрезание без еврея,

но еврей без обрезания... Гм!

– Никакой ты не паучок, ты рав Шимон, зачем-то обернувшийся паучком, – с некоторой досадой говорит Мара. – Мог бы и не притворяться!

– Ну ладно, ладно, – примирительно бормочет паучок. – Это ты так думаешь. Но ты сказала, что назовешь меня лжецом. Скажи, а после *этого* слова ты успокоишься? – продолжает он пытку.

Маре хочется раздавить его, но он тут же отпрыгивает в сторону.

– Но-но! Без этих штучек! Успокойся, *станешь*. Этого хотят там, где исполнить властны то, что хотят.

И он хихикает, вновь повергая Мару в сомнения.

– Скоро ли? – бормочет она.

– Выберемся отсюда? – подхватывает он. – А! Да ведь ты и не представляешь себе, куда мы идем! Путь неблизкий, и здесь много неожиданностей... Скажем, за этим поворотом...

Действительно, тоннель поворачивает, и из-за поворота льется такой мягкий, такой лучезарный полусвет, что сердечко Мары радостно стучает.

Свет становится все ярче. За поворотом Мара видит ослепительно сияющий круг – видимо, это выход. Она не успевает ни обрадоваться, ни испугаться, как все тот же странный ветер подхватывает ее и несет...

Сознание Мары – если можно еще это так назвать – исчезает, обратившись в полыхание огромных золотых солнц. Прямо перед нею, справа, слева, неспешно раскрывают они свои нежные пламенеющие лепестки, обращаются в фантастические цветы, звезды, облака... Вспышки солнц и звезд становятся все реже, оттенки их цветов – все прохладнее, все нежнее... Это не она плывет в слегка колышущейся безбрежной синеве, – она исчезла, растворилась, ее нет, – а это в небесах в первозданном покое пребывает само непостижимое божественное блаженство. Неизмеримой, недостижимой радостью наполняется все ее существо, такой, что и одного мига хватило бы на всю жизнь, на каждый ее день, если бы его можно было поровну разделить между ними...

А миг этот все длится и длится, все не кончается, и,

выплывая из бархатного светло-лазурного тумана, блаженно улыбаясь, Мара понимает, что удерживают ее в этом синем покое волны океана, колышущие ее, ибо она, только что бывшая звездами над ним, теперь стала высокой и прохладной морской пеной...

Старательно обходя песчинки, похожие на самоцветные камни, муравей тащит радужное стрекозиное крылышко. Делает он это серьезно и озабоченно, с чувством исполняемого долга. Потом появляется еще один и начинает отнимать крылышко... Мара долго глядит на эту возню без всяких мыслей, отрешенно наслаждаясь покоем, – и вдруг подскакивает, в один момент вспомнив фантастическое и страшное путешествие свое сквозь кости и корешки трав...

Она лежит на полянке среди светлого леса. Березки шелестят зеленью, трава густа, высока и ароматна. Она видит каждый листик в отдельности и каждую жилку, и насекомых на нем – цикад, мух со спинками, блестящими золотом и зеленью, серых пауков, натянувших свои паутины меж ветвей, капли росы на паутинах и все цвета радуги в каждой капле. Неподалеку журчит ключ. Пляшет мошкара, порхают бабочки, стрекозы недвижно стоят над кувшинками, громко треща крылышками.

С неба низвергаются жаркие лучи света, и каждая травинка, трепеща от счастья, отбрасывает четкую тень... но не ее рука. Да и может ли дать тень полупрозрачное розовато-желтое облачко? Не успевает Мара испугаться, а рука уже выглядит почти как настоящая, с клеточками кожи, с волосками... Мара двигает пальцами: они послушно шевелятся...

Небо – высокое и ясное, непривычного, но приятного зеленовато-голубого оттенка; в нем недвижно стоят башни кучевых облаков. Солнце окружено радужным нимбом.

Мара идет вниз по ручью. Заросли берез она с легкостью обходит. Потом начинается ельник. Пружинистые и колючие темно-зеленые лапы пахнут свежей хвоей, стволы украшены беловато-зелеными кружевами лишайников и прядями мха. А вот по обеим

сторонам ручейка распаивается светлая полянка, заросшая малинником.

Увидев грозди спелых алых ягод, Мара хочет полакомиться. И тут же вокруг начинает твориться что-то несообразное. Из-под каждого листика тянутся, ползут, на глазах увеличиваясь в размерах, наливаясь соком, алая на глазах, роскошные грозди ягод. Переспевая, они лиловеют, чуть морхнут, а затем осыпаются, с шорохом падая наземь. Вот ягоды засыпают ее по колено; переступив с ноги на ногу, Мара слышит, как хлюпает под босой ногой скользкая каша...

А ягоды, пренебрегая законами природы, продолжают увеличиваться: малиновые шарики достигают размеров виноградных ягод, орехов, яблок, тыкв! Веточки и листики скрываются под невообразимой лавиной ягод. Переспевшая малина осыпается на землю, истекает соком; невероятная куча лакомства растет на глазах, Мара уже по горло стоит в липком сладком соке. Затем она задирает голову, но волны малинового моря смыкаются над ней. Сквозь зажмуренные веки проникает малиновый свет. Она делает несколько гребков, стараясь выплыть на поверхность, и понимает, что гигантские ягоды мешают плыть. Они превратились в скользких медуз, в осьминогов, они не липнут, а просто-таки присасываются к рукам, не давая шелохнуться... Легкие ее несколько раз судорожно сжимаются, желая вобрать в себя отсутствующий воздух. Малиновые солнца вспыхивают в глазах...

Потом, когда все кончилось, она не смогла вспомнить, сколько времени барахталась между жизнью и смертью. Воздуха! – требовала каждая клеточка ее тела, но вдохнуть она не смела, живо представляя, как в рот, в нос, заливая горло и легкие, убивая ее, хлынет приторный липкий сок... Наконец, не выдержав пытки, она согласилась умереть, – и с недоумением поняла, что вдохнула воздух...

Стоило ей успокоиться, и уровень малинового моря стал понижаться... Наконец последняя малиновая лужица, разочарованно всхлипнув, впиталась в почву.

«Вот так так! – думает Мара, обессиленно лежа на полянке среди кустиков малины, прикидывающихся невинными и гудящих от пчел. – Правду говорят, что

желания творят мир... Но кто ж мог знать, что они творят его вот так сразу...»

У Мары на руках – липкий малиновый сок. Она идет к ручью, дабы омыться – и видит, что ее отражения нет в спокойной зеркальной заводи. Но она уже готова к этому. Впрочем, чуть помедлив, появляется и отражение...

Не торопясь, идет она дальше вдоль ручья. И вдруг замечает, что вода здесь – винно-красного цвета, и пахнет от нее именно вином.

На берегу ручья лежит существо в грязном кетонете, похожее на человека, но почему-то с козлиными ногами. Сатир неподвижен так давно, что на ногах его из соломинок и щепок сложен муравейник. Но он жив, грудь его колыхается. Вот он шевельнулся. Похоже, что его тошнит. Рот его широко раскрывается и из него ползет в ручей слизистый лоскут *эктоплазмы*, сплошь усеянной розовыми пупырышками, под которыми змеятся синие вены. Эктоплазма заполняет складками дно ручейка и пульсирует, впитывая драгоценную влагу...

Сатир поднимает выцветшие глаза, видит Мару и поспешно, словно язык, втягивает свой удивительный лоскут:

– Долбаная пустыня! – восклицает он. – Долбанные миражи! Когда только все это кончится!

Лоб, лицо, руки его мокры от пота, на кетонете проступают темные пятна.

– Какая пустыня? – вежливо уточняет Мара.

– А ты что, сама не видишь? – тарачится на нее сатир.

Слово «пустыня» удивляет Мару. Она хочет узнать, она спрашивает, и в итоге долгого и путаного разговора, в котором одна сторона строит развернутые предположения, а другая отделяется репликами вроде «Ну!», «Ясный день» или «Понятное дело!», выясняется следующее. Никакого леса. Никаких березок. Вокруг – раскаленная песчаная пустыня, залитая знойным солнцем, пустыня великая и страшная, где змеи ядовитые и скорпионы, где жажда и нет воды. Жар донимает, пот выступает. Среди барханов – руины разоренных харчевен, битые амфоры из-

под вина и сикера. Текут ручьи, реки, плещутся озера этих напитков и еще чего-то, прозрачного, как вода, но ошеломительно крепкого. Это недавно виденное чудо столь поразило существо, что оно само связало несколько слов подряд: «По виду, короче, вода, а запах, вкус – как у крепчайшего вина! Представляешь? Он воду превратил в вино!» В пивных ручьях плавают соленая тарань, на берегах водочных рек растут ма-а-аленькие соленые огурчики в зеленых пупырышках. Кое-где попадаются коньячные родники: на их берегах растут кустики лимона с желтыми плодами, своей восхитительной шершавой прохладой похожие на грудочки десятилетних девочек...

На горизонте громоздятся горы гигантских бочек и амфор – это из них текут мыслимые и немыслимые напитки...

«Он силой жажды сам себе создал этот мираж», – думает Мара и идет дальше.

– Стой! – ревет вслед сатир. – Ты что ж, вот так и уйдешь?

– Так и уйду, – равнодушно говорит Мара.

– А *поговорить*? – восклицает он, пытаясь подняться.

Отойдя довольно далеко, Мара оборачивается. Ручей, где лежал сатир, вышел из берегов, но это не вино: низинка залита черной кипящей смолой, вспухающей радужно-голубоватыми пузырями...

Вдали, там, где ручей впадает в неоглядное море, высится город, обнесенный высокими белокаменными стенами. Над стенами поднимаются шпили и купола дворцов, вьются длинные и яркие флаги-полотнища, взлетают шары и звезды, полыхает радужное сияние. А вокруг города, вздымая клубы пыли, скачут и строятся в шеренги крохотные отсюда фигурки; сверкают доспехи, копыта, флажки, слышатся звуки труб, гортанные выкрики...

– Что это? – думает она. Но спросить не у кого.

Маре вдруг представляется, что в ее вроде бы случайных встречах нет ничего случайного, что кто-то с любопытством наблюдает за ней (как человек смотрит за странствиями таракана на кухонном столе). И тут же

солнце становится черной дырой зрачка, облака обращаются в радужку фантастических расцветок, небесная синева белеет и становится роговицей с красновато-желтыми жилками... Небосвод теперь – гигантский глаз; Мара, набравшись наглости, подмигивает ему. Глаз с некоторым изумлением, но нельзя сказать, чтобы неодобрительно, мигает ей в ответ, закрывается и исчезает.

Тут ее и нашел паучок.

– Как ты умудрилась потеряться на ровном месте?

– Это ты меня бросил! – возмутилась Мара. Впрочем, возмутиться-то она возмутилась, но и обрадовалась тоже. В этом невероятном мире даже знакомый паучок может показаться другом.

– Я сяду тебе на воротник, чтобы ты больше не терялась, – заметил паучок.

– Что там происходит? – кивнула Мара на нарядный город, окруженный войсками.

– Это? А! Патриоты снова крепость Тур осадили...

– Патриоты?

– Ну, есть тут такие: свет белый им не мил, а только дай живота своего за Родину положить. Или за веру. Нейдется людям. Сколько себя помню, все время ее осаждают. Поля вытаптывают, предместья все давно пожгли, разорили... Утром осадят, к вечеру глядь – дальше, чем утром были...

– А это что такое вообще, – повела она вокруг руками. – Где мы?

– Мир Формирования (Олам ха-Йецира), – буркнул он.

– А что это – Мир Формирования?

– Ну... Это как изнанка *того* мира. Мир чувств, страстей, эмоций. Ты вышивать умеешь? *Там* – аккуратный рисунок...

– Ничего себе аккуратный...

– Или, скажем так, более-менее аккуратный. А здесь – узелки, невнятица, торчащие концы, путаница разноцветных ниток. Растоптанная нежность, оболганная вера, попранная надежда, ненависть, ярость, месть, все, что люди не успели сделать *там*, все, что они завещали завтрашнему дню, их мечты и грезы... Не думай, что в этом

мире нет законов; они столь же жестки и неотвратимы, как и в том, но они... другие.

– Это вроде сна, что ли?

Паучок неопределенно шевельнулся, видимо, желая пожать плечами. Мара засмеялась:

– А почему тогда все такое... ну, настоящее...

– Не правда ли?! – восхитился паучок. – Все как настоящее, да? Сном этот мир кажется только из *того*. А *там*, наоборот, кажется сном отсюда...

– А на самом деле?

– А на самом деле они все – сны...

– Все? А еще какие миры бывают?

– Выше этого – Мир Мысли (Олам ха-Бриа). Ты ужаснешься, попав туда: там не будет ничего тебе знакомого. Шары, сферы, плоскости, пучки разноцветных струн и струй от одного конца вселенной до другого... И почти нет людей – я разумею, в той форме, в какой ты привыкла их видеть. Разве что иногда встретишь чудовище с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз... Есть и еще миры... Но Адам избрал для всех вас *тот* мир, и вы перестали видеть и знать *эти*...

– А чем один мир лучше другого?

– Это как на чей вкус. В этом, как и в нижнем, ты можешь любить. Сочувствовать. Ненавидеть. Изменить одну-две судьбы. Может, три. Шесть!..

– Ну? А в Мире Мысли?

– Там ты можешь изменить судьбы *народов*.

Мара помолчала.

– А куда мы идем?

– Видишь, вон горы – там, на самой вершине, где и дышать тяжело, дворец паучьего императора. Нам туда.

– А почему *паучьего*?

Паучок, в той мере, в какой у него это получилось, смерил ее уничтожающим взглядом:

– Ты ведь, кажется, в императорские жены собралась?

– Ну?

– Император – это власть. А власть – это паутина.

– Почему?

– Потому что потому! Есть предсказание, – снизошел до объяснений паучок, – что перед концом времен весь мир

окутает паутина без паука, – незримая, блистающая от одного края неба до другого подобно молнии. И тогда придет Машиах¹. Он явится сразу всем и каждому в отдельности, и с каждым будет говорить на его языке, и каждый увидит его так, как захочет увидеть... Все это – благодаря Всемирной Паутине...

– Ничего не понимаю!

– Здесь тоже мало кто понимает. Или вообще никто. Но предсказание есть. И потому дворец власти – паучий дворец...

– А *чье* это предсказание?

– Кажется, Адама... – неуверенно сказал паучок. – Но и у Иова оно есть². И у Псалмопевца³...

– Я хочу поговорить с Адамом, – заявила Мара. – А потом с Иовом и с Давидом...

– Хочешь, так и поговори.

– А ты меня отведи!

– А ты его позови, – возразил паучок. – Если ты та, за кого себя принимаешь, то Первосотворенный знает о тебе и явится на зов!

– Адам! – негромко крикнула Мара в сторону налитого зноем горизонта. – Адам! Можно тебя увидеть?

Кадм

Земля невдалеке вспучивается, крошится в дымящиеся комья, и из нее поднимается каменная скала, сплошь покрытая красной глиной. Она обретает очертания замшелого человека с седой бородой; он потягивается и открывает глаза.

– Это Кадм! – с некоторым испугом бормочет паучок. Видимо, он не вполне верил, что на зов Мары откликнутся.

– Кто звал меня? – раскатывается гулкий голос.

– Я, – отзывается Мара. – А почему ты такой?

– Я такой, каким ты меня ожидала увидеть, – заметил он. – В этом мире – только так. Ну, и чего ты от меня ждешь?

¹ В греческой транскрипции – Мессия, то есть Царь – спаситель мира.

² «Бог обложил меня Своєю сетью». Иов, XIX: 6.

³ «Ты ввел нас в Сеть» Пс. 66(65): 11.

– А почему ты не спрашиваешь, кто я такая?
– Потому что знаю.
– А чего мне от тебя надо не знаешь, да?
– Ха! Ха! Ха! – гулко рокочет скала-Кадм. – Ты хочешь спросить о Всемирной Паутине. Я тыщи лет ждал этого разговора – есть несколько слов для твоего сына...
– У меня нет сына! – возражает Мара.
– Дело наживное, – не смутилась скала. – Ибо, подобно любой и каждой женщине, пойдешь ты путем всей земли, и скажешь, взяв новорожденного на руки: «Обрела я человека с Господом». И добавишь: «Се – пророческий Глагол мой к миру Грядущему!» Ты ведь собираешься стать супругой императора?
– А есть здесь хоть кто-нибудь, кто еще не знает этого?
– почти обижается Мара.
– Ну, ну! – гудит скала. – Без него никак! Ты непременно должна его родить!
– Может, и выкормить? И воспитать? И на ноги поставить?
– В том-то и дело. – Скала неуловимо для глаза переформируется, принимая более удобную, ленивую позу, и в голосе ее начинают звучать эпические нотки, словно она былинку рассказывает:
– Всемирная Паутина – одно из двенадцати чудес, сотворенных Предвечным...
– В пятницу вечером? – хлопает в ладоши Мара. – Посох Моше, червь Шамир, колодец... Но я знаю только десять...
– То-то, – подтверждает скала, – знаешь!.. Не все ты знаешь! За каждое из этих чудес мы за малым не переругались с Предвечным. Только по поводу трех у нас было полное взаимопонимание. И одно из них – Всемирная Паутина...
– Переругались с Предвечным? – раскрывает рот Мара.
– Я сказал – *чуть* не переругались! – уточняет скала. – В конце концов мы договорились. Вам, теперешним, в голову не придет возражать Предвечному! Вы на цырлочках перед ним...
Гора шевельнулась так, что это можно было принять за пожатие плеч, и мрачно отвернулась.

– А разве можно... с Ним ссориться?
– Не только можно, но и нужно! Но не ссориться, а спорить. Ведь и ты, и вы все – Его мысли, мысли об улучшении мира, и если вы не будете настаивать на своей точности и истинности, – твою мысль заглушат другие, она пройдет для Него незамеченной. А может быть, в ней – самонужнейшая истина? А? Это, спрашиваю я, не грех?
Мара опускает глаза:
– И что, если не настаивать?
– Да ничего! На пергаменте, в который на базаре завернули селедку, пьяный дурак увидит ненужные ему строки... И все. Между тем как *пойми* человечество эти строки – и оно получило бы иную историю, возможно, менее кровавую.
– А возможно, и более?
– Возможно, и более...
Большим пальцем ноги Мара чертит в пыли «алеф»; она в смущении, она не знает, как спросить:
– Грех? Но ведь ты-то и согрешил первым!
– Вот еще придумала! – возмутилась скала. – Не было никакого греха! Да, мы с Авивой и детьми первыми опустились в *тот* мир, но не по своеволию или капризу, а исполняя замысел Предвечного!.. Это был подвиг, а не грех! У вас в Книге сказано: «смертью умрешь», – чтобы вам было понятнее; на самом деле низвергаться отсюда, из неизреченного света, туда, во тьму материального бытия, – страшнее, чем там, у вас, опускаться в могилу!.. Здесь душу кладут в гроб тела, – а там, у вас, в дольном мире это называют рождением.
– Ну и оставались бы здесь!
– Оставались? – удивляется скала-Кадм. – Тогда Предвечному вообще не нужно было затеваться с Творением!.. Ведь этот мир – чисто духовный, а тот – материальный. И что *ха-Мемалех Коль Альмин*¹ ни устраивал в *том* – твердь и звезды, гадов морских и птиц небесных – он все никак не мог *изнутри* согреть материю...
– То есть вынести ее сюда? – не может уразуметь Мара.
– Да нет! Глина и есть глина, она в любом случае

¹ Наполняющий миры (ивр.).

останется *там*. У савана нет карманов.

– А что ж тогда?

– Внести дух *туда*! Чтобы красная глина вела себя *там*, как должно, и возносила молитвы, как положено! Чтобы каждый камешек лежал *там* на своем месте. Не осветить материю, не вывести к свету, – а заставить ее светиться саму, и так, чтобы она вся целиком служила Предвечному. Чтоб стала жизнь прекрасной песнею!.. Не только сложить здания из камней, рассечь море кораблями и перекинуть мосты через реки, – но и солнце, и планеты подвесить светильниками человеку в его Небесном Доме. И в конечном счете – выбить пыль из Вселенной, ковром бросить ее под ноги человеку и в его лице – Всевышнему.

– Так вот зачем была дана Тора! – ахает Мара.

– Не торопись с легковесными суждениями! – предупреждает Кадм. – До Торы еще далеко. Сначала Он подумал обо мне: «*Вайомер Элохим нашах адам...*»¹ Ведь кто такой я, на самом деле? Я – первая мысль Предвечного о том, кто мог бы не просто проникнуть в мир материи, но свершить *кидуш ха-хомер*², зажечь ее, заставить стремиться к Нему... Вот в этом мире я и возник – *йеш ме-айн*, нечто из ничего...

Гора-Кадм широко разводит руками. Грохочут, осыпаясь, камни.

Мара ждет, пока смолкнут и грохот, и поднятое им эхо, а тогда кричит:

– Но здесь очень даже неплохо! Здесь, я бы сказала, настоящий Ган Эден³...

– Всем поначалу так кажется, – возражает скала. – И мне тоже казалось. Все было великолепно: моря кишели рыбой, благоухали луга, зеленели леса, мы с Авивой ели восхитительные плоды, придумывая для них новые формы и вкусы, плескались в хрустальной воде, спали на гагачьем пуху, вдыхали нежнейшие ароматы... Приступили к изготовлению новых творений по образу и подобию своему, как было велено Предвечным, и не было у Авивы ни

¹ Сотворим человека по образу Нашему (ивр.).

² Освящение материи (ивр.).

³ Райский сад (ивр.).

мучительных родов, ни девятимесячной беременности... Все, чего ни захоти, вот оно. Нюхай цветочки, усыпай пляжи самоцветами, как поначалу делала Авива, да возноси хвалы Всевышнему...

– Ну? – не понимает Мара. – Я бы и не против...

– Тут алкаши по винным речкам лежат – они тоже не против. Они с ужасом думают, что отведенный им год кончится, и придется вновь отправляться в *тот* мир...

– А почему был против ты?

– Выяснилось некое прискорбное обстоятельство... Впрочем, вот, кажется, Авива появляется, она лучше расскажет...

Авива

Мара давно уже присматривалась к находившемуся рядом бугорку, нежной своей выпуклостью неуловимо напоминавшему девичью грудь. Он зыбится, словно в его сыровато-влажной тьме раскручиваются, шевелятся травинки и корешки. Надуваются ростки, на их нежно-зеленых кончиках появляются бутоны, и вдруг неслышно лопаются, то один, то другой, расправляя лепестки, невестой к венцу распаиваясь перед солнечными лучами. Жужжат пчелы и шмели, добывая пыльцу...

Да бугор ли это? Он ведь дышит!..

И точно: нежно выгибается плечо в тонком ковыльном пушку, над ним поднимается девичья шея, голова... Выйдя из земли по плечи, она стеблем изгибает руку, поправляя волосы... В смутной темноте подмышки засинели колокольчики и лесная фиалка, оттуда пахло мускусом и духом пробуждающейся земли...

– Явилась, – с некоторым самодовольством громыхает скала-Кадм холму-Авиве. – Ишь, руками-то размахалась, не видишь, гостья у нас дорогая... Скажи-ка ей, что было нехорошо в том, изначальном, мире...

Авива покойно опускает руки на луговую зелень, улыбается сначала Кадму, потом Маре – у той что-то теплое и пушистое шевелится в груди от этой нежной улыбки, от очаровательного женского лица. А потом Мара понимает, что это не Авива придирчиво рассматривает ее,

а она сама с удовольствием глядит на тонкую девичью – свою! – фигурку в ладном кетонете, сидящую на зеленом лугу, опершись на руку и подогнув ноги на одну сторону... Кто здесь Авива, а кто – Мара? Она встряхивает головой, и убеждается, что Мара – это все же она сама...

– Ни он, ни я не ощущали *счастья*, вот в чем дело, – просто и спокойно, словно продолжая разговор с давней знакомой, начинает Авива нежным и глубоким, грудным голосом. – Господь уверял: замысел Творения в том, чтобы упоить мир безмерным и ошеломительным счастьем. И, действительно, каскады его любви ниспадали на нас по задуманному, мы видели, мы понимали это, – а счастья не было!

– Скажи, скажи ей! – одобрительно поддакивает Кадм.

– *Горькими* оказались для нас райские плоды: были они «хлебом стыда», ибо достались нам *незаслуженно*. Мучились мы стыдом и скукой, топча ногами никчемные алмазные россыпи, и ничем, кроме пустых слов, не могли воздать должной чести Создателю. И тогда он, – она кивнула на Кадма, – спросил Господа: «В этом, что ли, мире жить потомкам моим?»

– Это ты, ты спросила! Ты первая поняла, в чем дело.

– Поняла, и сказала тебе! А спрашивал ты.

– Ну, может быть, может быть, – примирительно ворчит Кадм.

– И ответил Господь ему: «Давай подумаем вместе, хорош ли этот мир. Ибо нет вам радости в нем. И я спрашиваю: почему?» – И взмолился Кадм к Нему: «Господи! *Слишком явно* твое присутствие здесь!»...

– А вот это уже ты взмолилась! Это тебе было стыдно предаваться радостям со мной, ибо, говорила ты, мы везде у Него на виду...

– Пусть будет так, – кивает Авива. – И взмолились тогда мы: «Господи! Наши дела в этом мире ровно ничего не стоят в сравнении с твоими; в собственных глазах мы ничего не значим в сравнении с Тобой. Если ты хочешь, чтобы мы ощутили полную и искреннюю радость, чтобы мы стали, как тобой задумано, подобными богам, – *удали* нас из этого мира, дай нам иной, где Ты был бы дальше, а мы чувствовали бы себя *хоть чем-нибудь на самом деле*, ибо

в этом мы – *только Твои сновидения*».

– Ну да, как-то вот так... – бормочет Кадм. – Что буквально так – не поручусь, но смысл, но эта уважительность... Да-да, все так и было! Мне, правду сказать, хотелось крикнуть Ему: «Да оставишь ты нас в покое, наконец, со всей своей мудростью и предусмотрительностью!»

– И ахнул Господь, – продолжает Авива. – «Другие ангелы каждый божий день меня лицезреют – и счастливы без ума! А эти!»

– Он сказал: «Наглецы!» – добавляет Кадм. – Он сказал: «Это бунт! Где мои брабантские манжеты?! Розоватые...»

– Не говорил он так! – перебивает Авива. – Наше желание уйти от Него *тоже* было частью Его замысла. Это тебе потом придумали, – про бунт, про восстание ангелов, пошедших за тобой, и прочие нелепости... Чтоб было интереснее... И сколько тех ангелов пошло? Я да Каин, да Хевель... Да еще эта стерва Лилит...

– А что такое *брабантские манжеты*, – спрашивает Мара.

– Выбирай выражения, с ребенком говоришь, – заметила Авива. – Они это только через два тысячелетия узнают...

Глава 4. «ОДЕЖДЫ КОЖАНЫЕ»

– Была пятница, уже за полдень, – смущенно продолжает Кадм. – Предвечный согласился с нашими доводами. «Я умалю свой свет до такой степени, – сказал Он, – что вы лишь с великим трудом и сомнениями сможете найти Меня. Вам будет легко ошибаться, а принимать правильные решения – столь же трудно, как тащить корабельный смоленый канат сквозь ушко иголки. Но не будет ваш хлеб хлебом стыда, и появится у вас возможность быть счастливыми. Бывать. Иногда. Дрожащею рукой утерев со лба холодный пот...»

И сказал Он, что воздвигнет между собой и нами еще одну завесу. «Она будет *на вас самих*, – заметил он. – Я давно готовил ее. Она – сокровище из сокровищ, отшлифованное до блеска миллионами поколений, безвестно сгинувших во мраке. Я надену на вас *одежды кожаные*. В этих одеждах вы узнаете, что такое одиночество; что такое боль; что такое страдание; что такое тоска; что такое стыд; что такое отчаяние...

– «Что ж это за одежды такие?» – спросили мы оба. И он показал нам их, – подхватывает Авива. – Это была плоть земных существ, в которых должны были вселиться наши души. Он предложил нам самим выбрать плоть. И мы с тобой – помнишь! – и с Каином смотрели варианты будущего бытия...

– С Каином? – удивляется Мара. – А я думала...

– Многие так думают, – замечает Кадм. – Но Каин был зачат (и в тот же миг рожден) еще здесь! Разве не сказано в стихе 4:1 данной вам книги Берешит: «*йада*». А «*йада*» – это *паст перфект* от «познал», это «уже познал к тому времени», к моменту ухода из Сада... Внимательнее Книгу читать надо!..

– Не бывает никаких паст перфектов и брабантских манжет! – капризно надувает губки Мара. – Ну, просматривали вы варианты воплощения, и?..

– Да. Мы просматривали варианты, и какое-то время

Авиву увлекали рыбки коралловых рифов, а меня – осьминоги. Каин сказал, что у львов – буквально царственная осанка. Потом я заинтересовался муравьями, Каин – лошадьми, а Авиву привлекли бабочки... Проще, наверно, сказать, что *не* привлекло нас, что мы сразу отбросили – ящерицы, крокодилы, свиньи, гиены, обезьяны...

Предвечный не вникал в наши споры, он ждал. И когда мы почти остановили свой выбор – я, помнится, на дельфинах, Авива – на пчелах, а Каин... Ты не помнишь, что выбрал Каин? – спросил он Авиву.

– А не Левиафана? – затрудняется и она.

– Короче, Он спросил, что мы собираемся делать с выбранными существами. Не *играться* ли? И мы со смущением вынуждены были признать это.

– А ведь вам предстоит с помощью этого существа, – его лапами, плавниками, копытами или крылышками, что там у него будет, – поднимать материю к свету, – сказал он укоризненно. – Нам нужно существо, которое в далеком будущем покорит всю вселенную.

И мы со смущением увидели, что ни один из наших выборов не годится для этого.

– А теперь посмотрите сюда, – сказал Предвечный.

И стали мы смотреть *обезьян*. Увидели, как они из обломка кремня делают себе острейшие ножи и раскалывают ими кости и черепа, отрывают из земли корни, клубни и луковицы, как ловко пользуются палками...

– Смотрите! – продолжал Предвечный. – Эта тварь уже «покорила» палку и камень; она увидела в них вещи, полезные для себя, научилась *обрабатывать* их, делая еще полезнее. Теперь ее ничто не остановит. Скоро они освоят огонь, построят первую хижину, первый плот...

В этот миг один из обезьян-самцов наступил ножицей на ножку заходящегося от плача ребенка, рванул вверх за другую, рявкнул: «Ак! Ак!» и разорвал его почти пополам. Он открыл крохе головку, камнем пробил череп и стал окровавленными пальцами вытаскивать желтовато-серые студенистые кусочки мозга. Причмокивал, облизывался, обсасывал пальцы, ужимками показывая, до чего вкусно...

– Господи, – бормочет Авива.

– Господи... – ахает Мара.
– Вот именно, «Господи»! – заметил Предвечный. – Кому бы *мне* это можно было сказать!

– Есть ведь бобры! – обратила к Творцу умоляющий взор Авива. – Они тоже строят хижин! А муравьи? А термиты?.. А пчелы, пчелы!.. А?.. Пчелы, такие умнички...

– Не надо продолжать, – остановил ее Господь. – Да, сегодня эти существа – *йецер ха-ра*¹, вызревшее в брошенных Мною туда зернах жизни. Но иначе не могло быть. Они научились видеть в палке и камне вещи, – но одновременно и в своих ближних они тоже увидели *вещи*. Только вещи. Полезные, или, наоборот, опасные. Они учатся обрабатывать не только палки и камни, но и *друг друга*. Пока, как видите, это только *кулинарная* обработка. Скоро будут варить, печь, жарить на вертелах, толочь в ступе...

Но нам не обойтись без них. Хочу, чтоб вы это поняли сами. Только с этими чудищами можно сегодня работать, если мы на самом деле хотим внести дух туда, в материю, – а не занимаемся пустой болтовней. Только их можно подготовить к будущей великой миссии... Если вы согласитесь сойти в них, они придумают другие варианты обработок... спецобработок...

Вы – моя первая мысль о человеке; *для них* вы будете первой мыслью обо Мне... Вы должны будете научить их тому, чтобы они не делали ближнему того, чего не желают себе. Чтобы они не «обрабатывали» других – только себя...

– И всего-то? – спросил Каин.

– Собственно, да! – ответил Предвечный. – Обо всех остальных задачах нельзя говорить, пока вы не справитесь с этой. И меня не радует твой энтузиазм. Ты просто не понимаешь, насколько это трудно. Невероятно трудно. Ты увидишь. Но для любых других существ на земле эта задача вообще невыполнима.

– Чуть не плача, – подхватывает Авива, – смотрели мы на еще не существующие поколения теперь уже вроде бы *людей*, – после того, как дух наш войдет в них, – но еще и не людей. Шли и шли перед нами вожди-человекоубийцы и

¹ Злое начало, корень зла (ивр.).

судьи-лжецы, воры и чародеи, праведники, которым худо, и грешники, которым легко и хорошо... И повсюду лились потоки, озера, моря крови изощренно, с садистической выдумкой умерщвляемых жертв. Горы еще трепещущих сердец, вырванных из грудных клеток живых людей; дети, заживо зарываемые под строящейся крепостью; частоколы гниющих голов, насаженных на колья длинных заборов, и кучи тех же голов, сваленные рядом; караваны верблюдов, каждый из которых нес по две корзины вырванных человеческих глаз, и ликующие военачальники-победители, сопровождающие их; стены, в которых камни переслоены глиной пополам с отрубленными руками; *ведьмы*, женщины, девушки и девочки, сотнями сжигаемые заживо на кострах *ad maiorem gloriam Dei*¹; бетонные газовые камеры со скользкими слизистыми полами и печи крематориев с недожженными костями; артистические пытки и насилия... Эти «одежды кожаные» были подлинной *малькодет мавет*², и предназначалась она для наших душ...

Авива расстроено взмахивает рукой и замолкает.

У Мары в глазах стоят слезы:

– И вы... согласились?

– Не сразу, нет, не сразу, – бормочет Каин. – Уж слишком они были отвратительны... А их гримасы? А их жилища, эти горы недообглоданных костей и ребер, заваленные сырыми шкурами с трупным запахом? А отхожие места вокруг хижин, эта жуткая постоянная вонь, мухи, черви... И ни грации тигра, ни парения орла...

– И что же вас... убедило?..

Древо познания

– Да все то же: если не идти туда, то не нужно было и вообще с Творением затеваться! – говорит Каин с некоторой досадой. – Если сказал «алеф», не запирайся в «бейт»³...

¹ Ради вящей славы Господней (лат.)

² Смертельной западней (ивр.).

³ Дом (ивр.).

– Когда Предвечный уговаривал нас воплотиться в обезьян, – вмешивается в разговор Авива, – я сказала ему: «Не тяжело ли будет нашим потомкам выпутываться из греха *слишком уж гадких* зверей?» И Предвечный, благословен Он, возразил: «Может быть, хочешь, чтобы племя, которое ты породил, было травой полевой или деревьями лесными? Никогда и никого не убьют тогда дети твои ради пропитания и будут вовеки безгрешны; а если и станут защищаться от пожирателей шипами или ядом, это будет справедливо».

– Вас уговаривал сам Предвечный? – с ехидцей спрашивает Мара. – А где ж был змий-искуситель?

– А! Древний червь, которым пронзена вселенная? – не менее ехидно переспрашивает Кадм. – Я ждал, когда ты задашь этот вопрос. Да! Предвечный создал его на заре творения, чтобы он питался прахом земным и отделял то, что нужно для жизни, от глины, уже ни к чему не пригодной... Он и по сей день пронзает каждого из вас, ворочается внутри, скалит зубы, ворчит, требует своего... Попробуй, не дай Червю того, что он требует! «Одежды кожаные» облачают не только душу, но и безмозглую кишечную трубку – и тот, кто сходит в дольний мир, должен принять, как неизбежность, что он будет пожирать плоть иных существ и для этого убивать их!

– И он – амфисбена¹, если ты поймешь, – замечает Авива. – Знаешь, как говорят: «с одной стороны он хороший человек, а с другой стороны... у него копчик».

Мара краснеет.

– В том-то и состоял выбор, – продолжает Кадм, – принять Червя внутрь себя или стать травой полевой. И, чего греха таить, – попробовали мы иной путь, «сделали себе опоясания из листьев». Раскидистые ветви выросли у меня из спины и плеч, корни – из ног, и врос я в землю; Авива же вертелась, смущенно и озабоченно разглядывая роскошные радужные цветы на боках и животе. Тогда-то она решила, что ветра недостаточно, и выдумала бабочек, шмелей, колибри и еще невесть что чтобы переносить пыльцу от меня к ней...

¹ Змея с головами на обоих концах тела.

– А потом я сказала: «Что? Вот такие фиги, и я их буду на себе таскать?! Ну уж нет!» – вмешивается Авива.

– Да, а Каин вообще отказался примерять на себя наряд из листьев. Он сказал: «Ни дубом, ни лопухом не стану!»

– А вы с Авивой стали? – невпопад спрашивает Мара.

– Стали, – удрученно соглашается Кадм. – Предвечный лишь усмеялся, ибо не было у него для нас аргумента точнее и убийственнее! Никогда не чувствовал я себя глупее, не ощущал отчетливее муку бессилия, полной невозможности влиять на ход событий, чем когда раскачивался и терял желтые листья на пронизывающем осеннем ветру, жуки точили мои кору и корни, а черви вгрызались в плоды... Брусья от этого дерева и поныне лежат здесь, ждут своего часа...

И сказал я тогда Предвечному: «Поистине, дерево, которым я попытался стать, принесло мне драгоценнейший из плодов: плод познания добра и зла! И потому вот мой ответ: я принимаю искушения Древнего Змия! И да не будут мои потомки травой полевой!»

И подтвердила Авива: «Нет и нет! Пусть наши дети убивают для своего пропитания, но пусть зато и бегают по лугу, а не стоят, вращая в него корнями! Да будет их краса превыше красоты полевых лилий и роз. Пусть они ловят бабочек, а не ждут, пока те соблаговолят донести до них пыльцу... Пусть пьют они нечестие, как воду, – но пусть и плещутся в хрустальной воде, как рыбы, и скачут по скалам, как козлята...»

И сказали мы:

– Мы справимся с тем ужасом, что показал ты нам!

И просияло лицо Предвечного, ибо Его замыслом было сокрушить бездуховность на ее же поле, в бездне материи.

– Пойдете *туда*? – спросил он нас.

– Пойдем! – ответили мы.

– Это будет *йерида тахлит ле-алия*¹ – с облегчением сказал он. – Я дам вам все! Вы сможете буквально творить чудеса...

¹ Спуск, необходимый для дальнейшего подъема (ивр.).

Укрощение коня

И Кадм, и Авива замолкают, вспоминая момент, когда они приняли самое важное свое решение...

– В Писании все совсем не так! – восклицает Мара, воспользовавшись паузой.

– Не совсем так, – уклоняется от прямого ответа Авива. – Писание рассказывает о случившемся не буквально, а в символах. Впрочем, ни слова лжи в Торе нет! Именно благодаря древу разобрались мы, что есть добро и что зло, и именно надев одежды кожаные, ушли из Мира Формирования.

– Но перед тем как произошел *гилгул*¹, – продолжает Кадм, – а Предвечный опочил от дел своих, мы все вместе стали думать, как справиться с обезьяньим и змеиным в будущих людях. Будет ли для этого достаточно той искры Господней, что загорится после нашего спуска *туда* в каждом сердце, давая способность различать грех и праведность, добро и зло? И решили: нет, не хватит!

Ведь в чем суть любого человека? Это *кав*, луч Предвечного Света, пронизывающий тьму кромешную и высвечивающий в ней столб мерцающих пылинок. Этот свет, эта золотистая паутинка – частица Предвечного; она вплетена в Единое Целое, во Всемирную Паутину, незримую, но блистающую, подобно молнии, от одного края неба до другого. Паутину, в которой нет паука. Ту, которая от начала времен окутывает весь мир. Систему сфирот, по которой к нему притекает благодать Предвечного.

Бог не материален, говорят у вас; но он и не духовен! Он непостижим, Он выше и материи, и духа, и обнимая их собой, и пронизывая. Слова «Бог во мне» – нелепость; это обычная ошибка идолопоклонников. Да, Он в тебе, ибо ты сотворена Им, ибо слова, сказанные Им в первый день,

¹ Иначе *голгот* – перевоплощение (ивр.), схождение души в плоть, а также место, где происходит перевоплощение. С древности известны каменные кольца с утвержденным в их центре обелиском, означающие символический брак неба и земли. Уснув на *голготе*, на котором впоследствии был построен Храм, Иаков увидел знаменитую «лестницу ангелов».

звучат в каждом, хоть не всем и не всегда дано их слышать, – но в том же смысле Он и в каждой звезде, в каждой травинке. И в том же смысле Он – в каждом овечьем катышке, в каждом резном истукане. Покинь Он любую вещь в мире – и она тут же исчезнет, истлев мгновенным огнем. Но в человека вложено то, чего нет в истуканах и катышках. Человек может *быть в Нем*, слышать Его, говорить с Ним, отвечать Ему.

Если ты просто живешь в Нем, в полноте душевной растворяясь в изливаемой Им благодати, – говорят, что в тебе живет душа-*нефеш*. Она есть во всех – и в бабочке, порхающей над цветком, и в тигре, и в мыши.

Тронуть Его сердцем, стать его глазами и ушами может лишь следующая твоя душа, душа-*руах*. Уже эта есть не у всех. Но если она в тебе есть – в *тебе-то* она есть! – ты чувствуешь, что время от времени выполняешь не свои, а Его веления, что Он – в тебе. Но это, повторю, ошибка: не Он в тебе, а ты – лучшим своим – в Нем. Тут ты ощущаешь некую чуждость тела, понимаешь, что все, что должна сделать, невозможно без посредства *обезьяны*, в которую облечена. А обезьяна протестует! Требуешь своего! Сунь руку в огонь – и поймешь, о каком протесте я говорю! Это – как укрощение коня: он брыкается, несет тебя, не спрашивая, зачем и куда, а потом и сбрасывает. Но если упадешь, и один, и семьдесят семь раз – снова садись в седло. Однажды конь покорится, и ты ощутишь счастье лететь к далекому горизонту по *своей* воле!..

Мара прерывисто вздыхает. Как ей это знакомо!

– Но тут начинается другое, – продолжает Кадм. – Ты обнаруживаешь вокруг себя людей, не умеющих справиться со своим телом, не знающих, что с ним вообще зачем-то нужно справляться. Ты говоришь им: «В стремя становятся вот так, уздечку держат вот так...», – а они не слушают, они смеются, досадливо отмахиваются. Не обижайся на них. И в семьдесят седьмой раз не обижайся. Жди, когда они *спросят*. Помни: все в этом мире ты должна делать *их руками*. Их, не своими! Они не хотят слушать, они протестуют, они требуют своего!.. Ищи, готовь нужные слова. Ищи *Слово*. Постигни их нравы, их слабые места, их страсти и склонности... Здесь мало что можно

подсказать, ты все должна найти сама, – но однажды *тебя начнут слушать*. А к тому, кого слушают люди, свое ухо обращает и Господь. И это значит, что ты коснулась Его мыслью, значит, что в тебе отныне живет душа-*нешама*...

Кадм замолкает.

– А дальше? – спрашивает Мара.

– Дальше в духовном совершенствовании? Дальше нельзя, пока ты ослеплена зрением, оглушена слухом. Нужно *полностью* сбросить «одежды кожаные».

– Полностью сбросить?

– Тогда ты увидишь не то, что сейчас, не картинку, выдуманную тобой, а подлинный Мир Формирования, – и все великолепие иных миров, созданных Им. Мы их здесь... гм... эти одежды... просто не носим, ведь они *гонев даат брийот*¹. А вы все, придя из того мира, вцепляетесь и в них, в хлам грез и воспоминаний, который притаскиваете оттуда. Слово плоть – не одежды, а вы сами и есть. Но это понятно – мы с Авивой с самого начала просили, чтобы «одежды кожаные» были надежной завесой между Предвечным и человеческой душой. И мы были правы: если б человек, попадая сюда, легко прощался бы со своими чувствами, воспоминаниями и возносился бы к Предвечному – кого б мы могли снова отправить *вниз* возделывать материю? Но...

– Но? – остро взглянула на него Мара.

– Но люди из-за этого так дорожат плотью, что она застит им Источник Луча. Многие и знать о Нем не хотят; и не видя иного света, кроме того, который горит в их душе, они говорят: «Я сам сотворил себя». Эти бесчисленные Александры Македонские и Юлии Цезари строят *свои* паутины, запутывая в них всех окружающих, высасывая из них все соки, возводя вавилонские столпотворения государств и заливая мир потоками крови. Все плотнее закутываясь в порожденные ими же самими *клипот* – скорлупки тьмы, шелуху дел, Богу не нужных, – князья мира теряют связь со Всемирной Паутиной и *кав* в них меркнет, угасает. Они перестают видеть самих себя в своих ближних, загораются желанием подчинять их себе,

¹ Отнимают знание (ивр.).

командовать ими, находя для этого благовидные предлоги, – и тем самым возвращаются к состоянию обезьян, (шем хемма бхема лахем) *הם הָמָה הַמָּה הַמָּה הַמָּה ...*

– А в чем разница? И те, кто обрел душу-*нешама*, и эти – *бгемах*¹, вообще потерявшие душу – все в этом мире должны делать чужими руками...

– Ну, это просто, – усмехается Кадм. – Эти всю жизнь сомневаются, ищут ответов, согласных с истиной и совестью. А те довольны готовыми псевдоответами, – традициями, стариной, преданьями, чужими мнениями... Эти, даже имея ответ, – не навязываются, ждут, пока их спросят. А те сразу хватаются за меч... лгут, принуждают, убивают, жгут... Эти, творящие божье дело, как правило, и не знают, что делают именно *божье* дело, во всяком случае, не трубят об этом на перекрестках. Они словно стесняются: да, мол, недостойны, но кто-то же должен *это* сделать? Дело-то нужное! А те – много и горячо говорят о боге, о вере, о святости...

– Как трусы любят говорить о подвигах, о доблести, о славе? – озорно взблескивает глазами Мара.

– Вот-вот, – хмыкает Кадм. – А дураки – об уме, мудрости, таланте, – естественно, собственных...

– А импотенты – о «странностях любви», о женщинах, о наслаждениях, – с ехидцей добавляет Авива. – Да еще как! Страстно, ярко, убедительно!

– Да! И вот они наряжаются в специальные одеяния, посвящают друг друга в самодельные таинства и мистерии, возносят жертвы и моления, которых, по их утверждениям, требует «Всесовершенная Обезьяна», пребывающая на небесах...

– Обезьяна? – возмущается Мара.

– Конечно, нет! – огорчается Кадм. – Думал, ты сразу поймешь. Они называют ее Аполлон, Дионис, Юпитер, – но для них это всегда *существо*, облеченное в столь драгоценные их сердцу «одежды кожаные», полученные от обезьян. Они так далеки от Предвечного, что ничего не знают о его целях. Им в голову не приходит, что Он специально сотворил Вселенную не идеальной, не вполне

¹ Животные (ивр.).

завершил ее, чтобы дать человеку возможность *тиккун ха-олам*¹, быть Его со-Творцом...

– Но они ведь тоже думают, что обладают истиной!

– А сны? А видения? Изливает Всесвятой от духа Своего на всякую плоть, открывает уши каждому, и предупреждает. «Смотри, – говорит Он, – предлагаю тебе жизнь и благо, – и смерть и злополучие; избери же жизнь!». Но не отводит Он душ от пропасти, ибо по древнему, мудрому и справедливому замыслу все в руках Небес, кроме страха перед Небесами. И если видение не пошло человеку впрок – происходит *корес*¹.

– Ничего нет ужаснее, чем терять душу, – вмешивается Авива. – Те, в ком умирает душа, еще связаны с Предвечным, но видят его чудовищно искаженным в зеркалах своих *клипот*, чешуй, покрывающих душу, закупоривающих все отдушины... *Кав* едва пробивается сквозь мутное оконце, словно чадная плашка дымит... словно свеча трещит, угасая... Запертая в одиночной камере тела, лишенная возможности любить, верить, надеяться, умирающая душа видит кошмары. Вокруг – только враги: заговорщики, отравители, клеветники. Могущественные, тупые и злонамеренные чудовища наделенные магическими способностями, караулят ее на каждом углу... И ведь эти, с умирающей душой, *знают*, что после смерти для них уже ничего не будет... Вот уж, действительно, ужас... Впрочем, к чему это *тебе*?

– После *кореса кав* полностью меркнет, – добавляет Кадм. – Остается пустая обезьянья оболочка... червь, кишечная трубка, скалящаяся одним концом и гадящая другим...

– И как они себя чувствуют... эти черви?

– Прекрасно себя чувствуют! Как себя чувствует болонка, резвящаяся у господина на подушках? Как себя чувствует цепной пес, стерегущий хозяйское добро?

– И никакого наказания? – теряется Мара. – И Бог попускает это? А предвечная справедливость?

– А *что* в них наказывать? Души-то нет! Ну, ударь пса:

повизжит и снова будет лизать руки... Накажи бодливого быка...

– Но неужели, неужели же Предвечный так-таки ничего с ними не делает?

– А зачем *Ему* вообще что-нибудь с ними делать? – возражает Кадм. – Он опочил от дел своих! Теперь это не Его, а *ваша* забота, драгоценнейшие мои потомки. Сами же и виноваты, если принимаете животное за человека, тем более – допускаете его к власти. Учитесь распознавать, учитесь обуздывать... Приручили же собаку, лошадь, быка, придумали цепи, крючья, намордники, удила, стремяна...

– Цепи? – не понимает Мара. – Крючья?

– Крючья – да, это из того мира, – кивает Кадм. – Здесь нет крючьев. Но мы много говорили с Ним, что делать, если, войдя в них, мы не справимся с их скотскими желаниями, если они начнут повсеместно брать верх. – «Устроим *потоп*, если они добьются, – ворчал Предвечный, благословен Он. – Прольем дождем серу и огонь, если они выпросят...»

– Это *там*. А *здесь*? Неужели им нет наказания?

– Бездушного ничем не накажешь, – вмешивается Авива. – Он просто не попадет сюда. *Нечему* в нем сюда попадать.

– А ты что думала? – подхватывает Кадм. – Что здесь припасены какие-то невероятные мучения? Но их как раз выдумали теряющие души там – они просто рассказывают являющиеся им кошмары!

– Да! – снова вступает в разговор Авива, – Они-то и приписывают своему «Всесовершенному Существо» то, что до слюней изо рта нравится им самим: «праведный суд». Оно, мол, ковыряется в тончайших деталях человеческих поступков, их мотивах, оценивает, что было «праведно», а что – нет. Не по результатам «исправления мира», мол, оценивает оно праведность умершего, а по тому, кто как «веровал». Что значит «веровал» – спросишь при случае сама, я не вполне поняла, могу ошибиться. Во всяком случае тем, кто как следует, «семь раз на брюхо и семь раз на спину», припадает к его стопам, оно дарует, по их мнению, воскресение по чину Осириса, личное бессмертие и вечное блаженство на полях Иалу, какие бы

¹ «Исправление мира» (ивр.), технический термин Каббалы.

¹ Букв. «рассечение уз» (ивр.), пресечение связи, соединяющей с Богом.

пакости и преступления ни были совершены. Но тех, кто *не* припадает или припадает *неправильно* – ввергает в бесконечные мучения. Представь, что рыбак не рыбу бы удил, а ловил волны, набегающие на берег, и одни из них стегал бы плетью, «за грехи», а другим бы нежно улыбался...

– Ксеркс ведь бичевал Геллеспонт! – фыркает Мара.

– На человека это похоже. Но Предвечному ни к чему быть ловцом своих снов! – возражает Кадм.

Ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто.

Л.Н.Толстой. Война и мир. Эпизод, 1: XVI

– Знаешь, нелюди ведь не так уж и опасны, – снова вмешивается Авива. – Зло нелюдей – пакостное, но мелкое... Что может обезьяна? Изнасиловать? Ограбить? Проломить череп? Да. Но не перевернуть мир. А те, души которых обросли чешуей клипот... Это они лживым словом своим вынимают души из незрелых людей, делают их обезьянами... Это они строят новоиспеченных обезьян в маршевые колонны...

– Да, но... – заикается было Кадм...

– Он и к этим относится снисходительно, – поспешно добавляет Авива извиняющимся тоном, – Впрочем, я его не виню, он это прекрасно знает. Ему приходится вбирать в себя души всех сынов своих, а для этого нужно быть очень широким... Ты и не представляешь, какие удивительные мерзавцы порой попадают! Разве Господь не предупреждал, чтобы остерегались вы *лживого* слова? «*Если восстанет в среде твоей пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: «пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», – то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего...»*».

Второзак, XIII: 1-3.

– Но я...

– Святой народ связан воедино и потому составляет силу? Да! Но сделать то же самое – соединиться в нечто целое и стать силой – могут и те, с больной душой. Ведь так просто! И каналы связи – вместо сфирот – они прекрасно умеют налаживать... И понятия свои о справедливости облекают в форму закона. И цели перед собой ставят великие...

– Но не единственную, не святую, – перебивает ее Кадм.

– Не святую, – соглашается она. – Но такую, которая *кажется* им святой. Вернее, которую они *называют* «святой и правой». Только и разницы, что не «Шма!..» возглашают они при этом, а, например, «За Родину! За Александра Македонского!», – и, знаешь ли, при этом в каждого из них *тоже* льется вся сила *их* народа...

– Но не мудрость, – возражает Кадм.

– Не мудрость, – кивает Авива. – Всего лишь информация. Но и это весьма неплохо. Иногда результат бывает почти неотличим от чуда, от воплотившейся мысли... Слова...

– От чуда? – уточняет Мара. – Так чудеса все же есть?

Шабат

– О них-то мы и спорили, – сказал Кадм. – Я их не хотел, Предвечный – настаивал. Договорились, что чудеса *все же будут*, но – только тайные: при желании их всегда можно будет объяснить естественными причинами.

«Сам не хочу чудес, – говорил Он, – ибо человек, ограниченный в свободе выбора, – всего лишь кукла; зачем Мне все время дергать за веревочки! Но без них никак не выходит: сколько миров Я уже потерял, не вмешавшись в нужный момент». – Договорились на том, что потомок мой, Авраам, сам скажет Предвечному: «Довольно, Господи, чудес, ибо превыше чуда душа живая! Вот, есть уже на земле миньян¹ праведников!» – «Боже! – снова возразил я Ему. – Повсюду в мире, откуда ты

¹ Десяток (ивр.). Минимальная группа, в которой действительна коллективная молитва.

уходишь, ты утверждаешь законы, жесткие и однозначные. Вовеки ни на йоту не отклонятся от предусмотренных путей светила, вода будет стекать вниз, а кристалл – образовывать блистающие грани. Ты уйдешь от них? Так яви же *последнее* чудо! Дай им нравственный закон – непреложный и бескомпромиссный!» – «Да! – ответил Он. – Потому что твоему, Моше, дам Я Закон, но не такой, какой даю звездам и кристаллам. *Писанный* Закон дам Я племени, которое приведет он пред лице Мое. Но *Слово Мое* пребудет с тобой со дня, как опустишься ты туда – и во веки веков. Слово Мое, то, которым творил я мир, то Слово, что могущественнее всех цепей и крючьев. Слово, которым можно и убить, и воскресить. Пусть люди ищут Слово, истинное и убийственно точное, повелительное и нежное, яркое и убедительное, – и, увидят они, как неотразимо оно, как властно над ними!..»

Мара прерывисто вздыхает.

– Но я и тут не прекратил спор со Всевышним, – продолжает Кадм. – «Как же сможет Моше привести пред лице твое племя, готовое принять Закон, – спросил я, – если любой и каждый знает, что придерживающийся нравственного Закона в столкновении с беззаконниками тем вернее погибнет!»

– Гм! – сказал Предвечный, и надолго задумался. А потом лицо его просияло, и он сказал: «Я сделаю, чтобы те, кто примет Закон, были сильнее беззаконников. Для тех, кто сумеет отделить Храм от базара, я сотворю в *том мире* подобие *этого*. Они смогут хоть одним глазком, но заглянуть сюда. Вот, день шестой заканчивается, мы почти все обсудили, и я уже вижу Шабат¹. Лучше того: я знаю, каким он будет! Я сотворю его как тень Мира Формирования на земле!» – «И в чем же будет сила тех, кто соблюдает Закон и празднует Шабат?» – спросил я. – «Здесь мысли овеществляются, – ответил Он, – но в Шабат они будут овеществляться *и там*. И если скажет любой из соблюдающих Шабат: «Шма, Исроэл!..», то в тот же миг по незримым нитям сфирот польется в него сила и мудрость всего Народа, и не будет в мире сил, которые смогли бы

¹ Конец дел (ивр.).

сломить эту Силу и обмануть эту Мудрость!»

Галут¹

– Вот так поздним вечером пятницы, перед самым сотворением Шабата согласились мы одеть человечество в одежды кожаные, – заключает Кадм, – опустить его во тьму материи. Собственно, и тому, кому ныне надлежит прийти, нужно будет сделать нечто подобное...

– Кому надлежит прийти?..

– Его задача – и проще, и сложнее нашей! Наша была масштабнее, его – ювелирнее... Мы одели в одежды кожаные души человечества, ему предстоит одеть *Тору* – Душу мира...

– Как? Ведь *одежды кожаные* – другое слово для плоти, для всего вот этого, – Мара ладошками проводит от бедер вверх. – Как же можно *Тору* одеть плотью? Я не понимаю...

– Ну, сейчас у вас там вместо свитков входят в моду кодексы, – говорит Кадм, – а их переплетают в деревянные крышки, обтянутые кожей, обитые бронзой и даже золотом, украшенные самоцветами...

– Ты смеешься надо мной, – надувает губки Мара.

– Не мучай ребенка, – вмешивается Авива. – Считаешь, что это можно и нужно сказать – так скажи... а иначе чего и начинать было разговор, – добавляет она гораздо тише.

– Вы ведь знаете! – с надеждой переводит Мара глаза с Кадма на Авиву и обратно. – Вы ведь все-все знаете! Почему вы мне не говорите?

– Всего я сказать не могу, – начинает Кадм, – ты должна *действовать*, и тебе дано знать лишь то, что не помешает в этом... Но кое что скажу. Видишь ли, пришло время, когда евреи будут разметаны по всему миру, погружены во тьму племен и народов...

– Как? – ахает Мара, – разве Кнаан будет отнят?

– И Кнаан, и Храм...

– Да ведь он уже и так почти отнят! – замечает Авива. – В Храме давно хозяйничают *цдуким*¹. Рим заглотил Иудею,

¹ Пребывание евреев вне Земли Обетованной, эмиграция. Соотв. греч. διάσπορα, рассеяние.

¹ Саддукеи (ивр.).

как Левиафан – Иону! А не проглотил – так скоро проглотит.

– Но почему? Разве не сам ха-Шем отдал его нам?

– Кнаан – Кнааном, он вовеки ваш, – начинает Кадм, – но разве только он? Весь мир – Обетованная Земля Израиля. Господь втиснул в эту планету... в эту землю столько добра, сколько вообще возможно было втиснуть. То, что не нужно вам сегодня, окажется жизненно необходимо завтра. О чем-то вы сейчас и не подозреваете: слова «нефть», «уран», «тяжелая вода»... гм... и некоторые другие ничего не говорят вам. Но черви, которым ни до чего нет дела, кроме собственных удовольствий, могут источить сколько угодно сокровищ в труху еще *до того*, как речь пойдет о постановке материи на службу Всевышнему... Поэтому Закон должен быть доведен до каждого, – и в конечном счете весь мир *будет* его исполнять, хоть не вменится тогда это никому ни в заслугу, ни в праведность...

– Это слишком сложно и непонятно, – замечает Авива, перебив Кадма на полуслове; тот взглядывает вопросительно. – Знаешь, почему у вас так дорог тирийский пурпур? – обращается она к Маре.

Та отрицательно качает головой.

– А-а! Когда-то он был дешев, у плиштим¹ даже пахари и пастухи красили рубахи этой краской. А теперь она – драгоценность: на пурпурную тогу имеет право только император, сенаторам разрешена лишь полоска по краю тоги. А почему? Нет больше ракушки-пурпурицы, переловили ее! Половина «пурпура» на базарах сегодня – фальшивка; нашли лишайник, сок которого² с уксусом дает почти нужный цвет. А если тирийский рыбак найдет отмель с пурпурицей... Ого-го!

– А если и лишайник кончится, – усмехается Мара.

– Ты поняла: это только начало катастроф такого рода, – подтверждает Кадм. – У вас нет больше времени – как, собственно, его и никогда не было и никогда не будет. Предвечный убедился, что есть люди, которые свято соблюдают Закон и не утратят его при любых... гм...

¹ Филистимляне (ивр.).

² Лакмус.

катастрофах – и переходит к следующему этапу... «Лех-леха ме-арцеха...»

–...У-ми-моладтеха у-ми-бейт авиха»¹, – подхватывает Мара. – Но это же Аврааму было сказано?!

– Не-ет! – отрицательно качает Кадм указательным пальцем перед ее лицом. – Это *вечная* судьба евреев, – до самого прихода Машиаха...

– Вечная судьба? Это избранного-то народа?..

– Да, но для чего – избранного? Остерегись думать, что ха-Шему есть дело до вашего благополучия...

– Это неправильное понимание *избранности* – скольких оно еще погубит! – с горечью подхватывает Авива. – Предвечный заключил завет со Святым Народом? Да! Но зачем? Чтобы вы делали божье дело. А вы ничего не делаете и лишь твердите: «Мы – божий народ»! Да еще раскололись на семьдесят два толка, и каждый говорит: «Бог – только со мной; Он не с вами!» И сколько еще молодых народов подымется и воскликнет, не усвоив урока, даваемого сегодня вам: «Gott mit uns»²... Но Господь, по слову Исая³, приходит к тому, кто его не ищет и к нему не взывает; к тем, кто не «народом божьим» именуется, но делает Его дело. Знай: столь же коротка и жестока будет расправа господня с ними, как ныне – с вами. Пойми или просто запомни: бог разрывает связь с тем народом, который, опьянев от гордыни, начинает считать себя «народом-богоносцем». «Не таковы ли, как сыны ефиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы? – восклицал от имени Творца Амос. – Не я ли вывел плиштим из Кафтора и арамян – из Кира, подобно Израилю из земли Египетской?»

– Когда трюмы корабля полны зерном, – подтверждает Кадм, – крысы думают, что купец заботится об их пропитании. А он просто везет пшеницу на базар. Крысы узнают об этом, когда пустеют трюмы. Не крысами вы должны быть, но матросами, но штурманами и капитанами, знать, куда и зачем идет корабль, вести его сквозь бури...

¹ Уходи из страны твоей... От родины твоей, из дома отца твоего (ивр.).

² «С нами Бог» (нем.). В оригинале – по-немецки.

³ Исая, LXV: 1.

– «Израиль» – это не только евреи, – добавляет Авива. – Во всех народах мира рождаются праведники. «Израиль» – это те, кто знает Бога живого, и отказывается чтить *любых* идолов. «Израиль» – это те, кто избран *думать* о судьбах мира – и в конечном счете спасти его. И, спасши, получить на него право. Вы – мысли Предвечного о мире, Его глаза и его пальцы, – вот в чем ваша *избранность*. И таковой она пребудет и в сыром крысином подвале, и на кресте, и на костре. Своими глазами – что означает Его глазами! – вы должны будете увидеть *все*, что возможно в этом мире, своими пальцами – ощупать. И на все яды найти противоядия, на все хитрости и уловки – защиту, на все тезисы – контраргументы...

– А думать человек ни о чем, кроме своего желудка и конца, не желает, – подхватывает Кадм. Ум языков – на службе извечному Червю, грызущему мир. Но и вы думать не хотите, отделяясь от Великого Служения пустыми жертвами, молитвами, обрядами и ритуалами, и очень нравитесь при этом самим себе. Как заставить вас думать?

– И как же?

– Оливка дает масло, лишь стиснутая в прессе маслобойки, – продолжила Авива. – Виноградные ягоды становятся вином, лишь когда истекут сладкой кровью, попав в точило, под ноги рабов и копыта ослов. Так и Израиль, подобно маслине и винограду, будет брошен ха-Шемом на поругание под ноги язычникам. Весь мир станет для Израиля Гефсиманией¹. *Анусим*², будете вы рассеяны по лику земли – и только так вы научитесь думать, не сможете не думать! Как закваска будет брошен Израиль меж народами земли, пока не вскиснет все!

– Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir³, – подхватывает Кадм; Мара недоуменно выслушивает непонятное ей заклинание. – Должен Народ пасть в плавильную печь, в глубины мирового зла, чтобы очиститься там, подобно расплавленному серебру, от шлаков и изгари, от любой своей скверны, от всех своих скверн. От гордыни. Кто

¹ Тисками, давилей для добывания масла из оливок (ивр.).

² Изнасилованные (ивр.).

³ Нужно ковать железо, толочь его, мять... (фр.) В оригинале – по-французски.

возвышает себя, тот унижен будет. От нетерпимости, гневливости, неумения искать согласия и компромиссов. Царство, разделившееся в себе, не устоит. От замкнутости. Должен Израиль отыскать в пучинах зла все *нецоцот*, искры чистоты, святости и мудрости, не упустив ни единой, и принять все их в себя. Да мало ли от чего еще! И тогда на реке Времени начнется ледоход, наступит время *тхият ха-метим*¹, и Израиль изнутри откроет врата зла и выведет на свет Божий освобожденный мир. Так он умрет – и так он воскреснет!

– Умрет... Воскреснет... – прерывисто вздыхает Мара и касается лба кончиками пальцев в извечном жесте непонимания.

Авива ласково гладит ее по волосам:

– Он все правильно говорит. Слушай, девочка...

– Вопрос с галутом – решен; очень скоро Народ будет лишен и Храма, и царства. Но остался другой вопрос: переживет ли Народ это падение? Не уничтожат ли языки и Тору, и его, когда он жалкими кучками будет разбросан среди них?

Слово и плоть

– Поломали мы здесь себе головы, скажу я тебе! – продолжает Кадм. – Выходило одно: чтобы Народ остался в живых, Тору *также* нужно опустить во тьму языков, среди которых он будет разметан. И так, чтобы она при этом не пострадала. Но народы уже отвергли Тору. Как же снова предложить им ее, но так, чтобы они не сумели отказаться? – прямо спросил он у Мары.

– Ну, и как же? – мнется она. – Я не знаю...

– Как дают детям горькое лекарство? Прячут его в сладкой облатке, дают запить медовым сиропом или разбавленным винцом. Как бабочка переживает зиму? Спрятавшись в теплый кокон. Поэтому должен прийти Тот, кто вручит народам Тору, спрятав ее в сладкую облатку, такую, которая всем им понравится, окажется для них удобной и привычной. И в то же время он укутает смысл

¹ Воскресение мертвых (ивр.).

Закона в прочный кокон, так, чтобы не пострадал он от болтливости и кощунства невежд... Тот, кому надлежит прийти, явит миру образ подвига, предстоящего Израилю, но не прямо, а в загадке и иносказании... Старое и доброе вино Торы он перельет в новые мехи...

– Кожаные? – невольно улыбается Мара.

– Кожаные! – подтверждает Кадм без улыбки. – Из собственной кожи...

Он замолкает. Мара испуганно вскидывает глаза:

– Что значит «из собственной»? Что с ним случится?..

– Что? Ну, как это обычно бывает? Подвиг его, как, собственно, и мой, на долгие-долгие века сочтут *грехом*, – и как раз те, для кого он старался... Скажут: соблазнял Народ, пытался свести Израиля с пути...

– Не слушай этого болтуна, – вмешивается Авива, перебив Кадма и с состраданием поглядывая на Мару. – Первосвященником по чину Мельхиседека назовут его. И все получится. Те, о которых сказал Кадм, идущие широкой дорогой, в этом качестве его и примут. Поставят над собой царя по собственному выбору, по желанию сердец своих, как сказано в книге Шмуэля. И он, подобно Шаулю, пощадившему Агага, заменит божественное понимание добра иным, решив, что может быть милосерднее Всевышнего. Потому-то у него будут миллионы и миллионы поклонников, век за веком прославляющих и чтящих его... И хоть языки найдут поводы все это время терзать Народ, – но самого страшного все же удастся избежать... Народ уцелеет!

– И в *сказанном* тоже не будет ничего страшного! – добавляет Кадм. – Рассказывают, что во времена Моше некий пастух молился: «О, Господи, я хотел бы быть Твоим рабом! С радостью я мыл бы Твои ноги и целовал их, приносил бы Тебе молоко и сыр от моего стада!» Услыхал эти слова Моше и сказал с гневом: «Ты богохульник. Бог бесплотен, – не нужно мыть ему ноги, не нужно его кормить». Но пастух не мог представить Бога без тела, а после слов Моше не смог больше молиться и впал в безверие и тоску. И сказал Бог Моше: «Зачем ты лишил Меня одного из верных рабов Моих? Скажи ему – пусть молится, как прежде молился. Слова ничего не значат. Я вижу сердца людей...»

Мара растерянно переводит глаза с Кадма на Авиву и обратно, она ничего не понимает в путанице их слов:

– Так в чем же грех?..

– *»Будет он освящением* и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в *сети*, и будут *уловлены*... Камень, который отвергнут жидущие, подберут другие, и на нем станут строить свое, новое здание; с пеной у рта будут они доказывать, что *сказанное* о нем – истина, в нее надо просто и несомненно верить. Другие не менее яростно станут утверждать, что *сказанное* о нем невероятно и потому невозможно. Эти спорщики выплеснут ребенка вместе с водой... Весь спор будет о *словах*, никто даже не заикнется о том, что *сделано* Пришедшим. Ни те, ни другие не заметят *сути* его деяния в течение веков и веков!

– Ни те, ни другие?

– Не являл Предвечный после дарования Торы более великого чуда, чем это сокрытие, это всеобщее помрачение умов и взоров!

– А если кто поймет, в чем тут дело?

– Понимать – пожалуйста, понимай. Но разгласить *до времени* то, что ты узнала сегодня – все равно, что произнести *Шем ха-Мефораш*, тайное имя Бога. Нечестивец, который осмелится написать такую книгу, на себе узнает, что такое *пульса де-нура*²; сама книга никем не будет понята, не будет переписана, а переписанная – сожжена рукой палача. И это правильно – ведь до сроков и времен поставленная в ряд с книгами Доброй Вести, она *взорвала бы мир*. До времени никто не должен постичь сути деяния Пришедшего. Иначе... деяние окажется напрасным, миссия его будет сорвана...

– И в чем же эта... Я хочу сказать – что он сделает?

– Но я же сказал! – удивляется Кадм. – Ты что, совсем плохая?

Исайя, VIII: 14-15.

² Обряд обращения к Всевышнему с просьбой наказать еврея, порвавшего связи со своим народом.

– Нет, беленькая и пушистая, – смущенно возражает Мара. – *Это, главное*, я поняла – он сделает, что языки будут и читать, и чтить Тору, он сплетет вокруг нее кокон из слов и споров, и тем спасет от уничтожения и ее, и Народ! Но я хочу знать, *что именно он для этого сделает!*

Кадм отводит глаза. Мара глядит на Авиву – но та тоже понуро и виновато отворачивает лицо.

– И это я говорил, – бормочет, наконец, Кадм. – Он облечет Слово своей живой, теплой и болящей плотью...

– Такова общая судьба сынов человеческих, – успокаивающим тоном начинает Авива, чем только усиливает тревогу Мары. – Все они неизбежно проходят долиной смертной тени, чтобы попасть сюда. И тот, кто говорит, что умирать на костре страшнее, чем в бою, а на кресте – мучительнее, чем от подагры в мягкой постели, – тот просто ничего не знает о смерти...

– Хорошо. Хорошо, – тихо говорит Мара. – Я поняла. Он пойдет на какую-то ужасную... – она вновь прерывисто вздыхает, – муку... а Народ не примет его. Славословия чужих не в счет... Но когда-нибудь Народ все же разберется?.. – с надеждой поднимает Мара глаза к громяющей горе.

– Разумеется! В конце концов истина, которую ты узнала сегодня, откроется всем, будет признана всеми, пожар споров угаснет, имена спорщиков забудутся, и лишь он, как головня обугленная, будет выхвачен из этого пламени. Ведь это о нем сказано чрез Захарию: *«смотри, Я снял с тебя вину твою и облакаю тебя в одежды торжественные»...*

А теперь решай сама, будешь ли ты супругой римского императора...

– Так Пришедший будет моим сыном? – замирает Мара.

– Разве я сказал это? – уходит от ответа Кадм, пожимая плечами. – Впрочем, каждая мать вправе мечтать о счастье сына... На-ка, возьми на память...

Он кидает ей камешек и она ловко подхватывает его. Почти необработанный продолговатый кусочек пегматита, письменного гранита, «еврейского камня». Светлыми

кристаллами кварца на фоне темного шпата выложено здесь тайное имя Предвечного, и ни один мастер, ни одна человечья рука не касалась его...

– А теперь иди. Я устал. Мы устали.

И замшелый человек с седой бородой, похожий на каменную скалу, покрытую красной глиной, человек, явившийся из подземных темнот, раскрошился в дымящиеся комья, а их словно всосала в себя земля. Трещины закрылись, и через мгновение этот участок степи ничем не отличался от других, лишь дикий камень, покрытый пятнами лишайника-золотянки, намекал, что здесь, возможно, когда-то в вечности *был* человек... А следом и Авива, бросив Маре прощальную сочувственную улыбку и осторожно помахав самыми кончиками пальцев, обратилась в холмик, заросший полынью, зверобоем и дельфиниумом, над которыми жужжали мохнатые шмели...

Мара в костюме скифской наездницы – в кожаных штанах и куртке – стоит на кургане среди родной прииорданской степи, и на нее, на море ковыля и полыни низвергается водопад нежащего зноя... Рядом всхрапывает конь. Мара держит его повод. Южный горизонт мреет в сизоватом пыльном мареве, там перегоняют отары овец...

*На надгробии старом
Слов неведомых вязь.
Топчут степи отары,
Над минувшим смеясь...
Чья, в бессменном дозоре,
Здесь осталась тоска
Путь к Последнему Морю
Не сумев отыскать?
Немы камни и кости,
Лишь по трещинам смог
Свесить мягкие космы
Фиолетовый мох,
Да у ног обелиска
Рядом с мертвым – жива
Разлохматила листья
Золотая трава...*

Глава 5. МУХИ В ПАУТИНЕ

На Родосе об Ицхаке бен Давиде думали, что он – скромный судовладелец, сдающий фелуки в аренду рыбакам. Но он имел гранильную и камнерезную мастерские в Ур-шоломе и держал две ювелирные лавки – в Кесарии и Эфесе. Поднялся он на поставках лазурита, небесно-голубого камня, рождающегося на Крыше Мира. И не кому-нибудь поставлял он его, а самому Героду¹ – для облицовки Храма. Точнее, Аристобулу, его домоправителю. Нарезал на пластины, шлифовал... Герод, много и размашисто строивший, высоко оценил деловитость и качество работ нового подрядчика...

Бен Давид собрался открыть еще одну лавку – на Родосе, в важнейшем, после Ур-шолома и Александрии, восточном центре Империи. Для того и приехал сюда: присматривался к обстановке, вникал в ситуацию. И тут-то брат его, Иоаким, владелец необъятных отар на Левобережье, в Гавлонтиде, попросил что-нибудь сделать для дочери. У нее стало похрипывать в груди. Лекари единодушно рекомендовали морской воздух, и Ицхак бен Давид с удовольствием взял ее с собой на Родос: он любил племянницу.

И вот на тебе – сам наследник престола Империи положил на нее глаз. Бен Давид не знал, куда бросаться, за что хвататься: и с Иоакимом советоваться надо, и с партнером своим коммерческим новые обстоятельства согласовать... Что, если удастся добиться заказов на поставку поделочного камня в Рим? Ого-го! А как насчет сапфиров, жемчуга, растущих в морской глубине красных кораллов, таинственного белого нефрита с самого края мира? То-то и оно!

Иуда бен Езекия из Гамалы, его деловой партнер, был некоронованным властителем Гавлонтиды (или Голанских высот, как еще называли эти территории): возглавив, по

¹ В современном произношении – Ирод.

смерти отца, отчаянных, на все готовых борцов, которых называли *кнаим*¹, мстители, он, в частности, контролировал всю контрабанду через северо-восточные границы Иудеи. У бен Давида задачи были иные: мытари на Кесарийской таможне, морские перевозки, реализация...

Иудею он посещал часто, ездить туда, за вычетом риска морского путешествия, было для него чистым удовольствием. Тем более, что близился Песах, а этот праздник бен Давид, хоть и был иеессеем, предпочитал проводить в Ур-шоломе.

– Поедешь со мной, Мара?

– Ну, как я оставлю *его*? – сказала она, тяжело вздохнув.

И бен Давид, тоже со вздохом, кивнул головой: да, сейчас нужно, чтобы она оставалась на Родосе... Он верил племяннице, знал, что она, твердая, чистая, как лезвие клинка, вовек не сделает ничего стыдного – лучше умрет...

С запада вплотную к Ям ха-Мэлах подступает высокогорная пустыня Негев. Вся она – призрак, все в ней словно бы не на самом деле: бесконечные волны каменного моря, щебенка которых словно тихо похрустывает в час заката; призрачные скалы-останцы в черном глянце «пустынного загара», останавливающие ночные звезды; белые полупрозрачные окатыши-сверкачи на тропе, которые дают яркую вспышку, если ударить их один о другой; беловатая от солевых выцветов, завернувшаяся в тонкие рулончики глина на местах высохших луж; несущиеся неведомо куда шары перекачиполя... Именно на это обиталище злых духов обрушились в давние времена потоки огня и серы, – и до сих пор льются на него.

Нужно пройти много фарсангов, чтобы найти не вполне выжженную степь, задержать взгляд на паутинке, запутавшейся в сухом кустарнике, мерцающей над желтовато-бурой травой, услышать шелест высохших зарослей тамариска и стрекот кузнечиков. Все это будет непременно в низинке, там, где на глубине в несколько

десятков локтей под почвой медленно цедится невесть откуда взявшаяся вода. А если вы не уклонились от караванного пути и к тому же вам везет, то где-то рядом окажется и колодец, непременно закрытый, подобно могильной пещере, широкой каменной плитой, чтобы не испарялась вода, и ветер не заносил ее мусором...

Так плоскогорье выглядит «наверху», вплоть до самого моря, к которому оно обрывается крутым скалистым уступом. Но оно изрезано множеством речных долин, а в них все совсем не так. Если найти тропу, которая позволит по почти отвесному склону опуститься в долину, вы попадете в другой, нижний мир, мир, где журчит прохладная вода, где шелестит ветер в кронах дубов и терпентинных деревьев. В меловых бортах ущелий чернеют дыры природных пещер, и многие из них, особенно ближе к северу, где в горько-соленое море впадает Иордан, обитаемы, образуя порой целые поселки. Здесь живут отшельники-иеесеи.

В одном из таких пещерных городков, Бейт-Лехеме¹, родовом гнезде бен Давида и была назначена встреча. Близ устья Кедрона, почти у самого Соленого моря спрятался от недружелюбных глаз этот городок. Попасть в него можно лишь по козьим тропкам, выющимся по скалистому обрыву сверху, с караванного пути. Бейт-Лехемом – «Домом Хлеба» – именовался он, и не только потому, что жизнь здесь была сравнительно сытной, но и в память другого поселка, прежней Евфраты, «Плодоносной», где в свое время в семействе Иесея родился Давид ха-Мелех.

– Ну, *ах ве хавер*², вот Гай Цезарь и окончательно наложил лапу на парфянскую границу. Мы теперь не пограничная страна, а внутренняя провинция империи. *Ма шломха*?³

Так почти с порога, едва коснувшись мезузы, восклицает

¹ Зернохранилище, житница (ивр.).

² Брат и друг (ивр.).

³ Как твое здоровье? (ивр.).

¹ Греч. зелоты (ревнители), рим. сикарии (кинжальщики).

Иуда бен Езекия из Гавлона, входя в жилище Ицхака бен Давида. Глаза его поблескивают, борода, черная с заметной проседью, задиристо топорщится. Следом за ним порог переступает Иоаким, строгий, насупленный, в длинном, до пят шерстяном плаще, шапке из овчин и с пастушеским посохом в руке, с которым никогда не расстается. Последним входит Цадок из священнического рода; он с симпатией относится к иессеям, что не мешает ему оставаться последовательным прушим¹. Иессеи не раз предлагали ему покаяться, очиститься и войти в «истинный народ Божий», но каждый раз он лишь смущенно покашливал.

Бен Давид уже знает эту новость. Гай, племянник Августа, второе лицо после него на Востоке, только что распорядился «в целях охраны купеческих караванов и споспешествования процветанию римской торговли» разместить воинские части на всех торговых путях, уводивших за парфянскую границу – где центурию, где – манипул, а где и когарту. Герод, сгнивавший заживо и лечивший свои страшные трупные язвы в горячих ключах Каллирои², завизировал его решение. Дальнейшее было нетрудно представить – вскоре на колодцах, у караванных троп, близ крохотных селений начнется строительство лагерей – широко, с размахом, как и все у римлян.

Кесарийские мытари места не находили: портовую таможню впоследствии, когда все устаканится, предполагалось расформировать, а их самих отправить «на усиление» в новые пропускные пункты. Кругля глаза, они рассказывали об ужасах пустыни, зное, песчаных барханах, безводье, змеях, скорпионах – и осторожно, с оглядкой шептались о «несвоевременности и нецелесообразности» решения высшей власти.

– Чему удивляться? – замечает бен Давид. – Рим год за годом шел именно к этому.

Действительно, Десятиградие, где Помпей более полувека назад поселил своих легионариев-ветеранов,

¹ Фарисеи, религиозный толк в иудаизме, чье понимание Закона было наиболее близко к современному ортодоксальному.

² «Прекраснотекущая» (греч.). Оживленный античный курорт у минеральных источников на берегу Мертвого моря.

отняло почти все Левобережье, закрыло восточную границу. Набатейя вот уже тридцать лет римский протекторат, хоть ее властители, носящие странный титул «араты», постоянно конфликтуют то с Иудеей, то с самим Римом. Химьяр сокрушен Римом двадцать лет назад: юг полностью закрыт. Но теперь будет закрыт и север, и так уже давно полуконтрабандный. И если бы только это! Все чаще синские шелка, индские смарагды и яхонты, слоновая кость и благовония, нишапурская фируза, – прибывают в Иудею во вьюках, принадлежавших римским эквитам. И при сборе налогов им предоставляют льготы, для иудеев недоступные...

– Распыление сил на самой границе вроде и не беспокоит его! – продолжает бен Езекия из Гавлона, не в силах удержать печальный ход своих мыслей. – Собрать подать все равно безопаснее, чем завоевывать и грабить города...

– Что с Марой? – не дослушивает Гавлонита Иоаким, садясь к столу и устраивая посох между колен. Лоб его пересекают глубокие коричневые морщины, глаза поблескивают из под густых бровей, неотрывно впившись в бен Давида.

– Она здорова и благополучна. Никаких хрипов – поправляется и хорошеет, – с некоторым смущением, как заученный урок, бормочет бен Давид. – Хотя куда ей еще хорошеть?..

– Почему не приехала? – еще строже продолжает Иоаким.

– Видишь ли, – запинаясь бен Давид.

– Вижу. Знаю! Ты свел ее с римским наследником!

– Я не делал этого. Но если уж так случилось, значит, это угодно Предвечному! – возражает бен Давид. – И волос с головы не упадет без его воли! «И как же быстро расходятся слухи!» – с некоторой досадой, но без удивления отмечает он про себя.

– Ты губишь ее! – возгремел Иоаким. – Ее не виню, она еще совсем девчонка, хоть мы и справили ее бат-мицву. Но ты, ты! Как она вступит в брак с необрезанным? Каково

ей будет обнажаться перед семенем Амалика? А есть некошерные блюда? А нарушать Шабат?..

– Кто тебе сказал, что она нарушает Шабат? А с кошером – у него там только птичьего молока нет!..

– От винограда Содомского виноград их, – гневно возражает Иоаким, – и с полей Гоморрских ягоды их – ягоды ядовитые, гроздьи горькие у них. Жало драконов – вино их, и жесточайший яд аспидов...

– Не горячись, – вступает в разговор Цадок. – Брак, говоришь ты? Но была ведь Эстер при Ахашвероше!

– А Ирина при Птолемее, Клеопатра при Цезаре, при Антонии, – радуется поддержке бен Давид. – А Мариамма при Героде?

– Иудифь при Олоферне, наконец! – подхватывает Иуда бен Езекия, усмехнувшись. – Царица на римском престоле, – это, я вам скажу!..

И он крутит головой, словно не в силах представить себе все возможности, проистекающие из такого обстоятельства.

– Все они поплатились головами, – громыхает еще раз Иоаким, но в голосе его нет прежней уверенности. Он вопросительно переводит взгляд с одного собеседника на другого. – Или почти все...

– *Тов лаамут бе'ад арцейну*¹, – горячо восклицает бен Езекия из Гавлона. – Что смерть? Разве не горше смерти видеть, как гибнет твоя страна? Разве не сказано было Эстер: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете»?

– Грех, совершенный во имя Бога, превыше исполнения заповеди не во имя Бога, – добавляет бен Давид. – Кто может знать, не из ее ли рук придет спасение Израилю, не из ее ли благословенного чрева?!

Он сам не знает, как выговорились, откуда пришли в его речь эти неожиданные слова, и несколько смущен. Но аргумент этот неожиданно глубоко потрясает Иоакима, буквально сражает его. Он жуёт губами, откидывается на стуле, морщины на его лбу несколько расправляются,

¹ Счастье – умереть за свою страну (ивр.).

только глаза все еще посверкивают из-под бровей.

– А что, может, действительно предложить Тиберию помощь? – начинает Гавлонит. – Глядишь, потом, когда придет к власти, и отменит это решение Гая... Да мало ли, что еще может он отменить?.. Или утвердить...

– Если еще придет, – замечает бен Давид. – Наша-то крошка его в иудаизм обращать взялась! Представляешь: еврей – император Рима!

Цадок раскатисто хохочет. Бен Давид поддерживает его, а глядя на них, неожиданно тонко смеется и Иоаким, трясется всеми складками пастушеского плаща, постукивая посохом по полу. Глядя на это и Гавлонит закатывается хохотом, взмахивая руками и хлопая по бедрам:

– Еврей – император Рима! Ну, ты скажешь, так скажешь!

– Это уже не император, это – Машиах! – подтверждает бен Давид, с трудом находя места для слов в сотрясающих его пароксизмах смеха.

Цадок укоризненно качает головой: не переходи границ!

Между тем из внутренних помещений раздаются шарканье и покашливание, и на пороге является старичок, серебристо-седой и легонький, как облачко хлопчатной ваты.

– Вы не против, если к нам присоединится Шимон бен Филипп? – сквозь смех спрашивает у беседующих бен Давид.

Машиах или Спаситель?

Шимона бен Филиппа все считали очень странным человеком. Неделями жил он в своей пещере один, как перст, закопавшись в старые рукописи; лишь два раза в день ел хлеб, овощи и мясо, которые приносил посыльный мишпахи. Странное и порицаемое поведение; но Шимон имел частые и многочисленные видения, пророчествовал, – и не раз случалось мишпахе убеждаться, что пророчества его сбывались...

Шимон не тратит время на приветствия, ограничившись общим кивком. Видимо, он слышал последние фразы

разговора, и сразу ввязывается в него:

– Что смешного нашли вы в пророчествах о Машиахе?

– Нет! Нет! – машет руками Иуда Гавлонит, продолжая смеяться. – Не в пророчествах! Не в Машиахе. Мы представили себе еврея-императора. В Риме!

– Никто не знает, откуда придет спасение Израилю, – возражает Шимон. – Моше тоже был вельможей в Мицраиме.

– Выходит, мы угадали, – замечает Гавлонит, продолжая посмеиваться. – Тиберий *может* быть Спасителем. А беды, обрушившиеся на страну, можно понять, как «хавелей Машиах»¹, и, значит, он уже при дверях, близко! Машиах Тиберий Нерон, спаситель Иудеи! – и он снова закатывается гомерическим хохотом.

– Нет доли в Мире Грядущем тому, кто высчитывает времена и сроки Машиаха, – строго говорит Шимон. – Да, наступило страшное время! Да, пришел народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века: перед ним земля как сад Едемский, а позади – руины и пепелища. Да, стало Израилю, как предсказано, «посреди земель, между гоями, то, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка»¹. Но это не «хавелей Машиах». Не пошлет нам Господь избавления ныне. Наоборот. Будет Иудея обесславлена, как поруганная дева, облаченная во вретище вместо одежды красоты и увенчанная веревкою вокруг головы вместо короны; сыновья и дочери Израиля сделаются пленниками гоев и, как рабы и преступники, будут заклеяны печатью рабства. Все народы земли вооружатся против них и доведут их до полного отчаяния; сыны Израиля будут взывать и умолять об освобождении от руки греховных язычников, но не найдется никого спасающего. Это поколение, рассыпавшееся на семьдесят два толка, предназначено на посрамление и поношение: будет оно лишено Храма, Святой Земли и разметано по миру.

– Храма?.. – вскидывается Цадок. – Думай, что говоришь!

¹ «Муки рождения Мессии» (ивр.).

¹ *Исайя*, XXIV: 13.

– Это говорю *не я*, – возражает Шимон. – Имя того, кто сказал мне это – Гвураэль¹. Ему отныне вверен Израиль.

Над собравшимися простирает мягкие совиные крылья продолжительная почтительная тишина.

– Храм будет отнят? – нарушает молчание Шимон. – Да ведь он уже отнят! *Цдуким*² превратили его в подобие капища Астарты или Аполлона, и мы, иессеи, говорим, что его уже как бы и нет. Пусть Герод укладывает полированный мрамор, лазурит, покрывает золотой чеканкой кедровые брусья – *эти* камни имеют мало отношения к Храму, они нужны лишь для слепых сердцем. И даже если рухнут они – Храм разрушить нельзя. Те, кому он нужен, увидят его и разрушенный, а тем, кто его не видит, он вообще не нужен!

– Круто заверчено, – хмыкает Гавлонит.

– Он останется стоять, но не «первый» и не «второй», а единственный и вечный. И во время Вавилонского пленения он высился на Храмовой горе, и ныне стоит там и сияет, как сиял всегда, и *не в его двери* входят цдуким! В одно время его невидимые формы облекаются камнем, в другое остаются незримыми. А будет и такое время, что пламенем облекутся они... Речь не о самом Храме, а о том, что *поколение за поколением* Народ будет лишен его. В руки киттим и эдомитов, Амана и Амалека будет отдан Народ! Сегодня царство Иудейское спасти *невозможно*. Полною верой верю я, что Господь в должный срок пошлет Того, кто очистит Святую Землю от всего недостойного, утвердит на ней свой трон. Но это будет очень, очень нескоро! «Только когда лев ляжет рядом с агнцем», говорит Исайя, и этот стих надо понять. Речь о том, что *князь мира сего* – львы, а Машиах придет лишь когда станут они агнцами! Где они, агнцы? Любой властитель в сегодняшнем мире – и еврейский в том числе! – кровопийца и тиран, ужас и поношение народов. Вам мало царей? Вам *Герода* мало?

– Герод – из потомков того, кто продал первородство за

¹ Гвура-Эль, т.е. персонифицированная Гвура, Мощь, пятая из десяти сфирот. В принятой транслитерации – Гаврил.

² Саддукеи – проримская религиозно-политическая партия, находившаяся в то время у власти в Иудее.

миску похлебки, – хмуро ворчит Гавлонит. – Он – птица гордая, не пнешь – не полетит...

– Дело вовсе не в Героде, – горько продолжает Шимон. – А Асмодей Яннай, бешеный львенок, который вешал живых людей¹, – он что, тоже идумеем был? Таковы все цари мира, и не могут они быть иными! И потому евреи не должны пятнать себя пребыванием на престолах и тронах – вот в чем суть. Не должны они гваздаться в той крови и грязи, которая сегодня – неизбежный спутник власти. А кто не поймет этого – будет уничтожен. «Господь Цебаот страшною силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие – повержены на землю. И посечет чащу леса железом, и дуб ливанский срублен будет Могущественным».

– Да, Исайя сказал это, – замечает Цадок. – Но почему ты обрываешь цитату? «Прянет побег от корня Иессеева»¹ – вот что говорит он сразу вслед за этим.

– Да! Да! – восклицает Шимон. – Я хотел, чтобы ты сам это сказал. Именно Иессеева! Из среды братьев наших, иессеев, подлинных Сынов Завета, и Завета иного, Нового, предреченного Иеремией! При дверях Он, близко время Его! Сказано мне: в тот Песах, когда умрет последний царь Иудеи, Спаситель уже будет рожден! Скажу больше, скажу лишнее: мне самому не пережить дня его рождения, но обещано мне, что не увижу я смерти, пока лицом к лицу не встречу с Ним...

– *Ад меах в'эзрим шана...*² – вразной бормочут присутствующие.

– И это тоже сказал тебе Гвураэль? – усмехается Цадок. – Ну, хоть с тем ты согласился, что Машиах все же придет.

– Не Машиах! Не Машиах! – протестует Шимон. – Спаситель! Таков замысел Предвечного.

– Спаситель? Да, называют его и так, – недоумевает Цадок. – Но почему для тебя Спаситель – не Машиах? Разве это не одно и то же? И как вообще ты можешь знать

¹ Царь Иудеи Александр Яннай из династии Хасмонеев приказал ок. 100 г. до н.э. распять на крестах 800 фарисеев и задушить на их глазах их жен и детей.

¹ *Исайя*, X: 33-34: 1.

² «Да будет тебе дано дожить до ста двадцати лет» (ивр.).

замыслы Предвечного?

– А для чего ж Он дал нам Тору, для чего ж писали свои книги *небиим* и *сойферим*? Все, что случилось с патриархами, повторяется в судьбе их потомков. Кто знает, какое ныне тысячелетие на дворе, кто знает сегодняшние *прашу* и *гафтара*¹, – не на неделю, но на эпоху! – тот видит, какая именно из историй патриархов происходит с нами. С помощью Торы он прямо видит завтрашний день!

– И ты видишь?

– Вижу!

– И что же это? Исход?

– Не надейся! Такое дано лишь избранным поколениям. Но и во дни Исхода было знамение о наших временах. Моше простер свой жезл, Моше сказал сынам Израилевым, чтобы они шли... но море не расступалось. Ха-Шем, благословен он, ждал. И лишь когда Нахшон, первый из уверовавших, шагнул в пучину – разверзлись хляби. И вновь мы должны перейти море... – но на этот раз погрузившись в него. Тот, кому надлежит прийти, так же шагнет в пучину... но на этот раз море не расступится. И покажется ему, что оставил его Предвечный... Вот что ему – и нам! – предстоит. Падение! От рук собственных братьев! В колодец! В могильную яму! Во тьму и холод, в тоску и отчаянье, в три дня мучительной смерти, – почти смерти, – а потом – да! – долгий и мучительный спуск в Мицраим! Для всех нас. Ибо не сокрушит он Рим простертой десницей, а окончательно отдаст Израиль под его власть... Лишь потеряв Храм и царство, народ Израиля останется народом Израиля, в поражении своем обретя победу!..

Шимон бен Филипп выкрикивает это, взмахивая кулачком, поворачиваясь то к одному, то к другому, седой, взъерошенный, с задранной серебряной бородой и выступившими на лбу каплями пота – на него страшновато смотреть.

¹ *Праша*, иначе «недельная глава» – ¹/₅₂ текста Торы, которую предписано изучать в течение соответствующей недели. *Гафтара* – предусмотренные каноном комментарии к этой главе из текстов *Небиим* и *Хсубим*, т.е. Пророков и Писаний.

«Я – Йосеф, брат ваш» (Брейшит, 45:4)

*Йосеф Ронкалли (папа Иоанн XXIII) – представителям
«Объединенного еврейского призыва» в 1960 г.*

– Так мы должны вновь пережить историю Йосефа? – догадывается бен Давид.

– Именно это я и увидел в зеркале Торы! – восклицает Шимон. – Не Давиду, не Моше подобен будет Тот, кому надлежит прийти, – а Йосефу.

– Но раз он отдаст Израиля Риму, может, уподобим его Иуде, продающему Иосифа ишмаильтянам? – иронически поднимает брови Цадок.

– За двадцать сребреников, как тогда? – хмыкает бен Давид.

– Жизнь дорожает... Теперь уж за тридцать, не меньше... Иоаким, не зная, что и думать, на всякий случай смеется:

– И Захария говорит: «взял я тридцать сребреников...»

– Так кто же есть кто в нашем поколении? – с откровенной насмешкой обращается Цадок к Шимону. – Кто Иуда продающий и кто Йосеф продаваемый? Скажи, если знаешь!

– Не зови того, кому надлежит прийти, Йосефом, – поправляет Шимон. – *Бен* Йосефом будут именовать его...

– Подвиг Йосефа не в том, что он три дня сидел в колодце-могиле, а в том, что он прибрал к рукам Мицраим! – ухмыляется Гавлонит. – Что ж, возможно твой «спаситель» не воевать будет с Римом, а *по-иному* станет его владыкой. В любом случае нас ожидает хорошая история!..

– История никогда не повторяется вполне, – останавливает оживленный и веселый обмен мнениями Шимон. – Когда у Йосефа в Мицраиме зерно текло поверх амбаров – его братья и отец в Кнаане пребывали на грани голодной смерти...

– Но они поехали – и все выяснилось, – весело замечает Цадок. – Или на этот раз не поедут?

– Поедут, но не скоро.

– Ну, если дело только в сроках...

– Да, только в сроках! – печально говорит Шимон. – Двадцать или двести *хелеков*¹ держать голову под водой – есть разница? На десять лет или на тысячу погрузиться в море мирового зла? Я спросил: «Скоро ли окончится этот кошмар»? Он ответил: «Во дни Машиаха». Я настаивал: «Когда это»? Он ответил: «Скажу, но не будет тебе доли в Мире Грядущем!» – «И такой ценой я хочу знать!» – ответил я. Он одобрительно усмехнулся: «*Учетвери* срок от разрушения первого Храма до разрушения Второго, и тогда начинай ждать».

– *Мэй ха-Шилоах холхим леат*², – ахает Иуда Гавлонит и сжимает кулаки так, что белеют костяшки. – Почти тысяча семьсот лет – и это если Храм рухнет прямо завтра³, да стоит он во веки веков! Ты соображаешь, что говоришь?

– *Совланут, адони*⁴ – бормочет Шимон и опускает веки. Лицо его измучено, над бровями – капли пота. – Тысяча лет – как день пред лицом Предвечного. *Леат-леат ве ихье беседер*⁵.

– То ты говорил, что лицом к лицу увидишь спасителя, теперь называешь какой-то жуткий срок, – удивляется Цадок. – Да у тебя с головой все ли в порядке?

Между тем лицо Шимона заливает бледность, губы трясутся, на них появляются пузырьки пены. Глаза его закатываются, щеки подергиваются, он бормочет едва слышно:

–...Не царь Иудейский, в блеске и славе, сгибающий выи врагов, – а агнец Божий, нищий бродяга, которому негде приклонить голову. Не в Храме, а среди нечестивцев и грешников проведет Спаситель жизнь. Он будет стоять над родной кровью – и не воспрекословит, не возопиет, и никто

¹ 1/18 минуты.

² «Источник Силоам не торопится течь» (ивр.). Источник, запитанный от потока Гихон по туннелю, построенному царем Хизкией (Езекией), снабжал питьевой водой половину Иерусалима, здесь постоянно толпились люди, отчего и возникла пословица.

³ В иудейской традиции принято, что первый Храм разрушен 9 Ава 3338 г. от сотворения мира (начало осени 422 г. до н.э.).

⁴ Терпение, господин мой (ивр.).

⁵ Тише едешь – дальше будешь. Букв.: потихоньку-помаленьку, и все будет в порядке! (ивр.).

не услышит на улицах голоса его; трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит... *Тише воды и ниже травы* будет он, повторив и *изменив* выбор Адама, нашептанный Древним Змием... Не меч, а миртовая ветвь будет в его руках. Ветвь от корня Иессея, таинственно соединится он с деревом, облекшись в красу лилий полевых...

– Он заговаривается! – восклицает Гавлонит. – Ему плохо!

Шимон шатается. Ионатан и бен Давид подсакивают к нему, подводят к столу, помогают сесть...

– Что это может значить: «Не Машиах – но Спаситель»? – возмущается Цадок, ни к кому особо не обращаясь. В его насмешливом тоне слышится острое разочарование в способностях «пророка». – Спаситель – и отдаст Израиль Риму? Бред!! «При дверях, близко...» – но придет через многие и многие сотни лет! – Он что, всегда так вот «пророчествует»? – повернулся Цадок к бен Давиду. – Он уподобил иудеев мухам, запутавшимся в паутине чудовищного паука – римского паука! – который лениво, с разбором высасывает одну за другой, подрагивая жирным брюхом, – и еще хочет, чтобы мы радовались его предсказаниям?

– И это тоже ему поведал Гвуразель? – усмехается Гавлонит. – Что Царь иудейский должен стать блеющей овечкой, что Избранный Народ, уподобясь ему, – поколение за поколением унавоживать почву для будущей гармонии? «*Ве ихье беседер*!» – с иронией повторяет он. – Ждать, пока лань ляжет подле льва, – а до тех пор что? Лишенный Храма, молиться в зловонных конурах, обливая слезами черствый кусок?

Шимон между тем помаленьку оправляется, на лицо его возвращается краска. Цадок замечает это, глаза его сверкают:

– Ответь, если сам понял свои слова: зачем приходит *такому*, какого ты описал? – в его голосе становится все меньше иронии, все больше сарказма и гнева. – Мы ждем Машиаха, говорим: «близко время его»; ты говоришь – да, близко время, но не Машиаха – тот придет еще очень не скоро – а *нищего бродяги*? – Он оглянулся вокруг, словно

ожидая взрыва хохота, но все смотрели мрачно и подавленно, лишь Гавлонит криво и вымученно улыбнулся. – *Зачем* ждать такого? Что сможет он сделать? Кто вообще *заметит* его приход? И при этом ты еще называешь его «Спасителем»! За какие же это такие свершения и благодеяния?!

– Почему «Спаситель», спрашиваешь ты? – Шимон с трудом ворочает языком после приступа. – Да потому, что Он спасет мир! Сотворит новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря прежнего уже нет. Если, не приведи Бог, Он не придет – все *это* рухнет, осыплется мелкими осколками, разлетится, как утренний туман...

Он хочет широко развести руками, показав, что именно будет уничтожено, но жест его старчески слаб. Между тем сидящие за столом возмущенно шумят, раздаются возгласы иронии и недоверия.

– Что ж такого... – язвительно начинает Цадок. Шимон перебивает его:

– Ты не понимаешь, между *чем* и *чем* приходится нам выбирать сейчас. Ты гредишь о тысячелетнем царстве Машиаха – и завтра же. И все так думают. А задача Спасителя – сделать, чтобы Народ *не погиб*. Не пресекался, не прекратился, не исчез. Вообще. Понимаешь? Я сказал: народ будет лишен Храма и царства. Да! Но я не сказал: народ будет лишен Торы. Если бы Предвечный не предрешил приход бен Йосефа – киттим уничтожили бы Тору. Тору они уничтожили бы! Тору! А без Торы нет Народа, без Торы не может существовать Вселенная. Но придет Он – и она останется цела.

Все потрясенно умолкают.

Шимон отирает со лба пот, подвигается к столу, устраиваясь удобнее. Вышитая шелковая подушка скрипит под ним. Берет с большого деревянного блюда соленую маслину, жует, морщится, причмокивает. Тянется к жареной козлятине, к еще теплым лепешкам *кемаха*. Наливает чашу охлажденного отвара слив из глиняного кувшина...

Глава 6. ТОРА

Вот пергамент, вот чернила, – и вот человек, постигший законы изображения букв и соединения их в слова. Будет ли дано ему более? Никто не знает. И бьется он, начертывая одно слово за другим, и одно слово над другим; но мысль, стекая с пера на бумагу, тут же становится ложью, и дурно пахнут мертвые письма, которых не коснулся Дух.

И вот тоже пергамент, и тоже чернила – но это Книга, каждая буква которой (а букв в ней триста пять тысяч шестьсот семь) истинна и несомненна, а все они в совокупности составляют хок, непостижимую суть мира, дающую человеку меру его дел, и смысл – его жизни. Каждая буква Книги омыта кровью тех, кто пошел за нее на муки и смерть. Черным огнем по белому огню дана была она на Синае, и вот уходят поколения и приходят поколения, и для каждого приходящего, в ком есть душа живая, так же горит огонь на фоне огня. Ясны и неизменны повеления: оставить страну рабства и скотских вожделений; отринув любые сомнения, шагнуть в море, которое невозможно перейти; и затем пусть сорок лет, пусть через раскаленную пустыню, но идти в свою Страну Обетованную...

Мир стоит на этой Книге.

Ибо только ею живы те, кто переходит свое море, кто идет по своей пустыне; а мир держится на них, без них он рухнет.

– В юности был я в Александрии, – нарушает, наконец, Симон слабым голосом мертвую вопрошающую тишину. – Там некий премудрый рав, именем Моше бен Абрахам, трудам которого и я, совсем молодой тогда человек, по мере сил споспешествовал, толковал книгу Эйха. Бен Абрахама в числе других *сойферим* убили легионеры Цезаря – они забили его ногами, – а мидраш его сгорел с

библиотекой. Но я переписывал его, я его помню. Он – о чуде дарования Торы и о возможности ее отнятия...

«В книге Брейшит не сказано «голос Господа Бога, ходящего (*мехалех*) по саду», но сказано *митралех*, «проходящего» даже, еще точнее, «уходящего» из сада» – вот какими словами Моше бен Абрахам начал тот мидраш. «Почему так?» – спрашивает он далее. Потому, отвечает он тут же, что *цимцум* продолжается. Предвечный шаг за шагом уходит из мира. Так владыка, завоевав новое царство, уходит, оставляя в нем наместника. Люди – наместники Бога на земле.

В начале Шхина и Сотворенные были в одном мире. Грехом Адама был создан новый нижний мир бытия, – и Ган Эден, Райский сад, бывший дотоле Востоком мира, оказался первым его небом. Поэтому и говорится, что не Адам изгнан из Ган Эдена, а Шхина удалилась на первое небо. Каждый очередной непоправимый людской грех творит новое небо и новую землю, а прежние воспринимаются как утраченный рай. Грех Каина изгнал Шхину на второе небо; строители башни, поколение Потопа, люди Содомы, египтяне изгоняли ее все дальше и дальше. Шхина пребывала «в пепле»: Шохэн, став изгнанником в мире людей, все более и более терял интерес к своему творению, готов был счесть его неудачным и разрушить, как разрушил многие миры до этого, ибо мир, в котором потеряна Тора, не может более существовать.

А что сделал Моше? Он показал, что в этом мире можно не только грешить, но и стремиться к святости, быть праведником. Получив Тору, он свел Шхину на землю, сюда, в нижний мир, и с тех пор мы говорим: «Тора мин ха-Шаммаим»¹. Моше сумел доказать Предвечному, как прежде доказывали это Абрахам, Ицхак, Яаков, что Его творение не безнадежно! То, что евреи пришли к Синаю и приняли Тору, оправдало существование вселенной, сделало историю осмысленной и спасло мир от полной и окончательной гибели, худшей, чем потоп. И с тех пор не ха-Шем хранит мир: главный вопрос с тех пор – найдется

¹ Тора сама по себе Небеса (ивр.).

ли в мире достаточно праведников, чтобы не рухнуло в пучину вечного мрака господне творение!

И с тех же пор мы говорим о Торе: «Не на небе она»¹. Она в этом мире, но это повод не только для радости, но и для страха. Ибо, как и мир, не ха-Шем хранит ее, а мы сами.

Языки отвергли Тору. Всем предлагал Предвечный ее, – но никто не принял, кроме нас. Потомкам Эйсаву не понравилась заповедь «не убивай», ибо жизнь их основана на убийстве. «Будешь жить мечом твоим» – проречено было их предку. Почти все отвергли завет о жене ближнего: как жеребцы, ржут они над женами ближних своих, живут в свальном грехе и ничего не собираются менять. И никто, кроме евреев, не принял запрет представлять божество в зримых формах: как гои докажут, что с ними их бог, если не будут нести золотых орлов перед когортами и легионами? Как они удостоверятся, что их бог сыт и доволен, если не увидят, что жир течет по его губам, вырезанным из дерева и раскрашенным красками?

Нам отныне суждено жить среди идолопоклонников, уже единожды отвергших Писание. Не просто жить: пребывать под их властью. Тору, как и все в этом преходящем мире, можно уничтожить. Легионарии могут сжечь все ее свитки или обратить их в стельки для своих калиг. Киттим² не нужны книги. Они жгут их, где только находят, и нет повода думать, что их что-то остановит... И я спрашиваю: сможем ли мы сберечь ее? Как, каким образом? Не веру, поймите меня, а Тору, сами ее свитки, написанные на легко горящем пергаменте?

Меч и тростинка

– Средство спасения – меч! – восклицает Гавлонит. – Ты солгал, сказав, что никому от семени Авраама не бывать отныне на престолах и тронах? Господь не попустит, чтобы Тора была отнята у мира, и будет с теми, кто спасает ее!

– И если даже все так, как ты говоришь, – подхватывает Цадок, – во что я не верю! – то лучше уж и мне погибнуть

¹ Второзак., 30:12.

² Римляне (ивр.).

завтра же, вместе с моим народом, не дожидаясь твоего «Спасителя»!

– Я с тобой, – сурово говорит Гавлонит, кладя левую руку ему на плечо, правую – на рукоять меча. – И не я один...

– Что пугает тебя? – сухо и холодно спрашивает Цадок, обращаясь к Шимону. – Мощь Рима? Но знаешь ли ты, что случилось 9 Ава? – голос его слово за словом набирает мощь, становится горячим и страстным. – В тот день Народ закончил странствие по пустыне, достиг Земли Обетованной. Молоком и медом текла она, и двое сильных едва могли поднять в ней одну виноградную гроздь. И было сказано Народу: «Дал тебе Господь, Бог твой, эту землю, иди, наследуй ее, не бойся и не страшись!» То есть: ни силы населяющих ее народов не бойся, ни того, что, изгоняя их, можешь поступить несправедливо, не страшись: нет несправедливости в божьем промысле, и землю эту назначил Он тебе. С народов тех мест ушел покров его защиты, как когда-то с грешников Содомы и Гоморры. Сам Господь пошел бы перед поколением пустыни, громя врагов... Как расступилось море при исходе из Мицраима, так сгнули бы и народы Святой Земли.

Но что сделал Народ? Он решил, что это – обычная война, и просил Моше послать разведчиков для отыскания слабых мест в обороне. И они были посланы, и увидели грозные крепости, неприступные башни, увидели великанов из рода Енакова, Амалека и Хеттеев, Иевусеев и Амореетов – и испугались! Кузнечиками в степи показались они себе, кости их затряслись мелкой дрожью! И они решили «уберечь народ от катастрофы», отговорить Моше вступать в Землю Обетованную! И стали говорить, что меч пожрет вступивших в нее.

И склонили сыны Израиля слух к словам лжецов, и подняла вопль община в ту ночь – в ночь 9 Ава. Сказали они: «О, если бы умерли мы в земле Мицраим или в пустыне этой умерли бы! Не лучше ли нам возвратиться? Были мы там рабами, но были живы; здесь же умрем!»

Так Народ извратил пути свои, и было это преступлением в глазах Бога.

Не так ли и ты сейчас хочешь видеть в нас лишь

кузнечиков? Не так ли ныне у тебя дрожат поджилки перед ложной мощью киттим? Ведь ты уже сказал: «Давайте вернемся в Мицраим! Придет «Спаситель» и отведет нас туда!». Но жив Господь! Стоит подняться нам против киттим – и Он Сам поведет нас в бой!

Цадок умолкает, с гневом и недоумением глядя на Шимона.

Шимон морщится, почти досадливо зажмуривается, жестом великой усталости отирает лицо ладонями.

– Бесплодна будет борьба. Не будет отныне среди нас ни царей, ни владык, ни полководцев-победителей, – говорит он. – Только *мудрецы*, только *святые*! Не меч должен быть отныне у нас в руках, но лишь трость для письма. Сказано о Машиахе: не оружием, но жезлом уст Своих поразит Он землю, духом уст Своих убьет нечестивого. Не просто ждать должны мы его, грызя черствую корку, но готовить его приход. Мы должны отыскать *спасительное Слово*, то Слово, которое будет убедительно для всего мира, будет блистать от одного края небосвода до другого! И это уже решено Предвечным: он отправляет нас в галут, чтобы мы *думали* и *искали Слово*.

– Тора – и есть Слово, – ворчит бен Давид. – Чего искать?

– Тора? – поворачивается Шимон к нему. – Да! Я говорю о ней. Но, как ни кощунственно это звучит, она – *еще не то* Слово. Она убедительна и истинна для *нас* – но не для тех, кто ставит над собой идолов. А *это* Слово должно быть убедительным *для всех*. Вовек не прекратятся в мире те, кто желает поклоняться идолам, – и при том они должны принять *это* Слово. Это слово, не Тору! Галут не окончится, Геула¹ не начнется, пока мы найдем Слово, на которое никто в мире не отыщет возражений! И я точно знаю – найдем! Я это видел!

Присутствующие переглядываются.

– Велико было могущество наших пророков! – продолжает Шимон. – Но насколько же больше могущество пророков Мира Грядущего! Мне не удалось достичь времен Геулы, но заглядывал я в неизмеримую даль, близкую к ней, и видел там подлинные чудеса! Исайя воротил тень от солнца назад на десять ступеней лестницы царской; но видел то знамение один Езекия бен Ахаз. Иешуа бин Нун в день, когда предал Господь Аморрея в руки Израилю, воззвал к Господу: «стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим; но сделал бин Нун это один лишь раз. А владыка Мира Грядущего – не знаю, кто, господь не удостоил меня увидеть его, но не Гоэль, нет, до тех времен я так и не добрался, – так вот, он дважды в год походя переводит тень, и весь мир, замерев от восторга и послушания, видит, как переходит она: весной – на десять ступеней вперед, осенью – на десять ступеней назад! Вот что видел я!

Сидящие за столом шумят и ропщут: очень уж неправдоподобно. Шимон, увлеченный рассказом, не обращает на это внимания. Перед его полузакрытыми глазами плывут и стелятся картины, виденные им в его головокружительных путешествиях по вечности.

– И видел я, как на площади, какой не отыщешь и в Уршоломе, так велика она, затылок в затылок, ряд к ряду стоят девушки...

Гавлонит и Цадок иронически переглядываются.

Шимон запинается. Крайне неприличное видение: девушки те были совершенно нагими, вернее, тело их, подобно коже, покрывали – до щиколоток, до запястий, до шеи – тончайшие бело-голубые шелка... Шелка? Пожалуй, что-то более пушистое... Но можно ли об этом сказать здесь, сейчас?..

–...Их многие тысячи, но ряды – сотни рядов! – как натянутые струнки. В руках одних – букеты цветов, у других – большие разноцветные кольца. И вот вся площадь, одним движением, на одном вздохе подымает то одно, то другое... И становится она то клумбой цветочной, то узором из колец... Не одна рука движется, но многие тысячи рук одновременно начинают движение и одновременно его

¹ «Избавление» (ивр.), предсказанное пророками возрождение Иудеи, связанное с деятельностью Гоэля – «Избавителя», «Искупителя», который отождествляется с Мессией, Машиахом.

заканчивают...

Цадок почти брезгливо прерывает его:

– Что общего между Словом и пляской каких-то рабынь?

– Не в танце дело, – словно и не замечает Шимон его тона, – но в согласованности движений миллионной толпы... И с переводом времени... Не могут, не должны люди быть *так* покорны – но они были! Были! Я видел это собственными глазами!.. И потому я уверен: оно есть, оно будет найдено, Слово, убедительное для них.

– Нужно же было так далеко забираться, чтобы понять это, – пренебрежительно говорит Цадок. – Языки – идолопоклонники. Скажи им: «так хочет идол», «так велит Справедливость» или что-то в этом роде – и они сделают все...

– Но они должны делать не *все*, а то, что нужно! – иронически замечает Шимон. – И *кто* это скажет? По какому праву? От имени идола? И если да, то чем он докажет, что идол хочет *именно этого*? А? Э-э-э! Так-то, дружок. Обрезание...

<...>¹

...идолов. В этом-то все и дело! В этом-то и вся история! Вся будущая наша история. Не в смене династий, не в войнах, не в победах одних кровопийц над другими людоедами; не в создании новых мотыг и каруц, зданий и дорог; не в смене причесок и платьев, модных песенок и напитков – а в *этом*. Именно в этом. А начинается она прямо сейчас.

– Сейчас?

– Разве ты не знаешь, – усмехается Шимон, – что сегодня лучший из дней, сегодня – первый день всей оставшейся жизни? Наш галут неизбежен. Вопрос в ином. Многие миры из прежде сотворенных доживали до этой минуты, но были разрушены, ибо люди в них не смогли сохранить дарованную им Тору. Господь знает, как трудно нам, Он учел ошибки бывших до нас – и потому *на этот*

¹ Здесь в оригинале большой невозстановимый пропуск. Нумерация страниц не прерывается, но в результате чьего-то недосмотра (машинистки?) на семи страницах подряд вместо текста античного автора идет текст немецкого перевода статьи В.И.Ленина «Партийная организация и партийная литература».

раз пошлет нам того, кто спасет Тору... И то, что скажет Спаситель, будет *первым Словом* в нашем долгом – о, *слишком* долгом! – диалоге с языками.

– И что же это будет за слово? – пренебрежительно спрашивает Цадок. – В чем его, так сказать, спасительная суть?

– Тора подобна воде: та течет сверху вниз, – и Тора спускается с высот славы в дольний мир, где скверна и нечистота. Моше свел Тору с небес на землю; Спаситель сведет ее *еще ниже*. Словом своим Он *отдаст* ее *язычникам* и тем положит начало новой истории мира.

И вновь, в который уже раз, за столом воцаряется цепенящее молчание.

– Давать Тору языкам – все равно, что метать жемчуг перед свиньями, – негодует, наконец, Цадок. – Но это, к несчастью, *уже сделано*, почти триста лет назад, так что твой «спаситель», выходит, явится зря! Или ты забыл, почему 10 тевета – траур? Потому что в этот день была завершена Септуагинта¹, и на три дня спустился на мир мрак.

– Не понимаю, – удивляется бен Давид. – Почему нельзя переводить? Разве при даровании Торы слово Божие не гремело над Синаем *на всех* семидесяти двух языках и наречиях? И разве не по велению Всевышнего Моисей, входя в землю Израиля, написал Закон на алтаре *на всех языках*?

– Переведенная Тора, – оборачивается Цадок к бен Давиду, – это... это... как пойманный в клетку лев. Разве внушает он трепет и почтение? Разве придет кому в голову бояться его, скрытого за стальными прутьями? На него можно глазеть, щелкая орешки, на него можно плюнуть, в него можно тыкать палкой. Разве может перевод – любой перевод – по святости сравниться с Торой? Не зная языка, не догадываясь о многозначности текста, о традиционных комментариях, невежды берутся ее толковать... Грекам

¹ Перевод Торы на греческий язык ок. 270 г. до н.э. по указу египетского властителя Птолемея Филадельфа.

досталась не Книга Книг, а пустой сосуд, в котором она была...

– Ну и что? – холодно спрашивает Шимон. – Почему тебя беспокоят проблемы *невежд*? Не забывай: завтра в клетку будет заперта не Тора, а *мы*, на *нас* будут глазеть, щелкая орешки, в *нас* будут плевать и тыкать палкой.

Сокрытие

– Ты говоришь – Спаситель явится зря, – продолжает он. – Но «перевести» – не значит «отдать». Сжечь можно и переведенные свитки. Языки должны принять Тору как *свою священную книгу*! И это сделает Спаситель. *Сокрытая в коконе* из тончайших словесных кружев, комментариев и толкований, мистерий и обрядов достанется она им! Именно *они* понравятся язычникам. Так гусеница, чтоб пережить лютую зиму, плетет плотный и теплый кокон, – и весной из него вылетает пестрая бабочка. *Эту Тору можно будет* нести перед легионами! Эйсав останется убийцей и будет с благоговением читать *эту Тору* и припадать к ней, возвратившись после очередного убийства. *Эту Тору можно будет* положить перед идолом, вырезанным из дерева, даже когда он будет, ухищрениями жрецов, надуваться, пыжиться, брызгать слюной и потеть кровавым потом в знак гнева...

– Как тебе не стыдно, – не сдерживается Иоаким, и даже бен Давид согласно кивает.

– Мне не стыдно, – возражает Шимон, хоть щеки его горят. – Мне страшно. До того страшно, что язык мой прилипает к гортани. Но я говорю о том, чему неминуемо должно быть! И не первый я, и не единственный, кто говорит об этом. Иезекиилю было видение, в котором писанные красками идола висели по стенам Храма. «И вот, семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них; и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху...» Разве не Тору читали они при этом?

– Иными словами, *эту Тору* возложат на свои алтари

понтифики Рима? Об этом ты гредишь?

– Если Рим будет считать Тору *своей* книгой, у нас останется шанс выжить, – потупляется Шимон.

– То есть, ты считаешь Тору *средством* спасения жизни? – приподнимает брови Цадок. – Но она – цель! Она – источник жизни, – но, помни, лишь для тех, кто принимает ее *лишма*, ради нее самой. Тому, кто пытается использовать ее для чего-то иного, она ломает шею! Берегись!

– С нею самой ничего не станется – так Иордан течет по дну Ям ха-Мэлах, не смешиваясь с его горько-солеными водами, чтобы безупречно чистым впасть в Океан, – бормочет Шимон. – Но она и для меня остается целью. Разве не сказано мудрецами: «Построй вокруг Торы ограду»? А Даниэль говорит еще яснее: «Загради слова и запечатай Книгу до должного времени»? Загради и запечатай! И далее: «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют»¹...

– *«Не так* надо понимать слова «Построй вокруг Торы ограду»», – хочет возразить Цадок, но Гавлонит опережает его.

– Сотни и сотни мидрашей написаны на Тору, – говорит он с тихой ненавистью, – и ни один из них не *скрывает* ее смысла, – все проясняют его. Что ж за мидраш такой таинственный напишет твой «Спаситель»?

– Но как вообще возможно скрыть смысл Торы? – с отвращением, через силу выцеживает Цадок. – Как можно заградить и запечатать ясно написанные слова?

– Как скрыть? Через полное раскрытие! Явить истину как есть: простой, очевидной, обнаженной от любых покровов!

– Жизнь – тайна, – возмущен Цадок, – и Тора, которой она во всем соответствует, – тоже тайна, загадка, иносказание!

– Да, тайна, – усталым, бесцветным, безнадежным голосом бормочет Шимон, словно повторяя тысячу раз уже

¹ Даниил, XII: 9-10.

сказанное. – Да, иносказание. Да, в ней есть непостижимые глубины. Мы всю жизнь тратим на их исследование, и перед смертью убеждаемся, что моря не вычерпать ложкой. Все это верно. *Для нас*. А ведь есть еще те, кто хочет знать истину, но не может найти сил и времени на ее поиски, те, кому Тора – бремя тяжкое и неудобноносимое? Помнишь ли ты о них? Помнишь ли, что все, что мы делаем, мы делаем *для них*?

– Ну, – недоумевают Гавлонит. Шимон щурится:

– Любая загадка, даже самая сложная, обязательно имеет простое, удобное и легкое для понимания решение...

– И блажен, кто не соблазнится о нем, – иронически замечает Цадок. Шимон взглядывает на него, как на источник бессмысленного шума.

–...Так Искандер разрубил мечом слишком сложный узел в Гордии. Да! У простецов – короткие мысли. Им нужны простые решения, простые слова, притчи и примеры... Вот он и даст им эти притчи. Упростит Закон – специально для них.

От изумления и неожиданности Гавлонит сжимает кулаки, рот его изумленно приоткрывается.

– Тайна – в *сцеплении* мыслей, в котором они пребывают в Торе, – возмущен Цадок. – Любая мысль, если взять ее отдельно, страшно понижается, если не теряет смысл вообще!

– Нет лжи в Торе! Ни в едином слове, даже самом простом! Думаешь – истина сложна? Думаешь, простое и очевидное – неистинно?..

Цадок молчит, но слово, не произносимое им, легко прочитать в выражении его лица: «Демагог!»

– Видишь то, что хочешь видеть, понимаешь так, как удобно тебе понимать, – Шимон поворачивается к нему и, противно логике, шепчет доверительно, как единомышленнику, как заговорщику-соучастнику. – Исайя говорит: «закрыв глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели...» Иеремия вторит: «народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит».

– Слеп – ты! Не киттим ли ослепили тебя, как царь Вавилонский – Седекию, уводя его в плен?!

– Вот мы мучимся, – продолжает Шимон, словно и не заметив его слов, – решаем, когда можно ответить насилием. Если враг идет с мечом – все очевидно. А если Гордус снижает таможенные пошлины для киттим, а для нас оставляет прежними – это что? Это разорившиеся караванщики, это умирающие от голода женщины и дети! Но он не обнажал меча! Можем ли обнажить меч мы? Мы мучимся, – а Он придет и скажет: «Да вообще никогда! Не отвечай на насилие насилием! Не противься злему...» Вот – простота! Вот – истина!

Собрание взорвалось возмущенными репликами:

– Разумеется, можем!

– Как это «не противься»?

– Да ты в своем уме?

– Он – и ты вместе с ним – вы обрекаете народ на смерть!

– А Бог? – оттирает лицо Шимон жестом великой усталости. – А Бог? А предвечная справедливость? «Не убий!» Нам *действительно* нельзя более отвечать насилием на насилие. *Думать, думать* должны мы, *предвидеть* любые насилия и *предотвращать* их до того, как дело доходит до мечей...

<...>¹

–...Римляне будут относиться к Торе как полный сил и веселья внук относится к старой бабушке, которая, выпив стаканчик-другой, беззубым ртом шамкает о давних счастливых временах. Для них Тора будет горькой и несъедобной, но неизбежной косточкой в ароматной вишенке новых текстов, антологией, в которой можно найти древние подтверждения того, что они будут считать истинами.

– Вишенке, значит? – яростно сверкает глазами Гавлонит. – Переписать, значит, Тору так, как это нравится *им*?

Шимон оборачивается к Гавлониту и на непримиримый блеск его глаз отвечает таким же гневным взглядом:

– А хоть бы и так! А хоть бы Он и пообещал языкам все, чего те сами хотят и требуют от Всемогущего!

¹ Большой невозстановимый пропуск в оригинале.

– А знаешь ли, чего они хотят?
– Знаю! Воскресение во плоти по чину Осириса – каждому! Независимо от дел! Личное бессмертие – каждому! Независимо от того, есть ли в нем душа живая. Вечное блаженство на полях Иалу – каждому, и пусть никто не уйдет обделенным!..

Гавлонит морщится, как от фальшивой ноты:

– Но как *это* можно сочетать с Торой? Ведь именно *это* говорили жрецы в Мицраиме! От *этого* Моше увел Народ!..

– А что значит «воскресение во плоти»? – внезапно вступает в разговор Иоаким, давно уже молчавший. – Это как воз переправляют через трясину, – он показал на полу пастушеским посохом, как именно его переправляют, – а он завяз. И вот бьются они, бьются – и вытащили. Но на эту же сторону. А не на ту. И вновь его надо тащить через трясину...

И Иоаким хрипло хохочет.

– Ничего не слишком много, чтобы спасти Тору! – почти выкрикивает Шимон, дождавшись, когда Иоаким закончит.

– Должно прийти соблазнам в мир, но горе тому, чрез кого они приходят! – с угрозой говорит Цадок.

– Потому-то Он и Спаситель, что никто из вас не осмелится на это! – восклицает Шимон. – А Он ради спасения Торы и Народа не остановится и перед тем, чтобы погубить свою душу! И тем спасет ее! И спасет всех нас!

– Вот теперь я тебя понял. По-о-онял!..

– Еще одно, – перебивает его Цадок. – Как узнбют твоего Спасителя? По паучьему кокону за спиной? Или, наоборот, его *сначала* пожалуют в Спасители, а уж потом он станет делать из Торы вишенку?

– Всем известно, что встреча с единорогом предвещает счастье, – Шимон не язвителен, он печален. – Но как выглядит единорог? Как описать его? Его никто не видел. Это не конь и не бык, это не осел и не олень. И потому, лицом к лицу столкнувшись с единорогом, мы можем не узнать его...

– К чему ты нам эти байки...

Движением руки Шимон останавливает Гавлонита:

– А к тому, что и сами себя мы не знаем. Кто ты? Зачем ты явился на свет? Каково твое истинное имя, непреходящее Имя в вечном свитке?.. Никто не знает. Никто не ответит.

– Но...

– По делам его узнают его. Он сделает то, что должен сделать, – слова Шимона тихи и сдержанны, и обращается он не к Гавлониту, а куда-то в пространство. – То, что предсказано о нем. То, что повелит ему сделать Господь. Ибо сказал ха-Шем в книге Дварим: «...Я *сокрытием* сокрою лицо Мое в тот день»¹. Почему ха-Шем дважды повторяет одно слово? Как может сокрыть себя Тот, Кого не вмещают и небеса небес? И зачем скрывать себя тому, кто и так сокрыт? Ведь мир – не более чем мираж в пустыне, призрак, назначенный, чтобы скрыть Его от тех, кто не желает видеть. Значит, речь идет о каком-то *ином* сокрытии. Каком же? Да вот именно таком, что *само сокрытие будет сокрыто!*

Он вкладывает в эти слова всю силу убеждения и замолкает, оглядывая застолье. Все молчат: бен Давид – почти доброжелательно, Иоаким – с недоумением, Гавлонит и Цадок – с презрением, даже гадливостью, но на всех лицах – любопытство.

– Сокрыть сокрытие, – фыркает, наконец, Гавлонит. – Осветить свет... Затемнить темноту... Изнасиловать бесчестье... Не вкладывай в слова Писания смысла, которого в них нет!.. Сказано просто: *полностью* сокрою.

– Никогда Предвечный не будет сокрыт *полностью* от знающих Его, – отмахивается Шимон, и продолжает, по-прежнему не обращая внимания на Гавлонита. – Мы говорим: «Тора ве ха-Кадош Барух-гу коль эхад»¹. Почему вы забыли об этом? Не ясно ли, что сокрыть смысл Торы – это и значит сокрыть Предвечного? А сокрыть Его *сокрытием* – значит сокрыть так, чтобы *показалось*, что он *явлен*...

¹ Второзак., 31:18. В русском синодальном переводе – неточно: «полностью сокрою». Еврейское *хестер астир* (однокоренные слова) имеет смысл двойного, повторного сокрытия.

¹ Тора и Святой, Благословен он – одно и то же (ивр.).

...Я видел ослепительный, сияющий город, и город этот назывался Тора. Я стоял у его врат. Город был у меня за спиной, но я слышал шелест его листвы, журчание его фонтанов, рассыпчатый женский смех на его улицах, отдающийся каждым своим звуком во всем теле... А передо мной в поле, под стынущим полотнищем заката двигались отряды конников: реяли пестрые значки на пиках, горели костры, ржали лошади, доносились гортанные выкрики команд. Они хотели сокрушить город, и я знал, что они сделают это – чуть раньше или чуть позже. Я стоял перед вратами, обратясь лицом в поле, и в полном отчаянии взывал к Предвечному, чтобы явил он чудо и спас свою Тору, свой народ и весь мир – ибо мир, в котором утрачена Тора, существовать не может.

И тогда рядом появился сын человеческий (бен адам).

Конники с флажками на пиках были уже у ворот, и старший среди них, не сходя с коня, сделал жест нам – мне и ему: «уйдите от ворот, и вам ничего не будет». И, каюсь, закрыл я свою плешь руками, опасаясь удара плети, и отошел в сторонку, понимая, что отныне и во веки веков придется мне посыпать голову пеплом.

А сын человеческий что-то крикнул вождю всадников – и тот понял его и захохотал, упершись руками в бока и раскачиваясь в седле. Странно, но я тоже понял Его слово, хоть и говорил он со всадниками на их гортанном языке. Он сказал им: «Никто из вас не войдет в эти ворота, пока я жив! И всякий, входящий в сей святой город, войдет в него только через мой труп!...»

– Ты много берешь на себя! – воскликнул конник. – Слишком много! Но я сегодня добрый, я согласен – врата эти предназначены именно для тебя. И железо создано, чтобы было из чего сковать тебе гвозди. И тернии росли, чтобы из них свить тебе венец!

И он взмахнул плетью, подавая воинам знак.

Несколько всадников спешили и бросились к сыну человеческому... Я отвернулся, не в силах смотреть туда, где раздавался страшный стук железных гвоздей, сквозь живую плоть вбиваемых в дубовые доски. Но ни одного

стона не вырвалось из Его уст! А когда все утихло, и я вновь обратил глаза к воротам – он висел на них, еще живой, но такой бледный, словно в нем не осталось ни единой кровинки.

А всадники... Не с гиканьем ворвались они в святой город, паля все вокруг факелами и коля копьями, а сошли с коней и вели их в поводу, стесняясь своего оружия и с робостью оглядываясь на сына человеческого, столь страшным образом вознесенного над ними. И последний из них, обернувшись ко мне и указывая пальцем на него, косноязычно сказал:

– Велик Бог, чей это сын!

Вслед за всадниками и я подошел к нему. Он разлепил совершенно белые губы и прошептал:

– Шма, Исроэл...

И уронил голову на грудь. И знал я точно, как знал и он, что хоть святой город и пал, ибо не было у него возможности спастись, и что не избежать ему ни грабежей, ни пожаров, – но не взлетит он легким дымом к небу, но, как и прежде, будут выситя его стены и скрипеть по утрам ворота, пропуская караваны из дальних стран, потных и запыленных путников...

Некоторое время все молчат, одобрительно кивая главами: пафос рассказа увлек их.

– »Бог *того*, чей это сын» – или он его назвал *сыном Бога*? – недоуменно спрашивает Иоаким. Никто ему не отвечает.

– Это тебе такие сны снятся? – в голосе Гавлонита ирония, если не насмешка.

– Все это, может быть, и красиво выдуманно, – начинает Цадок, – но неубедительно. Не хочешь ли ты сказать, что *диким кочевникам, язычникам по природе своей, показалось*, что в образе твоего сына человеческого явлен сам Предвечный?..

– Ты говоришь, – уклоняется от прямого ответа Симон. – А я сказал, что сказал.

– Но если так, то какое отношение эта вздорная мысль *диких кочевников* может иметь к нам? – взвизгивается Цадок.

– Не хочешь ли ты сказать, что и нас, евреев, кто-то вздумает *переворачивать* в новую веру – веру дубовых ворот и человека, на них распятого?

Несмотря на патетичность момента, слово «*переворачивать*» производит впечатление: Иоаким даже хихикает, прикрыв рот рукой.

– И не начал ли ты уже, вот этим самым рассказом, плести тот *кокон*, в который будет запрятана Тора от язычников? – заглушая шум, возвышает голос Гавлонит.

– Если и так – я только счастлив! – с достоинством возражает Шимон. – За честь почту право сплести такой кокон. Но никто не сможет этого сделать! Никто! Кроме самого бен Йосефа и тех, кто будет с ним. «Переворачивать»? – обращается он к Цадоку. – Но так и было проречено Ионе: «Ниневия будет *перевернута*». Тот понял – «опрокинута, уничтожена», и пророчествовал об этом. Но перевернулись не дома, а сердца жителей ее, и она, где жители не умели отличить правой руки от левой, оказалась *спасена!* И еще добавлю: в том, кто явился мне во сне, ни на кезайт¹ не было гордыни, которой тешишь себя ты. Тот, кто имеет прийти, преподает всем нам урок беспредельного, *нечеловеческого смирения*, ибо *так* надлежит нам сойти в глубины мирового зла... Говорю же: он потребует не противиться злему, запретит отвечать насилием на насилие...

– О смирении имеем и прямые указания, – замечает бен Давид. – «...Пусть подставит он щеку бьющему его, пусть насытится позором...», – говорит Иеремия...

– И Исая говорит: «Он *изъязвлен* был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего на Нем, и ранами Его мы исцелились...»³, – поддакивает Иоаким.

– Мы понимаем *мехолаль* как «*изъязвлен*», – продолжает бен Давид, – но у слова этого есть и иной смысл: «*пронзен*»...

Цадок возмущенно встает:

¹ Максимальный размер кусочка пищи (маслина), съев который, человек не нарушает поста.

Плач Иеремии, III: 26.

³ Исая, L: 6.

– Или «*осквернен, обещен*» – такой смысл тоже возможен!

Гавлонит некоторое время с нарастающим недоумением вслушивается в шум, а затем восклицает:

– Вы все здесь не о том говорите! Совершенно не о том! И даже не понимаете этого. Мне здесь больше нечего делать.

В голосе его звучит плохо скрытая, почти детская обида. Ссутулясь, направляется он к выходу, Цадок – за ним. Все молча глядят им вслед, но никто их не останавливает...

– *Аль тэрэд Мицрайма, Йосеф!*¹ – кричит Гавлонит уже от дверей. А потом мягкая воздушная волна и легкий звук дают знать, что двери за ними захлопнулись.

Праздник Таммуза

И привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу, и вот, там сидят женщины, плачущие по Фаммузе.

Иезекииль, 8:14

Бен Давид выходит почти сразу же за ними – он вовсе не желает ссориться с Гавлонитом. Да, собственно, ему и надо идти с ними, чтобы к завтрашнему праздничному утру попасть в Ур-шолом. Путь хорошо известен всем «своим»: около полуфарсанга вниз вдоль русла Кедрона, потом – крутейший подъем по извилистой козьей тропке наверх, на пустынное плато, а там рукой подать до караванной тропы, где за ночь пройдет два-три каравана, в любом из которых за несколько сиклей можно найти свободного верблюда или мула.

Путь идет по речной долине с редкими терпентинными деревьями и подлеском – густейшими зарослями азалии и мирта. Между кустами вьются столь узкие тропинки, что *хахамам* приходится посохами и руками защищать лицо от ударов остро и возбуждающе пахнущих веток, на которых зеленеют не успевшие покрыться пылью листики и цветочные почки приоткрывают свое нежное бело-розовое

¹ Не спускайся в Египет, Иосиф! (ивр.).

наполнение. В эту глушь никто не заходит весь год, она считается священной рощей Ашторет, Малкат ха-Шамаим¹.

Но уже на полпути тропинки становятся шире, появляется множество сломанных и брошенных наземь веточек, а там – и целиком сломанных кустов, смятых так, словно стадо быков металось по ним. Вскоре в отдалении показываются мерцающие огни, слышится однообразный гул голосов.

– Кто это? И что они делают – спрашивает бен Давид.

– Это *ам ха-арец*¹, – с легкой брезгливостью отвечает Гавлонит. – Разыгрывают мистерию воскресения Адони, своего Господина...

– Гм! Не потому ли Симон подгадывал совещание к сегодняшнему дню, чтобы мы увидели ее?.. – спрашивает Цадок. – Я догадывался...

– А мне он прямо сказал это, – замечает Ицхак бен Давид.

...Вовсю светит полная луна – завтра пятнадцатое нисана. Ярко горят факелы, мерцают сизоватые угли в мангалах, на которых жарится мясо. Жуя пирожки, прикладываясь к мехам и кувшинам, пересмеиваясь, народ теснится у небольшой пещеры, скрытой в кустах у известкового обрыва. Здесь должно произойти главное событие праздника – чудо воскресения.

– Три дня назад эти же женщины здесь рыдали в голос, – замечает бен Давид. – Давайте посмотрим?

– Некогда, некогда, – бормочет Цадок. Однако и он невольно замедляет шаг – слишком густа толпа.

– Почему рыдали женщины? – интересуется Гавлонит.

– Они укладывали в пещерку гроб, – охотно поясняет бен Давид. – Но в гробу лежал не человек, а резная деревянная кукла. Они называют ее Думму, «ребенок», или Думузи, «сын истинный». Черные кудри, на теле – только набедренная повязка, на левом боку – страшная кровоточащая рана...

– А! – сообщает Цадок. – От кабаньего клыка... Его же кабан растерзал... Этим обрядам – сотни и сотни лет...

¹ Астарта, Царица небесная (ивр.).

¹ «Народ земли» (ивр.), простонародье, не исповедующее иудаизма.

– Если не тысячи...

– Но почему они жуют? Положено ведь поститься, пока тот не воскреснет?

– Может ли ам-гаарец находиться рядом с бурдюком и не приложиться к нему, – сплевывает Гавлонит. – Праздник для них наступил уже когда они направились сюда. Впрочем, вон и постятся, – указывает он на группу мужчин и женщин, которые лишь поглядывают горящими глазами на свои корзинки и меха, но не трогают их.

Между тем настает время главных событий праздника. Вот несколько женщин, по последнему разу приложившись к мокрому меху, от которого несет кислятиной, и вытерев засаленные пирожками губы, начинают пробираться к пещере, расталкивая становящуюся все более плотной толпу.

– О, мой Думузи, как долго ты здесь лежишь! – отчаянно вопит одна из них, добравшись до цели.

– О, утраченное блаженство! Сколь сладок был ты взорам моим и плоти моей! – подхватывает другая.

Они вопят то поочередно, то хором, в сложной, но угадываемой последовательности. В толпе намечается движение, к пещере пробираются новые и новые группы женщин. Подходя к пещере, они начинают громко и иступленно плакать, бить себя в грудь, расцарапывать ногтями щеки и руки – похоже, что налетела стая комаров, и они расчесывают укусы...

– О, погибшая юность!

– О, несравненная красота!..

Вспомнили свои обязанности и музыканты: к женским воплям и причитаниям добавляются душераздирающие вскрики флейт и рокот барабанов.

Пещера завалена камнем. Она локтя на два приподнята над толпой на скальном уступе, ее окружают вцепившиеся корнями в камень горные дубы, еще безлиственные ветви которых выбелены луной. Это естественное возвышение называется «скене», или «скиния», и на нем, близ самой пещеры, молча стоят старец в белых сверкающих одеждах и девочка, обряженная в такое пышное белое платье, что кажется цветущим деревцем.

Светит полная луна, пылает множество факелов, и в

этом свете отчетливо видно очень красивое и печальное лицо девочки. Каждый год жрецы отбирают самую очаровательную девочку из сотен претенденток, чтобы она сыграла эту священную роль, и многие родители, как исстари заведено, несут им дары, чтобы склонить в свою пользу почетный выбор...

Вот старец счел, что луна достигла зенита, взмахнул рукой, – и разом оборвалось пенье флейт, замолкли испуганные вскрики женщин. Все стихло так внезапно, что у многих замерло... а потом снова забило сердце. Что-то странное, даже противоестественное в этой толпе, скованной единым оцепенением... Никто не смеет переступить с ноги на ногу, кашлянуть, чихнуть...

Между тем девочка у пещеры касается пальчиками камня, неплотно закрывающего отверстие пещеры.

– Я принесла бальзамы и благовония, чтобы умастить Драгоценного, – говорит она старцу, и с пальцев ее капает мирра. – Помоги мне отвалить этот камень!

Она говорит грустно и тихо, но все прекрасно слышат ее, ибо стоит такая тишина, что слышно, как растет трава, как в груди у соседа бьется сердце.

Старец в сверкающих белых одеждах тоже касается рукой камня.

– Ты не сможешь умастить его, – говорит он. – Его нет здесь! Он ушел отсюда. Он воскрес!

И тогда печальное лицо девочки озаряется улыбкой и над стихшей толпой восторженно и мелодично звенит чистый девичий голосок:

– Таммуз воскрес! Он вышел из тени смертной! Не оставлена душа его в геенне, и не дано увидеть тления Сыну!

Мужчины из толпы карабкаются на сцене и бросаются к могиле. Они отваливают камень, выволакивают из пещеры деревянный гроб, окованный медными клепаными полосами, сбивают их, открывают гроб. Он действительно пуст. В нем никого нет. И мужчины восторженно восклицают вслед за вестницей радости и вместе с ней: «Таммуз воскрес!», целуют ее и друг друга, целуют оказавшихся поблизости женщин, мнут на девочке платье, передавая ее из рук в руки над головами толпы... Каждый в

толпе считает своим долгом вновь и вновь радостно воскликнуть «Таммуз воскрес!», словно делясь с ближним радостной вестью, и обменяться с ним (или с ней) поцелуем...

– И вот те, кому Шимон собирается верить Тору, – почти озлобленно бормочет Гавлонит. – Что же, он думает, что в таких вот обрядах будут укрыты ее истины? Или в тех байках, что он рассказывает?

Покряхтывая от недоумения и стыда, хахамы пробираются сквозь ликующую толпу и уходят, верша свой многотрудный путь к караванному пути...

Глава 7. ЕДИНСТВЕННОЕ ЛЕТО

Туда, где облака у вишен учатся
Вести к священным алтарям невест...

Нина Радмилова

...Четверо высоких и сильных мужчин держат за углы большое бело-синее покрывало. Тиберий стоит под ним.

Не просто было ему доказать сотоварищам необходимость этого поступка: Луцилий Лонг не желал его понимать, Вескуларий Флакк наотрез отказался присутствовать при этой «непристойности»...

– Она же *еврейка!* Вот и пусть раскачивается над своими пергаменами, пахнущими горелым воском. Мне что за дело? Лакедемоняне показывали своим детям пьяных рабов, дабы отвратить их от пьянства; если я захочу отвратить своего сына от бога, я покажу ему верующего еврея...

– Да пойми же ты, эта девушка не может, не должна выйти замуж как-то иначе...

– Как она выйдет замуж – это ее забота, – возмутился Лонг. – А римский гражданин может взять девушку в жены единственным образом – по обычаям предков...

В конце концов они все же согласились присутствовать на свадьбе:

– Это – чужие ритуалы, и они тебя ни к чему не обязывают. Мало ли какие могут быть у человека капризы и затеи...

И вот Тиберий стоит под свадебным балдахином. К нему приближаются две девушки, а между ними – облачко шелковой вуали, сверкающее серебряным и жемчужным шитьем. Это Мара, а девушки – ее знакомые из портового поселка, Валла и Зелфа. Тиберий ждет. Семь раз обводят невесту вокруг него, и лишь тогда он откидывает вуаль с ее лица и видит смеющиеся глаза. Она подмигивает ему.

Седобородый старец третьим вступает под балдахин, держа в руках большую чашу виноградного вина, быстро и

невнятно бормочет что-то сначала над ней, а потом – с улыбкой обращаясь к окружающим, и все отвечают ему «Амен!» «Надо потом спросить, почему они призывают египетское божество», – невпопад думает Тиберий.

– Я – как пророк Билеам бен Беор, – с усмешкой сказал старец. – Надлежало бы клясть, а я благословляю...

Он протягивает чашу Тиберию, а когда тот делает из нее глоток, передает ее Маре. И она тоже пьет, нежно улыбаясь и глядя Тиберию в глаза.

Затем Тиберий надевает золотое кольцо с драгоценным лиловым аметистом – имперский цвет! – на палец ее правой руки. Сначала Тиберий хотел, чтобы старец шепотом подсказывал ему нужные слова на ухо, но потом раздумал – нехорошо, что их будет произносить кто-то другой. Он выучил нужные слова. Фраза оказалась на удивление короткой:

– *Харей ат мекудешет... ли бе-табаат... зо кедат Моше... ве-Израэль...*¹

И все собравшиеся радостно подтверждают:

– Мекудешет!

Старец протягивает ему бумагу, составленную на двух языках. Тиберий заранее знает ее текст:

«В день третий недели и восьмой до апрельских календ, года от Сотворения мира 3755, от основания же Рима 749, в год правления Августа 42-й, а после победы при мысе Акции 29-й, при консулах Лентуле и Писоне, в граде Камиросе, на острове Родос, господин Тиберий бен Нерон из фамилии Клавдиев, усыновленный Юлиями, сказал этой девушке по имени Мара бат Иоаким из мишпахи Иессея, отца Давида ха-Мелеха:...»

– Видишь – я царского рода, – показала ему это место Мара тоненьким пальчиком. – Мелех – значит царь!

«...»Будь мне женой по закону Моисея и Израиля. Я буду служить тебе, чтить тебя и заботиться о тебе, и содержать тебя и наших детей, выдавая потребные суммы имеющего хождение серебра по обычаю мужей иудейских, чтобы жить нам семьей, как это принято повсеместно».

¹ Ты посвящена мне этим кольцом по закону Моисея и Израиля (ивр.).
25 марта.

И девушка Мара согласилась стать его женой.

И всё это верно, ясно и подлинно. И я отвечаю за написанное в этой ктубе, так что этот документ есть подлинный и обязывающий, и подписываюсь в этом».

Он берет непривычное ему гусиное перо из рук старца, ставит на пергаменте подпись, потом подписывается старец и кто-то еще...

Когда Мара убрала ктубу в шкатулку, старец поднес сложенные пальцы правой руки ко лбу, груди, правому, а затем левому плечу, на каждое движение приговаривая:

– Tibi sunt... Malchut... et Geburah... et Chassed... per Aeonas¹...

– Что он сказал? Вроде и по-латыни, но я ничего не понял...

– Малхут – значит Царство, а Гвур и Хесед – справедливость и милосердие, правая и левая колонны, на которых оно держится. Видишь, он делает рукой у каждого плеча вот так, чуть сверху вниз, словно отмечая эти колонны... Я тебе после расскажу...

Действительно, рассказать что-либо можно было только *после*. Кажется, вокруг хупы Тиберия и Мары собрался весь Родос: лужайка устлана коврами, на них громоздятся амфоры вин, горы лепешек, зелени и овощей. В сторонке от ковров дымят костры и мангалы, где барашков поджаривают целиком, а волов – разрубив на четыре части...

– Сбежим от них? – шепчет Мара.

– И ты меня не хочешь показать, как диковинного зверя, заарканенного тобой, никому из своих знакомых? – усмехается Тиберий.

– Они и так увидят, – возражает Мара. – Не последний день живем...

Тиберий кивком подзывает Лонга, а тот – одного из фацистов, тащившего большой кожаный кошель серебра. Тиберий запускает руку в кошель и швыряет сестерции ввысь, над толпой: раз, другой и третий. Толпа каждый раз отвечает радостным ревом.

¹ Да пребудет царствие Твое, и справедливость, и милосердие во веки веков (смесь лат. и ивр.)

– Раздай остальное, – говорит он Лонгу и с улыбкой поворачивается к Маре...

До того события, к которому Мара шла всю сознательную жизнь, шла легко и радостно и шла через «не хочу», шла с отчаянием обреченной и с восторгом избранной, – до этого события остается всего несколько шагов...

– *Tota pulchra est, amica mea, et macula non est in te*¹, – бормочет Тиберий стих из иудейских мистерий.

Мара улыбается ему, хватая его за руку, и они уходят с поляны в сторону виллы. Немало голов поворачивается им вслед, но никто не смеет следовать за ними...

Тиберий открывает глаза. Он возлежит на шкурах барса на роскошном резном ложе, инкрустированном бронзой и слоновой костью – львы, драконы, фениксы. С некоторым раздражением сбрасывает он с ног, обожженных солнцем, покрывало тончайшего виссона, по которому – знак сенаторского достоинства – тянутся пурпурные полосы. С моря веет прохладой, но в ней уже предчувствуется дневной зной.

– А ведь только декада, как минули Эквиррии²! – буркнул он. – Что же будет в каникулы?

Мара поднялась давно. В короткой полупрозрачной эксомиде, соскользнувшей с правого плеча, без мастодетона, стоит она у балюстрады, над морем, откуда доносятся равномерные вздохи прибоя и резкий свежий запах гниющих водорослей. Он залюбовался ее точеной фигуркой на фоне небесной лазури.

– Что ты там *такого* увидела?

Голос Тиберия, который в нужные минуты, бывало, покрывал шум любого сражения, сейчас воркует на бархатных низах, вибрирует, негромкий и ласковый.

– Мара! Что может быть интереснее *меня*?

Тиберий с любопытством заглядывает в ее огромные,

¹ Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе (лат.; Ср. Песн., IV: 7).

² Военный праздник в честь Марса, около 14 марта.

широко расставленные, изумрудные, удивительно чистые глаза. Поразительное лицо: безмерный покой, ни одна черточка, кажется, не шелохнется, но выражение глаз беспрестанно меняется, а от этого меняется все... Порой оно кажется столь совершенным, что двинься лишь одна черточка, и покоряющий сердце обворожительный морок исчезнет; но вот хмурится она, вот задумывается, вот улыбается, – а прелесть ее лица остается прежней и даже возрастает.

«Греки называют это теоноя – «божественное разумение», – в очередной раз думает Тиберий, – но значит ли это, что в ней и в самом деле живет божество?» Ведь в каждом достойном человеке

...обитает один – но не ведаем кто – из бессмертных¹.

– Почему б нам не поесть на природе? – говорит Мара. – Эти стены давят! Вон там бы!

Она указывает пальцем на тот самый взлобок, где проходили ауспиции – он прекрасно просматривается с виллы.

Тиберий подзывает Лонга, распоряжается... Ему очень не хочется снова оказаться там, но... Впрочем, оттуда открывается исключительный вид на море...

– И не нужно шатра! Только ковер, – замечает Мара.

...Отправились они туда верхом, но только на следующий день. Оказывается, кроме того короткого, но слишком уж крутого пути, который вел на взлобок прямо от виллы, был и другой, окружной, шедший через дубовый лесок, по которому можно было проехать и на лошади, и на каруце.

– Для этого нужно расширить тропку, – пояснил Лонг. – Фацисты уже занимаются...

Мара и конь – одно целое. «Кентавр!» – хмыкает Тиберий.

– Где поводьями-то владеть выучилась?

– Мой отец – степной шейх, у него неоглядные стада

¹ Вергилий. Энеида, VIII: 352.

овец. Я и с верблюдом могу управиться, и с шатром, и с парусной лодкой, – не удержалась и похвасталась Мара, все-таки она – совсем еще девчонка... – И мечом...

Тиберий поглядывает на ладную фигурку, словно сросшуюся с лошадьёю, на загорелые руки, обнаженные и уже исцарапанные, густую гриву темных волос...

– »Разве ты *не знаешь*, что империя от тебя никуда не уйдет?»... – бормочет Тиберий, вглядываясь в лицо Мары, ища глазами ее глаза. – Это ведь твои слова. Хорошо, допустим, я это знаю, – но откуда это знаешь *ты*?

Мара – она стаскивает зубами кусок поджаренного мяса с деревянного шампура, – удивленно смотрит на него.

– Откуда я знаю, что утром взойдет солнце? Откуда я знаю, что следом за теплым летом придет дождливая осень?

– Э-э, нет, так не пойдет. То знают все. Здесь другое. Солнце восходит каждый день. А императором человек становится *однажды* в жизни. Или *не* становится. Я знаю, ты умеешь вопрошать богов. Ты верно предсказала, что Август развел меня с Юлией... И я хочу... Я хочу, чтобы у меня не было никаких сомнений.

– Но ведь их у тебя *на самом деле* нет! – легко улыбается Мара и снова обращается к шашлыку.

Тиберий обомлел. Сомнения, неотступной болью терзавшие его и только что, и всегда – бесследно исчезли. С этого мгновения он точно и несомненно знал, что будет императором. Словно она отсекала искалеченный обрубок, оттягивавший душу, – но неожиданное исчезновение так долго лелеемого куса души испугало его.

– Как... как ты это сделала?

Мара отвлекается от своего занятия, вытирает жир, текущий по подбородку, капающий с пальцев, и с тем вздохом, с которым педагог начинает растолковывать непонятливому мальчишке теорему Пифагора, говорит:

– Я ничего такого не сделала. Есть много вещей, которые нужно решить раз и навсегда. Даже если кажется, что *не так*, нужно жить, вроде *так*, и тогда *так* и будет. Вот ты воин; ну так если вступаешь в бой и думаешь: «а

вдруг убьют» – тебя и убьют. А ничего не боишься, то ничего и не будет...

– Сколько тебе лет? – удивленно спросил Тиберий.

Мара ворчит что-то раздраженно-невнятное, как ребенок, желающий выглядеть старше, и снова тянется к шашлыку; он видит загорелое плечо со светлой полоской кожи у края хитона и красным пятнышком комариного укуса, мельком замечает влажные черные завитки волос в маленькой ямке подмышки... Над головой Мары, в прозрачной синеве – альбатросы... За пестрым лугом – купы дубняка, дальше – только море. Пряный, горьковатый, звенящий от насекомых зной кружит голову...

– Как ты можешь знать, что думает воин?

– Жизнь вся – бой, – легко, как о чем-то простом и очевидном, говорит Мара. – Я знаю, как принимать решения, чтобы раз – и на всю жизнь...

– И какие же?

– Ну, например, бессмертна ли я, – загнула она палец...

– Ну, и? Бессмертна?

– Какой ты, – недовольно ворчит она. – Я же сказала: нужно жить так, вроде это *так*, и тогда все *так* и будет. Ты что, совсем меня не слушаешь?

– Это очень серьезный вопрос, бессмертие!..

– Это очень простой вопрос, – возражает она.

– Тысячи и тысячи людей *знают*, что умрут...

– Тысячи и тысячи людей *знают*, что главное – добыть кусок хлеба. Ну и что? Из-за этого знания они всю жизнь добывают кусок хлеба! Тащат из воды мокрые сети, воняющие лягушками, скребут землю сохой, обдирают локти и колени о каменную кладку. А вечером утирают сопли голодным чадам. А мы с тобой *знаем*, что жизнь – непрерывный поток счастья, изливаемый на нас Создателем – и, посмотри, жизнь – непрерывный поток счастья...

Тиберий задохнулся: грудь его сдавливает горячим обручем, к горлу подкатывает тугой комок, в носу и глазах защекотало. Эта маленькая волшебница! Как она это делает? Как ей удастся? Она все выворачивает наизнанку – и получается просто, складно и убедительно... Она

говорит *felicitas*¹, и это слово, пустой звук в других устах, – пушистым комочком тычется в щеки, океаном плещется в груди...

– Так и с бессмертием, – продолжает Мара, удивленно взглянув на него. – Разве эти ромашки – не те, что расцвели здесь вечером третьего дня творения? Разве эта ласточка – не та, что кружила здесь на заре мира? Разве этот соловей – не тот же, которого слышала Рут, собирая чужие колосья? У Него нет перемен: все сотворено Им лишь однажды. Ты думаешь, так уж просто уничтожить *душу*? Махнул мечом, и все?

– А разве не так?.. – бормочет он в изумлении.

– А разве так? Глупые предрассудки воинов ты принимаешь за истину. А ведь ребенком ты знал другое! Детьми мы все... *experimurque nos aeternos esse*¹. Это уже потом приходит премудрый дядя и говорит: «меч сверху, пятая позиция, отражай!» И говорит: «есть смерть». Он врет, но если ему поверить, ты, к сожалению, обречен. А я этому дяде не верю, я говорю «я бессмертна», потому что *знаю это*. Вот и угадай, бессмертна ли я?

Она тащит из миски добрую горсть крошеной капусты и прочей зелени, сдобренной острым рыбным соусом, и так аппетитно хрустит ею, что и Тиберию хочется капусты.

– Но ведь этот «дядя» ничего не выдумывает! – пытается сопротивляться он. – *Homo igitur consutu atque nudat queso ubi est*². Дядя за руку приводит тебя к дурно пахнущему телу в желтовато-сизых пятнах и говорит: «вот смерть»!..

Мара легко взмахивает опроставшейся рукой и дохрумкивает капусту:

– Я повторю фразу, и тебе самому станет смешно. «Он приводит тебя к истрепанному хитону в прорехах и сальных пятнах и говорит: «вот одежда»!..»

Она лукаво глядит на него, сморщив носик, и Тиберий не выдерживает, прыскает, а вслед за ним чистым своим голоском хохочет и она.

¹ Счастье (лат.).

¹ Из непосредственного опыта знаем, что вечны (лат.).

² «Человек умирает и распадается; отошел, и где он?» (лат.).

– Приводит к хитону в сальных пятнах, – повторяет Тиберий, всхлипывая от смеха и утирая слезы краем тоги, – и говорит: «вот одежда»!.. Да! Но кем она сброшена? Вот вопрос! Пифагор вспомнил, что был Пирром, а прежде Эвфорбием. Эмпедокл – девушкой и оленем, веткой и рыбой... Бессмертные помнят о своих прошлых жизнях. А я? А ты? Ты – помнишь?

– Хочешь, расскажу, как была звездным светом? Или морской пеной? Но как тебе *ощутить* это... А помнят?.. Да, помнят. Но *не все*. Только те, кто сможет и захочет вынести эту память. Предвечный в благости своей позволил, чтобы *там* любой желающий мог... э-э... выпить летейских вод, скажем так. Дверь неба открывается для каждого ровно настолько, насколько ему нужно. Когда ты будешь *там*, посмотрим, *осмелишься* ли ты не выпить! Оставить будущему себе память о тех горестях, страхах, страданиях и пытках, которыми изломает тебя жизнь? О! Подумай – если б от каждого несчастного, замученного человека непременно оставался бы хоть атом его чувств, – мир сегодня переполнился бы истошным криком, единым воплем ужаса, исторгнутым из самого нутра, из кишок... А он каждое утро чист и свеж, ничто не напоминает о вчерашних убийствах, пытках, крови...

– Но можно оставить память только о *хорошем*...

– О чем именно? Об оргазмах? О сытости? О вкусе шашлыка? Или о его запахе? Запах вчерашнего шашлыка – какое удовольствие!..

Он морщится от прямоты ее выражений, граничащей с грубостью.

– Н-ну... Мало ли... Сидишь в саду, среди роз, свиток интересный просматриваешь... Вечер, прохлада...

– О хорошем помнить *еще больше*. In omni adversitate fortunae infelicissimum genus infortunii est fuisse felicem¹... Ты увидишь.

– И где же, по-твоему, выход? – морщит лоб Тиберий.

– Рядом! – с веселой легкостью продолжает Мара. – Не запирайся в тюрьме собственного тела, посмотри на мир

¹ При всех превратностях судьбы самое большое несчастье – быть счастливым в прошлом (лат.).

шире! Ведь ты и он, он, он, – Мара трижды ткнула обглоданной костью в далекий морской горизонт, над которым стояли белые башни облаков, – все это *один* человек, первозданный Адам. *Другой* человек – злокозненная ложь Извечного Червя, который не знает и знать не хочет никого, кроме самого себя. Наш Закон так и говорит: *другого* – нет, научись думать о другом, как о самом себе. Начни утешать *его* скорбь – и скорбь отступит *от тебя*. Это – почти единственное, чего сегодня требует и ждет от нас Бог.

– *Почти единственное?* А чего он требует *еще*?

– Не убивать, не прелюбодействовать, не поклоняться идолам... Вот, собственно, и все!

– *Не убивать?* Но где ж я возьму тогда воинов для защиты империи? Гм! Это придумали трусы! «Бог, Бог» – и все для того, чтобы одураченные люди по своей воле отказывались от своих удовольствий, отдавали их им, да еще благодарны за это были...

– Это у вас так! – запальчиво выкрикивает Мара, удлинённые горячие глаза ее угрожающе темнеют. – Закон для вас – это то, что вы сами написали, *lex est quod notatum*¹. Один – для быков, иной – для Юпитера: *quod princeps voluit – legis habet vigorem*². А в нашем законе *другой* и *ты* – одно...

– Другой – это другой. Знаешь, как легионарии говорят? «Умри ты прежде, а я потом». И еще: «Сначала съедим твое, а потом – каждый свое». А калеки? Вот легионарию в сражении отрубили руку: что ж, если он решит, что *рука есть*, так она у него вырастет, что ли?

– Нет невозможного для Господа. Могли б вырасти не только руки, но и крылья, – с иронией отвечает Мара, – но не у легионария. Чтоб они выросли, нужно отдать себя в руки... э-э... некой силы: для легионария она смертельно опасна.

– Чем же он так плох?

– Он *нечист*. Он грабил, насилывал, убивал...

– Эту песню я уже слышал, – скучнеет Тиберий. – Грех,

¹ Закон – это то, что записано нами (лат.).

² Что благоугодно монарху – имеет силу закона (лат.).

нечистота, вина... Стоит о серьезных вещах заговорить, и сразу *вы все* выкручиваетесь. И все теми же словами... Скажи еще – *μετανοια*, покаяние... И что может сделать пусть даже и Бог? Для него тоже не все возможно, как сам Зевс, вздыхая и тоскуя, открыл Хризиппу...

– Именно, покаяние! – радуется Мара, не устаивая вниманием вторую часть фразы. – Видишь, ты сам все знаешь! Мы говорим *тшува* – «возвращение». Но это трудно, очень трудно...

– А зачем? – холодно и жестко интересуется Тиберий. – Я просто спрошу, конкретно, по-солдатски: если *не* каяться, буду императором?

– Будешь, – отвечает Мара поскучевшим, пустым голосом, в котором, однако, звучит полная уверенность. – Как раз тогда-то будешь наверняка.

– Ну? – с непонятным ему самому торжеством говорит Тиберий. – Видишь, буду. А зачем тогда оно?

Мара неопределенно пожимает плечами.

– А если покаюсь – все равно буду?

– Тогда, скорее всего, не будешь, – как отрезала Мара, и поднялась. – Солнце низко, ветер поднимается, тучи откуда-то нагнали... Давай-ка собираться...

– Ну вот, видишь, оно может только помешать... – все тем же торжествующим тоном продолжает Тиберий, и вдруг до него что-то доходит. – Постой, постой... Постой! Что значит: «скорее всего, не будешь»? Зачем же ты его предлагаешь?

Мара машет рукой ближайшему фацисту из оцепления, делает пальцем круговой жест над ковром, уставленным яствами: «убирайте». Потом поворачивается к Тиберию:

– Что ты сказал?

– Я говорю – зачем ты мне предлагаешь то, что помешает стать императором? – холодно повторяет он.

– Оно поможет тебе стать *человеком*, – так же холодно отвечает Мара. – *Счастливым* человеком.

Тиберий равнодушно пожимает плечами.

Мара идет к лошадям – он хватается за локоть, останавливает:

– Откуда ты взялась, колючая! Чего тебе нужно?!

Мара стоит вполоборота, он видит только ее щеку и реснички, и снова до боли отчетливо знает, что все это – вот именно так! – уже было, было, *было!* Но когда? Где?

Она шевелит плечом, сбрасывая его руку.

– Только одного: чтобы ты был счастлив. И знаю, как это сделать. А ты не знаешь. Думаешь – ты богат, и знатен, и осыпан почестями? А ты нищ, и наг, и несчастен...

Она порывисто поворачивается к нему, хватается за плечи, снизу вверх впивается глазами в глаза:

– Да знаешь ли ты, что *все* возможно Предвечному? Что слепого он может сделать зрячим, прокаженного – чистым? Он *бывшее* может сделать *небывшим*, о чем еще мечтать тому, у кого руки в невинной крови?!

Тиберий отводит глаза, отворачивает голову... Взгляд его падает на собственную руку, на ней засохли красноватые пятна... Соус, наверное, но слово «кровь» заставляет его отвести взор... *Quod factum est infectum esse nequit*¹?

Там, куда теперь обращен его взгляд, совсем недавно кувыркался Деций Квадрат, нелепо взмахивая руками и ногами, пытаясь ухватиться за стебельки ковыля и полыни, оставляя за собой белый пыльный след... Тиберию словно наяву видит его пышную бороду, в которой каждый волос кажется серебряным, его худые щеки с рябинками от оспы, робкий, умоляющий взгляд... Холод ползет под теплую шерстяную тогу.

– Завертелся, как змея на горячем песке, – бормочет Мара. – А дальше что будет? Не догадываешься?

– Среди них не было невинных! – почти вскрикивает он.

– Кто это решил? Ты сам?

– А кому ж еще решать?! Я трибун! Ко мне люди идут со своими спорами. За истиной! За справедливостью!..

Не устаивая его ответа, она шагает к лошади, ласково запускает пальцы в ее гриву, перехватывает уздечку и одним легким движением оказывается в седле.

– *Omnes una manet nox*²! – снова кричит он.

¹ Сделать бывшее не бывшим? (лат.).

² Всех ожидает одна и та же ночь (лат.).

– Человек сам выбирает – ночь или день, жизнь или смерть, – тихо возражает она.

В седле Тиберий успокаивается. Все, что она сказала, конечно, нужно хорошо обдумать. Завтра же. А сегодня? А сегодня у него остается один-единственный вопрос, но его-то он может ведь ей задать:

– Мара!

– Я!

– Вот я знаю, что империя от меня никуда не уйдет, ты это знаешь. Скажи, а *Август* знает это?

Мара, покачиваясь в седле, меряет его долгим взглядом, не зная, смеяться ей или плакать.

– «*Post equitem sedet atra cura...*»¹, – пытается она отшутиться словами Горация. Но он не отстает:

– Я не понял, так знает он или нет?

– Еще нет. Но скоро узнает. Просто спросит у тебя. И как ты ответишь ему, так и будет.

Ударяет коня пятками и исчезает с его глаз.

Луцилий Лонг

–...»Хочу, мол, чтобы у тебя был кругом ништяк, – докладывает Стаций. – А сейчас ты голый и босый, и ушибленный». А он кивает головой: Да, босый, да, голый... Во, охмурила! Но, тут же базлает, все ладушки, я, мол, это быстренько подштопаю...

– Он?

– Она! Она подштопает!

– Наглая *φιλήτης*², – говорит Луцилий Лонг. – Хватка как у волчары... Голыми руками не возьмешь: *anguilla est, elabitur*³.

– Мне, мол, Юпитер корешок, а он слепого делает зрячим, немного – глухим, а прокаженного – святым. А он ей шуршит – без базара, я не глухой, а кого и мочил, то по

¹ За спиной всадника сидит его мрачная забота (лат.).

² Мошенница, пользующаяся для обмана жертв своей сексуальной привлекательностью (от греч. *φιλέο* – любить).

³ Выскользнет как угорь (лат.).

делу. Она ему – все ништяк, если в лом что помнить, то забудь... Сама, без Юпитера, разрешила забыть... И поскакали.

– А до того?

– Мы в оцеплении стояли, далеко, не слышно...

– Все сказал?

Стаций распяливает рот и дергает себя пальцами за зуб:

– Зуб долой – все!

– Так, так, так, так, – бормочет Лонг. – Значит, слепого – зрячим?.. Ну, остров наш маленький, каждая собака на виду... А поезжай-ка ты, друг мой Стаций, на материк, в легион, и потолкуй между своими: не хотел бы кто за те же деньги, а то и с приплатой, посидеть на нашем базаре в повязках и бинтах, попримелькаться, притереться, милостыньки подсобрать? На всякий случай. Оно, может быть, и не понадобится, но иметь под рукой неплохо... Уловил?

– Уловил! – восхищается Стаций мудростью и предусмотрительностью руководства и протягивает распяленную ладонь. Лонг роняет в нее несколько сестерциев:

– За тессерой для легата зайдешь утром...

Стаций не убирает руки, и Лонг отталкивает ее:

– Остальные – потом...

Дядя и племянница

–...Что ты делаешь? – задыхается от возмущения рав Ицхак бен Давид. – Что-о ты творишь?! Он сам, один, без фацистов, без глашатаев, без посыльных потихоньку является ко мне и спрашивает, что такое *тшува* и как ее выполнить. Это что еще такое? Твоя работа?

– Я...

– А завтра он явится ко мне с просьбой о *гиюре*?¹

– А хоть бы и так, что в этом плохого? – запальчиво возражает Мара.

– Да в каком мире ты живешь? Да ты знаешь, что

¹ Процедура перехода в иудаизм.

Август...

– Ха-Шем и Августа может...

– Ха-Шем *никого* не может! Вернее, не хочет. Не желает! Не собирается! Дела людей Он отдал в руки людям! «Все во власти небес, кроме страха перед небесами» – вот на каком условии позволил ха-Шем существовать этому миру и человеку в нем еще при самом его сотворении!

– Давай, я отправлюсь к Августу...

– Ну, ты наглая!.. Ты думаешь, уже все, успех в кармане? Императорская диадема на голове? – Успехов вот на столько, – бен Давид отчеркнул ногтем большого пальца краешек на мизинце, – а гонору-то, гонору! Да знаешь ли ты, *чи* это успехи, если они и есть? Знаешь ли ты, сколько сил, и человеческих, и нечеловеческих вовлечены в работу, следят за ней, молятся и за тебя, и за Тиберия! Знаешь ли ты, что сам Гвурээль являлся к *нему* в твоём облике, когда ты не была еще готова, – чтобы он сразу же принял тебя с распростертыми объятиями, как только ты явишься?! Не будь его – еще принял бы он тебя или нет!.. А ты?.. Ты своими руками все разрушаешь!

– А может, он и гиюр пройдет, и императором станет? А? – жалобно спросила Мара.

– Чепуха, – холодно сказал бен Давид, усаживаясь на лавку и уронив руки на колени. – Чепуха. Ты совсем еще девочка. Ты даже не представляешь себе, что это за мир... И обсуждать не собираюсь... Ты делаешь то, чего не должна делать, и не делаешь того, для чего послана. Я спрашиваю: долго ли это будет продолжаться? Когда ты возьмешься за ум? И что намерена делать дальше?

– Я не обязана отчитываться ни перед кем, – возмутилась Мара, – и перед тобой в том числе! Что будет у нас с ним, то и будет. И только трое будут знать о том – он, я и Предвечный! Я не хитрю, не путаю, не выкручиваюсь. Я люблю его! Ты говорил – он чудовище, изверг... А он не такой! Ты солгал мне! Он хороший! Он лучше всех!

И Мара хлюпнула носом.

– Откуда ты знаешь, может, ха-Шему не императором его нужно сделать, а спасти его душу? Может, она бесценна? А?

– Девочка моя, да кто ж против, пусть спасает! Но... чуть позже. Хорошо? Сейчас он должен стать императором. Помочь тут ты ничем не можешь. Ты, да, должна быть рядом... любить его, жалеть... Но не мешать! Не мешать! Шансов у него и так не слишком много, но пока они есть. А стань он евреем – и их не будет ни единого! Они не подпускают евреев к власти. В кои-то веки среди римлян нашелся стоящий человек – и ты своими руками не пускаешь его к престолу!

Мара умоляющими глазами снизу вверх глядит на него: «Нет! Нет! По крайней мере, не говори так!» Голова ее делает едва заметные отрицательные движения, глаза блестят от слез.

– Потом, может быть, потом, когда он уже станет императором... – успокаивающим голосом говорит старик и осторожно гладит ее по голове. – Впрочем, они и тогда могут убить его, как убили Юлия...

– А тот что, хотел пройти гиюр? – вскидывает Мара на него все так же поблескивающие слезами глаза.

– Ну, не надо упрощать, – в голосе учителя звучит легкая досада. – Он, скажем так, искал дороги в нужную сторону... Начал искать... Но они и этого не прощают! Потому я и был против твоей хупы... Можно было и скрыть, что ты еврейка...

– А кто меня учил, что совесть либо чистым-чиста, либо ее просто нет? – иронически вопрошает Мара. – Или ты будешь требовать, чтобы я лгала?

Бен Давид молчит так долго, что Мара начинает беспокоиться:

– Учитель...

– Извини меня, девочка, за все, что я сказал вначале, – наконец говорит он. – Извини. Ты не должна делать ничего против совести. Я ничего от тебя не требую. Ничего. Кроме одного: останься живой! Пожалуйста, выйди живой из этого переплета. Я уж и сам не рад, что мы все это затеяли. И на что, собственно, можно было рассчитывать? Что меня ослепило? Теперь я ясно вижу: нет у нас шансов. Ни единого...

Теперь слезы стоят в глазах у старика, и теперь уже девочка, скоренько утерев свои, начинает утешать его:

– Ну, учитель! Ну! Что это ты! Бодрее! Улыбнись! Кто меня учил: все беды надо встречать с поднятой головой и с улыбкой? Ну! Я согласна, я буду делать и говорить все-все, что ты скажешь, только не говори больше, что ничего не выйдет! Ну! Все у нас получится...

Вдруг новая, неожиданная мысль приходит ей в голову, она улыбается и хлопает в ладоши:

– Ведь ты говоришь, что сам Гвуразль участвует в этом деле! Как же оно может быть безнадежным?

– Да, девочка! Да! – улыбается бен Давид, но нет настоящей радости в его улыбке. – Все у нас получится. Беда в том, что я *не знаю, что* у нас должно получиться...

– И не нужно, – шепчет девочка, придав своему подвижному личику выражение тайны.

– Это почему ж? – с некоторым неудовольствием осведомляется бен Давид.

– Сказать?

– Конечно, скажи!

– Потому что у меня есть *иной* советчик...

И Мара осторожно показывает пальцем на небеса.

Глава 8. КОЛОСС РОДОССКИЙ

Итак, Мара подтвердила: «Ты будешь императором!» Беспричинное веселье плещется и позванивает в груди Тиберия. Когда он еще был так счастлив? Странно вспомнить: 22 года, молодой, легкий, веселый... Парфянская война: в тот день он посадил Тиграна на царство в Армении... В походном лагере, у своей палатки, перед ровным строем центурий, блистающим латами и оружием, увенчал он его царской диадемой. Лагерь окружали снежные вершины, а по долине тек теплый медвяный воздух с осенней хрусталинкой меж струй...

В ту же ночь впервые явился ему во сне муж в блистающих одеждах – Юпитер? – и возложил на его чело венок из дубовых ветвей. Наутро, проснувшись, он обнаружил зажатый в кулаке дубовый лист! Он был счастлив, как мальчишка.

Лист этот и сейчас лежит в ларарии. Он высох, стал золотисто-хрупким, но, как и прежде, от него пахнет надеждой...

В первый раз за многие месяцы Тиберий уснул, как только голова его коснулась подушки...

...Он идет по Риму, это, несомненно, Форум, знакомый ему каждым своим камешком, но Форума-то как раз и нет. Долина, скорее, овраг, опускается между Капитолийским и Палатинским холмами, по будущей Виа Сакра¹ к Курии. Но Курии тоже нет, как нет вообще ни одного здания: ни храма Сатурна, ни храма Цезаря... Лишь Ляпис Нигер² пребывает на должном месте, но – среди странной зыбистой грязи, покрытой буроватой влажной зеленью. И его украшает веночек из свежих дубовых листьев с солнечным знаком внутри...

Тиберий шагает к Камню, чтобы взять веночек – но

¹ Священная дорога.

² Большой черный камень на могиле Ромула.

трясина легко расступается, и ноги его ощущают липкий холод... Он поворачивается назад, старается вырваться – бесполезно, трясина засасывает, не отпускает, а позади уже смыкаются заросли колючего терновника, закрывая обратную дорогу...

Между тем зелень на поверхности трясинки начинает трескаться; из трещин выплескиваются фонтанчики коричневой глины, густеющие на глазах, и каждый фонтанчик обретает уродливую безглазую голову, руки, ноги, превращаясь в глиняного болванчика. Вскоре Тиберий стоит в толпе истуканов, грубо вылепленных из мокрой глины. Они неуклюже шевелятся, из дыр их ртов течет болотный смрад... Они так теснят его своими скользкими и липкими коричневыми плечами, что трудно дышать...

Он упирается в плечо одного из них – болванчик легко сминается, но закрутившаяся глина все же позволяет чуть высвободить ноги. Одного за другим подминает их под себя Тиберий, и выбирается-таки из трясинки, становится на ноги и вновь видит венки на Черном Камне. Это уже не венки, а венцы, царская диадема, усыпанная сапфирами!

Устилая дорогу глиняными болванчиками, валя их себе под ноги, он идет к Камню, даже касается его рукой, – но тот вдруг начинает расти, и диадема, чуть покачиваясь, возносится ввысь, уходит за пределы доступности. В гневе громоздит Тиберий гору из смятых, разломанных тел перед Камнем, но гора эта растет медленнее, чем поднимается Камень...

И тут из трещин трясинки вместе с фонтанчиками грязи начинают появляться пузыри скверно пахнувшего газа, а затем выбиваются голубоватые язычки пламени. Тиберий не знает, к добру ли это, но скоро понимает: попавшие в огонь болванчики, обжигаясь, становятся звонкими, как гончарная глина. Более того: у них появляются лица, уши, глаза...

– Держи! – приказывает Тиберий одному из них, и тот покорно, хоть и медленно, вперевалку подходит, опускается на колени, подставляет плечо... Еще и еще подходят они по его зову, сцепляются руками, а он карабкается по их коричневым телам, похожим на амфоры,

ввысь и ввысь...

Здесь легче дышать, здесь распахнуты горизонты! Керамические болваны с глазами и ртами, тела которых покрывают уже доспехи центурионов, сами, без приказа выстраивают пирамиду из своих тел, бережно подсаживая и придерживая его, и тела их на глазах бронзовеют... Вот нога его в желтой калиге соскальзывает с плеча одного из них, и тот бережно подхватывает ее... Они перешептываются, Тиберий отчетливо слышит: «Аккуратнее!..», «Придержи его...».

Черный Камень давно остался внизу (диадемой с него Тиберий увенчал голову), а пирамида все растет, и тела тех, что окружают его, что держат теперь Тиберию в лазурной выси, стали уже серебряными, и красуются на них драгоценные браслеты и запястья, сенаторские тоги, башмаки!..

Он глянул на себя – его окутывает пурпурная порфира, руки в солнечном сиянии кажутся червонным золотом!

Необъятный лазурный простор с нежными волокнами облаков распахивается перед ним, а под ним до самого горизонта корчатся в языках пламени и в болотной грязи коричневые болванчики из красной глины. Но его пирамида, хоть и зыблется, остается устойчивой, возносясь все выше и выше. С досадой замечает он, что у самого горизонта громоздятся еще две или три подобные пирамиды. Он не успевает еще решить, как справиться с этой новой бедой, как понимает: внизу – не пирамида, а собственное его тело, сверхчеловечески огромное, но легкое и послушное... Он шагает к горизонту... ощущает ногами зыбкость болота, его жар; из его глубин с нутряным чавканьем поднимаются пузыри, он обоняет их зловоние... пошатывается... и просыпается...

Еще несколько секунд лежит он с пресекавшимся дыханием. Яснее не могли бы боги рассказать о ждущей его судьбе.

– Мара! – зовет он.

Обычная возня – фацист, спавший, по инструкции, под дверью, бросается к ее покоям, впопыхах путается ногами в ковре и что-то роняет. Вот она появляется на пороге,

завернутая в просторную тогу: зевает, протирает кулачком глаза:

– Чего тебе?

– Угадай, какой мне приснился сон?

Блеск его глаз виден даже в темноте; в позе, в голосе – неприкрытое ликование.

– А! – ворчит она, внимательно приглядевшись. – Наконец-то он тебе приснился!

– Ты знаешь? – удивляется он.

– Тут и знать нечего.

– Так какой же сон? – с недоумением и некоторым раздражением повторяет Тиберий.

– Давай так, – говорит Мара, помедлив. – Давай я еще подумаю, до утра. А утром скажу – и сон, и толкование.

– Но как ты можешь знать?

– Смешной... Вот, скажем, мальчишка первый раз в жизни упускает ночью семя. Что ж ты думаешь, мать не знает, какой ему сон снился?

– Так ты думаешь...

– Да нет! – отмахивается Мара. – Совсем другой. Но его так же легко угадать. Он в должный срок снится каждому из тех, кого Предвечный избрал на мучительную роль властителя. Об этом и в наших Писаниях есть... У Даниэля... Знаешь, – сказала она, помедлив, – я просто покажу тебе его...

– Покажешь?..

– Он огромный! – смеется Мара. – О нем знает каждый родосец... Да, пожалуй, и каждый грек... И многие из римлян... Но он не здесь, не в Камиросе.

– А где?

– В Родосе. Там и расскажу. Но утром. Хорошо?

– Ну... – бормочет он...

Она совсем уже было идет к себе, позевывая и поеживаясь спиной и плечами, но Тиберий останавливает ее:

– Поскачем сейчас! – и фацисту: – Распорядись, чтобы приготовили лошадей.

– Какие лошади! – ворчит Мара. – Почти двести

стадиев¹, три часа езды! А дорога – сатир копыто сломит. И третья вигилия² только, петухи не кричали. Уж если ты непременно хочешь... – мурлычет она. Он кивает. – Поплывем фелукой!

Фациста она отправляет в порт, другого – за вином, мясом и лепешками.

– И плащи захвати, – кричит вдогонку. – Мне и ему...

...Как ни был Тиберий взволнован, но в фелуке он почти сразу задремал, укутавшись теплым шерстяным палудаментумом. Ему легко и спокойно. Весла не понадобились, предутренний бриз туго надувает парус, и лодчонка летит по гребням волн, едва касаясь их. Слева уже заметно склонилась к горизонту почти полная луна, справа время от времени сквозь легкий туман загораются крохотные желтоватые огоньки в прибрежных селениях, – рыбаки выходят на промысел рано. Фацисты порой спорят, называя появляющиеся по правому борту, а потом отползающие назад деревушки – Фанес, Парадизи, Кремасти, Трианду, Иксию, – и их бормотание сливается с лепетанием воды у бортов и журчанием кильватерной струи за кормой...

Задремывает и Мара...

Проснулся он от толчка: лодка ткнулась в песчаный берег.

Одного фациста оставили в лодке на хозяйстве, остальные пошли с хозяевами, проверив, на всякий случай, легко ли мечи ходят в ножнах, и вздрагивая от предутренной сырости. Туман перед восходом солнца стал плотнее, словно напившись светом, розовато-желтым на востоке. Мара идет уверенно, раздвигая рукой обрызганные росой кусты, шелестящие листьями, давно потерявшими весеннюю свежесть.

– Откуда ты знаешь дорогу? – удивляется Тиберий.

– А здесь рядом. Мы уже почти пришли. Вон он, –

¹ Около 37 км. Стадий – почти 185 м.

² Стража. Третья стража длилась с полуночи до 3-4 часов утра.

указывает она рукой на каменный столб, из которого торчат скрученные чудовищной силой ржавые железные прутья. Видна только вершина, остальное скрыто волокнами тумана.

– Кто – *он*?

– Твой сон, – кратко отвечает она. И Тиберий, все это время веривший, что она действительно угадала сон и знает его смысл, испытывает разочарование, мгновенное и болезненно-острое. Стоило же ехать сюда, тратить целую ночь, чтобы выслушать какие-то глупости!.. Что общего у замшелых камней и ржавых железок с его ночным откровением?

– Ты ничего не могла придумать умнее... чем... –

Скользкая тропинка идет в гору, нужно хвататься за ветви, и он обрывает фразу на полувздохе, – а в следующую минуту то, что выступает из рассеявшегося тумана, заставляет его замолчать.

Над ним, уходя в запредельную высь, стоит, нависает, давит чудовищного роста покойник. Нагло попирают землю гигантские широко расставленные ноги; пальцы их наполовину ушли в поросшую мохом землю, а не то были бы в человеческий рост; их плоские ногти – толщиной в добрый тюфяк. Бронза потемнела, позеленела, покрылась бурыми и черноватыми пятнами, и великан выглядит точь-в-точь трупом, от него даже несет сладковатым духом тления. У пояса чудища бронзовая обшивка обрывается, и потому кажется, что из смятого и исковерканного мешка гнилой кожи торчит массивный каменный позвоночный столб, растопыривший уродски скрученные проржавевшие железные ребра... Полуоторванный лист бронзы на самом верху раскачивается от ветра на уцелевших заклепках, скрипит и погромыхивает.

– Что... это?.. – выдавливает Тиберий.

– Разве *не его* ты видел во сне? – прищуривается Мара.
– Только молодого и красивого?

– Я...

– Может, ты *был* им?

Тиберий едва находит силы поглядеть ей в глаза, но тут

же отворачивается, напоровшись на лезвие ее взгляда.

– Когда-то он был виден морякам за сотни стадиев, – медленно говорит Мара. – Каждую весну десятки рабов, перебросив через него веревки, начищали его проволочными щетками, и он сиял, как чистое золото. Сверкание бронзовой обшивки скрывало все безобразие, на котором он держался – все эти перекладыны, скрепы, гвозди, заклепки, подпорки и клинья, смолу, глину, не говоря уж о мышах и землеройках... Точная копия, словом, царской власти. Но об этом не думали, его называли «чудом света»... Так длилось не дольше, чем живет человек. А потом Господь потрянул землю, и вот уже более двух веков родосцы хотят избавиться от этого кошмара и ищут покупателя на бронзовый лом...

– Ну, и продали бы... – Тиберий выходит из шока.

– Постоит купец, подумает, как его разбирать, покачает головой, поцокает языком... Кому нужна бронза по цене золота?

– Это разве всё? А где верх?

– Там, – Мара указывает на густейшую рощу гледичий. – Все, что рухнуло, сволокли туда и плотно обсадили акацией, чтобы потом не тратиться на сторожей... Теперь без лесорубов не подступись...

– А восстановить? – заикнулся было Тиберий.

– Кладка-то после землетрясения растрескалась. Может, все это завтра рухнет, может и сегодня... Но ты не переживай! Не восстановят этого, так построят другого. Горит душа у големов живых возводить големов бронзовых... мраморных... чтобы что-то или кого-то изувечить... вместо того, чтобы на те же деньги накормить голодных, исцелить больных...

– Что такое «голем»?

– У греков есть фабула о Пигмалионе, который воспылал страстью к мраморной кукле, осквернился с ней...

– Я знаю, – замечает Тиберий.

– Ну так вот, πῦρος – это, извини меня, задница, а ὑμεῖον – так греки на свой лад выговаривают слово *голем*. Ты ведь любишь филологические изыски! Голем – это идол, который зашевелился и стал переставлять конечности...

трудами и усилиями влюбленного в него человека.

– Ты не понимаешь! Статую оживили его вера, его надежда, его любовь, наконец!.. Неужели ты столь глуха к прекрасному! Вергилий говорит о греческих бронзах, что они дышат, *spirantia aega*. Неужели ты не видишь этого, глядя на совершенное тело героя, застывшее в бронзе или мраморе? В подобной страсти и проявляется всемогущество человека...

– Страсти-то какие! – фыркает Мара.

–...Ведь у него нет иного способа преодолеть свою конечность, ограниченность, смертность! – настойчиво и убежденно продолжает Тиберий, стараясь не замечать ее иронии. – Герои, казалось бы, погибшие навек, – став мрамором или бронзой, оживают для вечности. Может, и живет-то герой затем, чтоб навеки застыть в бессмертном творении, понятном и убедительном для потомков! Гомер говорит:

*Боги назначили эту судьбу им и выпряли гибель
Злую, – чтоб песнями стали они для далеких потомков...¹*

– Значит, стать мертвым мрамором, чтобы ожить после смерти? – едко возражает Мара. – И это буквально так, представь себе! Некий скульптор-грек, йимах шмой зихрой¹, прославился тем, что созданные им статуи были ну совсем как живые... Он начинал как копиист, великолепно воспроизводил оригиналы предшественников, приспособил для этого пантограф с резцом... Но ему хотелось, чтобы заговорили о нем самом... И придумал... Выбирал рабыню покрасивее, умерщвлял ее, замораживал в нужной позе и по мерзлomu телу делал форму для отливки из бронзы...

– Как? как его звали? – справившись с ошеломлением, переспрашивает Тиберий. – Если я стану императором, я велю сбить это имя на всех храмах...

– Это не имя. Это проклятие, означающее, что имя нельзя называть, даже если знаешь его. А сбивать ничего не надо. Проклятие непременно сбудется, имя будет

Гомер. Одиссея VIII: 580 / Пер. В.А. Жуковского.

¹ Да будут стерты с лица земли его имя и память (ивр.).

забыто всеми... Храмы с его именем рухнут. И от статуй ничего не останется... Мраморные пережгут на известь, бронзовые – перельют...

– Ты всерьез в это веришь?

– Во что? – не поняла Мара.

– Что его забудут, даже если ничего не делать?

– Обязательно забудут!

– Но почему? Почему?

– А Бог?..

– А, ты об этом... Ну, это... гм... старые побасенки. Я их довольно наслушался.

– То есть ты в предвечную справедливость не веришь?

– Предвечную?.. Глупости! Мы, римляне, дали миру вечную справедливость. И мир ее принял! *Non solum arma, sed iura Roman pollebant*¹.

– Закон, незнание которого не освобождает от ответственности, трудно не «принять»! Распинай и не утруждай себя даже объяснениями, за что!.. Распяты не просто приняли такую «справедливость», но привязались, пригвоздились к ней, прикипели душой!..

– По-другому нельзя...

– Можно по-другому! Если кто-то из наших нарушает Закон, об этом ему даже *не всегда говорят*: пусть считается, что нарушил *по незнанию*, так грех меньше...

– Что ж это за закон? Кто ж его будет соблюдать? Зачем он такой нужен? – Тиберий, удивленно глядя на Мару, потирает лоб рукой, как он делает, сталкиваясь с вещами, превышающими его разумение. – Да еще при том, что... – он замялся.

–...При том, что нас преследуют за его исполнение?

На лице Тиберия появляется виноватая усмешка, и Мара в ответ усмехается ему прямо в лицо:

– Представь, у нас это тоже многих удивляет!

– Но как-то же вы себе это объясняете?

– Проще простого: чудо Господне.

– Чудо?..

– Мы – в руке Предвечного. Закон нам дан свыше.

¹ «Не только римское оружие, но и законность римская всюду побеждает» (лат.; ср. *Тит Ливий*, История..., IX: 20 (10)).

– Да нет никаких *свыше*, никаких Предвечных, как ты не поймешь! Не-ту их! Нет!

Тиберий даже пальцы растопыривает, чтобы стало яснее: ну, отсутствуют они, неоткуда их взять.

Мара с жалостью глядит на него.

– Услышали как-то рыбы, что могут жить только в воде. Удивились и стали спрашивать: а что такое вода? не видел ли кто ее? А самые храбрые заявили: никакой воды нет!

– Я ж говорю: старые побасенки, – облегченно говорит Тиберий; он ждал каких-то других, ярких, серьезных доказательств. – Последнюю и окончательную истину о жизни и о человеке сказал Эпикур: наслаждаться, чем только можно, и не страшиться несуществующих богов. Он сломал затворы лжи и показал, как смешна со стороны любая религия!

Мара слегка вздрагивает при слове «Эпикур», а потом согласно кивает:

– Любые обряды смешны, если смотреть со стороны...

– И ваши? – с ехидцей спрашивает Тиберий.

– И наши! – спокойно отвечает Мара.

– Ну, вот, видишь! – торжествует Тиберий. – А сама их соблюдаешь. Выходит, отказываться от свинины – смешно и глупо? А? Это ведь только обряд?

Мара вздрагивает, как от пощечины, по ее щекам ползут бледные и розоватые пятна. Но она справляется с собой:

– Ты гимнастов в палестрах видел? Знаешь, зачем бегуны привязывают к ногам свинцовые пластины?

– Тренируются, готовятся к Олимпиаде. Там они сбросят свинец и тем быстрее ринутся к цели...

– А мы с детства готовимся быть *нравственными*. Дело не в свинье, ее мясо, возможно, и не хуже любого иного. Дело в самоограничении. Тот червь, который ворчит, шевелится, скалит зубы и в тебе, и во мне, – он с самого начала должен знать, что ему позволено *не все*. И в нужный момент каждый из нас в силах отказаться от собственных удобств и удовольствий ради другого человека...

– Какой еще червь?

– Да кишки же твои, – хмыкает она. – Вспомни Гомера:

Нету подлей ничего, чем наш ненавистный желудок:

*Хочешь – не хочешь, а помнить велит о себе он упорно,
Как бы ни мучился кто, как бы сердце его ни страдало¹...*

– Отказаться от собственных наслаждений? Ну уж!..

– Ведь твой Эпикур не о *Боге* говорит, а о *религии*. Какое, в конце концов, дело Предвечному до наших воскурений и молитв? Смешно! Но нельзя попать Бога живого. «Религия» – это то, что человек говорит о Боге. А то, что Бог делает с человеком – это уже не религия. Сама возможность наслаждения дана Им... И если Он отнимет ее...

Ухмылка сползает с лица Тиберия.

– Ему обряды не нужны, нужны они нам, – продолжает Мара. – Вопрос в том, пребываешь ли ты в Боге, или глядишь на него *со стороны*. Со стороны смешно? Может быть. Но и соитие мужчины и женщины со стороны смешно и непристойно... Внешний блеск... Я с некоторых пор думаю, что он *всегда* скрывает ложь, а *все подлинное* – оно кажется смешным и нелепым... со стороны. Но зачем, спрашивается, оказываться в стороне от того, что *и есть* жизнь? – упирается она в него взглядом. – Насытит ли *запах* шашлыка того, кто остался в стороне от пирующих? Обогастит ли тебя звон монет в кошельке у постороннего?

Тиберий молчит.

– Так, как твой Эпикур, могло бы рассуждать – если бы могло рассуждать – животное, сломавшее ограду своего загона и гордо глядящее *со стороны* на пролом. Ему и в голову не приходит, что наступит ночь, в пролом войдут львы.

– Это было бы так, – поднимает голову Тиберий, – если бы Бог действительно существовал. Но так ли это?

– Некий эллин пришел к мудрецу и сказал: «Можешь ли ты доказать что Бог существует?» Тот попросил: «Прочти сначала вот тот пергамент». Эллин взял его в руки и залюбовался каллиграфией, прочел – и восхитился смыслом и слогом написанного... И спросил: «Кто написал это?» – «Никто! – ответил мудрец. – Ветер опрокинул чернильницу, и клякса приобрела осмысленную и совершенную форму».

Гомер. Одиссея, VII: 216-218 / Пер. В.В. Вересаева.

– Что за чушь! – возмутился Тиберий. – Так не бывает!
– Это же сказал и эллин. Мудрец согласился, что обычному ветру, конечно же, такое не под силу. «Но, заметил он, как каллиграфия и глубина мыслей на папирусе предполагают автора, так и совершенство этих форм, – она широко взмахнула руками, – и глубина мыслей, которые мы обнаруживаем в них, с неизбежностью предполагают Творца»...

– Возможно, ты и права... – говорит, наконец, Тиберий. – Я не стану спорить, может быть, боги и есть; но что нам до них, если им до нас нет никакого дела...

Мара удивленно вскидывает на него глаза, но он останавливает ее движением руки:

– Вот вы, евреи – гонимые, униженные... А говорите – «избранный народ». Где ж ваш бог? Объясни, если можешь! Почему он не явит могущество и не поможет вам? Почему он не устроит чудо, чтобы вам жилось тепло и сладко?

– Чудо? – иронически переспрашивает Мара. – Чудес нет. То есть, Господу все возможно, мир чудес у него есть. Но что значит в том мире человек? Адам выбрал мир, свободный от чудес, где человек – не раб Предвечного, ослепленный и ошеломленный Его всемогуществом, и даже не сын, а – партнер, со-творец, со-здател, вместе с ним идущий к великой цели...

– Чудо – потому и чудо... – начинает Тиберий, но Мара, не слушая, перебивает его:

– Чудо, как ты его понимаешь, это... это... – Мара пощелкивает пальцами. –...Это как если у тебя в кости все время выпадает «Венера». Будь это самое разнаинастоящее чудо, ниспосланное свыше, хоть от твоего Аполлона, например – партнеры ведь не поверят, побьют! И не как чудотворца – как жулика. Вот на базарах по канату ходят, пускают огонь изо рта, у гуся голова прирастает, мальчика на твоих глазах разрубают на куски, а потом оживляют, он ходит, дает себя пощупать, – это что, чудеса? Но таковы все, все они, пойми, других нет! Как же Он станет творить «чудеса» в поношение и посмеяние своего имени, уподобясь египетскому магу?

– Чудо...

– Подлинные чудеса *есть*, но они не кажутся чудесами, их чудесность скрыта от человека, как скрыт и сам Господь. Его чудеса – это Его законы; они неотвратимы и непреодолимы. Чудо – это когда вдруг открываются, паря поверх плетней, где быть домам бы, внезапные, как вздох, моря. Такими чудесами полон мир! Чудо – человек. Невозможное, ошеломительное, непостижимое. Создать прочную семью, найти мужа для женщины и жену для мужчины – еще чудо Предвечного, такое же единственное для каждого и такое же невероятное, как и разделение вод Чермного моря. Творение чад – чудо...

Тиберий машет рукой:

– Ты говоришь о банальностях. А чудо – это чудо. Не загоняй его в рамки своего разумения.

– Здесь не может быть иного разумения! – горячо возражает Мара. – Он требует от нас выполнения наших мицвот¹ именно потому, что свято выполняет свои. Мы – Его со-работники в этом мире, а чудо немедленно лишает нас заслуг! Нате, мол, получайте, раз сами ничего не смогли!

– Так творение чад – чудо?

Мара кивает.

– А творение вот таких... – Тиберий судорожно сглатывает и показывает на колосса. – А создание державы, империи с ее лимесами², дорогами, акведуками, где на площадях бьют фонтаны, где каждый спокоен за завтрашний день, доволен и счастлив, где колосятся тучные нивы и море полно тугими парусами, где не молкнет разноголосый гомон в торговых рядах, где веско и обдуманно каждое слово сенатора, где цветут сады, смеются дети и...

–...И маршируют стальные когорты! – иронически подхватывает Мара. – Да пойми же ты, ничего, ничегошеньки настоящего, вечного не может создать человек, если он – не в Господе! Ни-че-го нельзя сотворить из безнравственных людей. Да, любое творение может выглядеть ослепительно. Таким когда-то был и этот...

¹ Заповедей (ивр.).

² Пограничные укрепления. От limit – граница (лат.).

Колосс... – она пренебрежительно тычет пальцем за спину. – Его сделал Карет родом из Линда, а имя это означает «Проклятый», «Извергнутый из народа». И он уже обрушился. Думаешь, тот, которого выстроил Август, будет прочнее?

– Которого выстроил Август?..

– Империя, Империя, сложенная, если ты еще не понял этого, из бездушных кирпичей. И не на извести сложенная, а на крови. А снаружи прикрытая сияющим блеском. Не все кирпичи глиняные, – есть и серебряные, и золотые...

– Я...

– И выступают эти кирпичи во главе процессий, надев маску мудрости и благородства, надув щеки, увенчав диадемой пышные кудри, черные или серебристые, в шитых золотом плащах и опоясаниях... Но оступился такой – диадема вдребезги, плащ разорван, из-под него – жалкие лохмотья, пропахшие мочой и путом, лицо испуганное, растерянное, отчаянное, в крови... Он-то знает, какая лютая и беспощадная ненависть ждет несчастливца и неудачника! Он знает, как собачья стая рвет в клочья раненную, визжащую от боли собаку...

– Я не кирпич!

– Именно потому ты и не император!

– Я...

– Но у тебя есть все шансы стать им! Ты в восторге от блеска Империи. Ты нутром, кишками хочешь ее, ты мечтаешь о ней – и, конечно же, о разумной, справедливой, светлой державе, где всем хорошо... – усмехается Мара. – Это и называется «оживлять идола». Доведись – и ты будешь искренне, самоотверженно, с любовью вкладывать душу в этот *труп*, даже не понимая, что это – всего лишь труп! Не видя, что «свет» и «справедливость» устраиваешь только *вокруг себя*, а чуть дальше, в пригородах, по лимесам – та же и еще бульшая кровь, та же грязь, та же нищета... Труп, оживая, всегда требует жертв, пьет живую кровь... Именно так существуют Честь, Свобода, Справедливость, Истина, Искусство... Но прежде всего – Родина, Отчизна, Держава...

– Родина – для тебя труп? – вскидывается Тиберий.

– Не родина! – протестует Мара. – Не родина! Родину

можно в несколько дней объехать на коне. Перекинуться словом с любым встречным. Выпить стаканчик вина, закусить сыром, яблоками, лепешками. Это родина. И никогда, и никому она не чужбина. А Империю пигмалионы лишь *называют* Родиной – и непременно с прописной буквы...

– Не понимаю, почему я позволяю тебе говорить все это, – бормочет он. – За меньшее людей отправляли на кресты... Я должен был бы арестовать тебя и представить в сенатскую комицию по расследованию антиримской деятельности...

В его голосе – не гнев, а просьба о пощаде и снисхождении; Мара прекрасно слышит это, и торжествует. Сегодня она не желает быть снисходительной:

– Это и значит пить кровь! Ведь ты был легатом! Тебе казалось, ты управлял легионами? Не ты ими, а они тобой! *Quid sunt regna si non latitudines magni*¹? Это – доля *любого* властителя. Легионарии и без тебя знают, что делать: убивать и грабить. Ты говорил им лишь кого и когда. Позволение на убийства они и называют законом: *salus populi suprema lex est*². Запрети им убивать – и увидишь, чего стоят твои запреты!

– Не послушают, – кивает он.

– Мало, что не послушают – ты сам, запретивший, где окажешься?

– Убьют, – соглашается он.

– Вот и весь ваш закон, вот его цена! – продолжает Мара торжествующим голосом. – Идолы требуют кровавых жертв. А нам Предвечный запретил убивать, запретил зариться на чужое добро. Он сотворил *Ам ха-Кодеш* – Святой Народ, святой именно потому, что не известь и глина, не бронзовые заклепки и стальные костыли, не приказы и знаки различия скрепляют его, а дух Господень. Мы повинемся одной лишь несомненной истине, полученной прямо от Бога. И потому нам пребывать вовеки, когда рухнут все царства и империи...

¹ Что такое царства, как не большие разбойничьи шайки (лат.).

² Благо народа – вот высший закон (лат.).

Тиберий потирает лоб, медленно снимает широкий и теплый палудаментум, расстилает его на траве, садится, делает Маре приглашающий жест. Рядом, в двух шагах, вздыхает море, его блеск виден отсюда, а вокруг – стена травы, пахнувшей йодом, морской свежестью, мятой... Трава шелестит под теплым бризом. Словно впервые видит он эти сияющие лазурные горизонты, словно от ее слов распахнулись они перед ним, и его неудержимо влечет туда, его пьянит и волнует что-то неизвестное, открытое перед ним ею...

– Пойми, – то ли жалуюсь, то ли оправдываясь бормочет он, – тот, кто не хочет содержать *свою* армию, будет содержать чужую. На востоке – Парфия, на севере – германцы, скифы... Распусти империя свои легионы – и наши города сожгут орды степных конных варваров... Если бы не это – первый сбросил бы латы и шлем, отдал бы меч меднику и бродил бы от таверны к таверне, пробовал бы в *йна* разных виноградников да внимал песням Лациума, его присловьям, сказкам...

Он не ждет ответа, он просто выговаривает, одно за другим, слова, которые хоть немного приглушают охватившую его томительную тоску, мечту о каком-то светлом мире, где не будет войн, мечей, доспехов... И вдруг Мара, словно подголосок, вступает в его тоскующее бормотание...

–...Воздух там пахнет травами, которых здесь нет, пьешь его, как мед... Стоишь на кургане, рядом всхрапывает конь, а на тебя, а на море ковыля и полыни низвергается водопад нежащего зноя... Звенят кузнечики, жужжат шмели... И вдруг точно и несомненно узнаешь: этот мир создан для меня! Творец все в нем устроил так, чтобы мне – любимой, долгожданной – понравился этот его дар... Нет, не могу, я не так рассказываю; ты не понимаешь...

Она лепечет, прижавшись к нему теплым боком, и он удивляется, как складно вплетаются ее слова в его мысли, как утишают они томящую его тоску...

– Ходил бы босиком по сизой цыплячьей росе, – бормочет он, вплетая свой голос в ее, – слушал бы

жаворонков, нюхал ромашки... Знаешь, они так горьковато пахнут...

Ему мерещатся какие-то голубые города, вокруг которых не дыбятся крепостные стены, плеск фонтанов, улыбчивые лица, песни, смех... Он замолкает, закрыв глаза – и во всем мире остается только ее голос:

«...И будет в те дни гора дома Господня поставлена во главу гор, и потекут к ней народы, и скажут: взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Ур-шолома. В тот день Отрасль Господа явится в красоте и чести, и Сын Человеческий – в величии и славе, для уцелевших сынов Израиля. И будет он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орапа, и копья свои – на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать...»¹

Клубок поднимается у него к горлу.

– Это – из ваших книг? – тихо спрашивает он.

– Это сказал Исая. Все, что он говорил, сбывается. Жизнь непременно станет прекрасной песнею, и мы – мы с тобой – будем жить в то время...

– И когда это будет?

– Вижу его, но его еще нет; зрю его, но не близко...

– А до тех пор?

– Ждать, – разводит руками Мара. – Верить в прекрасную песню... Мы должны выжить, не имеем права погибнуть, как народ, как *святой* народ, – подчеркнула она, – потому что...

– Потому что?

– Тогда погибнут *все, весь мир*. Низвергнется во тьму полного и всеобщего идолопоклонства – и сгниет в своем самодовольстве, как мясо без соли. И хорошо, если только сгниет. Если, не дай Господь, на земле в какой-то момент не найдется хотя бы десяти праведников, на нее в тот же миг дождем прольются сера и огонь!

– И где можно увидеть хоть одного такого... праведника?

¹ Исая, II: 2-4.

– Где угодно! В Ур-шоломе. У ворот Рима. На здешнем базаре...

– А как его узнать?

– Он делится с нищими коркой хлеба, подносит воду жаждущим и меняет страждущим повязки на их гнойных язвах. Сегодня для нас главное – это. Потому что мы не выживем без деятельного милосердия...

– Д-да... – мычит Тиберий. – Как вы вообще находите место в Империи?.. В мире, ошестинившемся мечами и копьями?.. Народ-призрак... Не понимаю: как вы... да как любой человек может жить, смирившись с чужой властью, не смея с мечом в руке завоевать счастье!

– *Завоевать* счастье *нельзя*, – холодно отвечает Мара. – Его можно только *построить*, как дом, как город. Впрочем, у нас был опыт – и завоеваний, и строительства...

– Ах да, у вас ведь тоже были цари?.. – поворачивается к ней Тиберий. – Вели войны? Или нет?

– Были. Величайший – царь Давид. Он воевал, он очищал от врагов землю, данную нам Предвечным. Но когда он решил построить дом Предвечному и купил издревле святую гору, Сион, – он смог лишь заложить фундамент: построить Храм ему не было дано, ибо он проливал кровь. Да ведь и у египтян, и у греков убийство – неодолимое препятствие к посвящению в мистерии... Но не у вас, римлян...

Тиберий поежился.

– Завершить святое дело удостоился сын его, Шломо. Он не вел войн. Он просил у Господа мудрости, и тот дал ее ему. Он первым понял, что войны в конечном счете ничего не дают, и решил полюбовно договориться о мире с соседями, пусть даже идолопоклонниками. Он заключил союзы со всеми соседними государствами, переженился, как в те времена было принято, на всех чужеземных принцессах, терпимо относился к ловцам ветра и почитателям вздорной суеты, позволял им строить их храмы... В его дни процвела торговля...

– Ну? И почему это не удалось?

– Не удалось, – коротко отвечает Мара.

– И с тех самых пор...

– То была преждевременная попытка. Шломо строил Бейт а-Микдош и знал, что ему суждено быть разрушенным. И вот... Заплели пауки паутиной царские входы, и ночные совы ухают на уступах сторожевых башен...

Тиберий молча смотрит на нее.

– Ты говоришь: чудо, – другим тоном продолжает она. – Господь действительно сотворит для нас чудо, но, как и всегда, такое, которое никто чудом не сочтет. Как Иона, сойдем мы в чрево *даг гадол*¹ – кетос, кита, как выражаются греки, – и не погибнем в его чреве, не исчезнем, сохранимся, доживем до времен, когда мир выбродит, как вино. Перекипит всеми войнами, конфликтами, столкновениями, схватками...

– Не вмешиваясь в них?

Она порывисто поворачивается к нему, приближает лицо, став на колени и опираясь руками на плащ:

– Что ж я, не понимаю, что ли, что сегодняшней мир во власти идолов? Понимаю. И то понимаю, что одним мановением руки этого не избыть. И то знаю, что идолов *можно различать* по степени гнусности. Те, кто *только поджаривает* свои жертвы *ad maiorem gloriam Dei*² могут, видимо, с гневом и недоумением смотреть на тех, кто *не только поджаривает, но и ест* эти жертвы, называть их извергами и людоедами. Но ведь и те, кто ест, вправе назвать тех, кто только поджаривает, гнусными лицемерами, впуская переводящими добро? А? Готов ли ты рассудить их? Чей гнев справедливее? Чье недоумение обоснованнее? И готов ли ты стать на любую сторону, с оружием в руках отстаивать *такую* справедливость?

– О чем ты, собственно? – досадливо морщится Тиберий. – Кто поджаривает? Кто ест?

– Пойми: *мы* не можем, не должны становиться на сторону одних убийц против других потому только, что их злодеяния *менее чудовищны!* Кто угодно, но не мы. Не мы!

¹ Великой рыбы (ивр.).

² Ради вящей славы Господней (лат.)

Мы должны и мы будем ждать, пока земные владыки не придут к тому, к чему пришел Шломо. Если еще придут...

– А объяснить им?

– Невозможно. Не поймут.

– Я-то ведь понял!

Мара смотрит на него удлинёнными горячими глазами:

– Может быть, ты и понял... Но ты пока еще не владыка.

И если *они* узнают – или решат, – что ты *понял*, – ты никогда не станешь владыкой. Они просто не допустят тебя к власти... Или – убьют.

– И ты сам это знаешь, – добавляет она, помолчав.

Тиберий долго молчит, потом поднимается, идет к Колоссу и впивается в него взглядом, заведя руки за спину, мнет одну ладонь другой. Мара смотрит ему в спину, не видит его взгляда. Что в нем? Ненависть? Брезгливость?

Туман давно рассеялся, солнце взошло, и теперь ясно, что руины Колосса высятся на северной оконечности дигмы – обширного и почти неиспользуемого пространства между гаванью и городской стеной. Вокруг топорщится кустарник; ближе к стенам – склады и сараи. Хорошо видны башни, ворота и стоящий почти сразу за ними храм Афродиты Элевтерии (Свободы), приют портовых девок. А дальше – мраморно-зеленые террасы, которыми Родос поднимается от гавани к горам. Зелень платанов, маслин и сикомор, пифийский храм, недавно роскошно отстроенный на деньги Герода, ступени амфитеатра, вырубленного в горе и над ним – высочайшая точка города, святилище Гелиоса...

Тиберий полуоборачивается, глаза его потуплены, Мара впивается глазами в его лицо, – но не может понять его выражения. Оно не равнодушно, не высокомерно, не растеряно, нет – оно *опрокинуто*. Из него ушла жизнь, оно мертво. Оно *пусто*, как ивовая корзина, как ячменная лепешка. Тиберий понимает, что не справился с лицом, и резко отворачивается; руки его сжаты в кулаки.

– Ну и место выбрали, – указывает, наконец, он на Колосса, и принужденно покашливает; он уже натянул на лицо почти равнодушную усмешку. – А говорили – ногами

он опирается на портовые молы, а между ними, не опуская парусов, проходят корабли...

– Так ты знал о нем? – удивляется Мара.

– Чего ему от меня надо? – скрежещет он зубами; лицо его наконец-то оживает.

Мара догадывается, что «он» здесь – не Колосс, а Август.

– Убедиться, что ты – воистину голем, – роняет она. – Что на тебе нет маски, за которой – «безверие», «пустота» и «древний хаос»... И он успокоится: империя в надежных руках...

– Маски? Простецкий, свой парень?

– Они любят говорить: «Будь проще!..»

Тиберий круто поворачивается к ней, челюсти его словно судорога сводит:

– Я полководец!.. Я трибун...

– Была Троя, были вы троянцы...

И снова молчание, такое долгое, что можно развести костер и зажарить утку.

–...Только этого мало... – слышит Мара невнятное бормотание.

– Что?

Он подходит к ней в упор, хватая за плечи:

– Слушай! – выдыхает он свистящим шепотом, глаза его горят. – Он не дождетя этого! Я не голем. Я человек. Я клянусь тебе, слышишь...

– Не клянись, – шепчет она. – Не клянись, пожалуйста...

– Я люблю тебя! Ты – единственное, что важно мне в этом мире! Я куплю домик, мы будем только вдвоем... в блаженном неведении... обо всей этой крови и грязи... Будем жить! Будем жить! Пусть провалятся в Тартар Парфия, и Паннония – всё!..

Он выпрямляется, сжимает кулаки и кричит, повернувшись к колоссу:

– Пусть провалится в Тартар Рим!

– Хватит, – говорит она, положив палец ему на губы. – Хватит. Ты все понял. Я рада. Но ты устал. Ты не выспался. Поехали назад.

Тиберий отирает рукой лицо, молча поворачивается и направляется к лодке. Мара задерживается; она

прикрывает глаза, складывает ладошки и что-то шепчет. Если прислушаться – можно разобрать: «Благословен ты, Адони, господи наш, что дал нам дожить до этого дня...»

Глава 9. ИСЦЕЛЕНИЯ

– В городе, наверно, немало моих ветеранов-калек? – буркнул Тиберий Лонгу.

– Сделать поименный список? Какой кампании – парфянской, паннонской, германской?..

– Какая разница? Все они проливали кровь под римскими орлами. Я просто хотел бы увидеть их... Спросить бывших соратников, не ноют ли их раны...

Лонг лишь плечами пожал. Ему не нравилась эта сентиментальность, он видел в ней дурное влияние Мары.

– Десятки высоких гостей отовсюду – с Востока, из Египта, Фригии, Ливии, даже из Рима ждут аудиенции, а ты недоступен с тех пор, как рядом появилась эта девчонка, – ворчит он в ответ. – А теперь еще калеки... Берегись: первые люди империи проникнутся к тебе... неодобрением...

– Я приму их. Всех сразу. Но... не завтра. Я хочу объявить о своей помолвке...

У Лонга и челюсть отвалилась.

– С *ней*? – не поверил он.

– С *ней*! – ответил Тиберий так, словно это было неким триумфом.

– По римским законам? – снова переспросил Лонг.

Тиберий кивнул. Лонг закрыл рот, пристукнув ладонью снизу по подбородку.

– Но тогда надо просить позволения у божественного Августа! Почта – завтра, возможно, утром, – стал высчитывать он. – Три дня туда, три – обратно... И еще как он ответит! Он ведь наверняка откажет!

– Женюсь, даже если откажет! – возразил Тиберий.

Лонг пожал плечами.

– Простись с мыслями о престоле! А как же *мы*?

Тиберий взглянул на него:

– Начинай готовить пир. Звать всех! На улицах Камироса выставить бочки, жарить быков! Хлеб, зелень... словом, распорядись!

И ушел спать. Лонг сокрушенно покачал начинавшей сесть головой. То, что делает Тиберий – предательство. Ради этой... этой... девчонки он перечеркивает судьбы всех своих соратников!

Вызвал Юлия Макрона, центуриона фацистов, и велел наутро собрать в городской портик всех ветеранов.

– Калек, увечных, нищих, – ворчал он. – Хозяин решил самолично провести раздачу...

Потом долго шептался со Стацием.

– Калеки собраны, – с едва заметной иронией сказал Лонг, как только утром Тиберий открыл глаза. Рядом стояли Вескуларий Флакк, у опечатанных кожаных кошель, и Юлий Макрон со стенографистками. – И почта пришла.

Он ткнул пальцем в мешки с серебром.

Тиберий рывком вскочил, выхватил у Лонга из рук письмо. Позволил ли Август вернуться в Рим? И что делать с Марой, если позволил? Сразу везти с собой? Или сначала съездить самому, подготовить почву, а там уж...

Стукнули о пол тяжелые пюмбы со свитка, начертанного рукой Августа. Приветы, последние городские анекдоты, бытовые мелочи, новое о судьбах родственников и знакомых... Август никогда не изменял своему легкому, чуть ироничному тону, в котором ясно слышалось: только мы с тобой способны правильно оценить всю эту чепуху, а остальным можно предоставить барахтаться в своих заблуждениях. С парфянских времен Тиберий высоко ценил этот тон, и лишь в последнее время начал понимать, что ирония писем в какой-то мере относится и к нему самому...

Но где же, где же... А! Вот: «*что же касается просьбы твоей о позволении вернуться в Рим, ибо после утраты трибунских полномочий, как ты пишешь, должны отпасть любые подозрения в соперничестве твоём с Гаем и Луцием... мы здесь думали и советовались...*» Ну?! «*...но соперничества такого нигде, кроме мнения твоего, и не существовало, а пребывание твое на Родосе, как говорят здесь, идет на пользу и твоему здоровью, и твоим этнографическим и филологическим изысканиям,*

охоте за старинными и обветшалыми словами. Поэтому мы сочли за лучшее, чтобы ты продолжил свое пребывание там, оставив всякую заботу о родственниках, которых сам с такой охотой покинул...»

Как?! Во имя Юпитера! Август отказывает ему!

И с какой еще обидой!

Тиберий уронил свиток на стол. Кто же он теперь? Ведь это действительно ссылка, о которой говорил он и прежде, но в шутку, только в шутку...

Это ссылка.

Остановившимся взглядом уперся он в кожаные мешки с сестерциями. Что ж, хоть в деньгах ему не отказано... *На этот раз не отказано.* А если Август перестанет высылать их? А эта вилла? Она ведь тоже принадлежит Августу...

Он забросил обычные упражнения с конем и оружием, отказался от отеческой одежды, надел греческий плащ и сандалии...

Светоний, Жизнь 12 цезарей, Тиберий, 13 (1).

...Рабыня-вестиплика держит тогу наготове, на распяленных пальцах. Тиберий отрицательно качает головой. Ни тога, ни башмаки ему больше не понадобятся. Может быть, никогда не понадобятся. Он велит принести паллиум и сандалии.

Нужно еще раз осмотреть тот рыбацкий домик, что он давно уже присмотрел... И сегодня же купить его. Пока новость еще не распространилась, иначе заломят... И обе фелуки, что предлагали ему. И нужно поискать еще хороших фелук на продажу. Он будет сдавать их рыбакам по принятым ценам... Нужно думать, как – на какие шиши – жить завтра...

Но все это – не через Лонга. Лонгу этого знать не надо.

Может, этот старик? Ицхак бен Давид, воспитатель Мары?

– Позови молодую госпожу, – велит он рабу. Смотреть рыбацкий домик они поедут вместе. Ей тоже жить там.

– Что же калеки? – спрашивает Лонг.

– А что с завтраком? – скучающим тоном говорит он, и тут же понимает: это не тот тон, за ним не спрячешь катастрофический смысл письма. И он *весело и спокойно* выдавливает из себя:

– Оставьте меня. Я хочу поговорить с госпожой...

– У тебя уже и госпожа появилась, – выходя, иронически бросает Лонг через плечо.

Легко отказываться от царства, если знаешь: никуда оно не уйдет, его будут навязывать, липнуть с уговорами... Но вот вместо уговоров – обида, упрек, и в конечном счете отказ... Почему так больно? Ведь только вчера он кричал Лонгу: «Мне не нужен престол!»

Значит, нужен все-таки? Значит, все-таки нужен?..

Это не было мыслями: это были слова, механически вертящиеся в голове в такт с редкими и тяжелыми вдохами, с трудом преодолевавшими сопротивление не желающих расширяться легких. В голове же его не было ничего, кроме шелеста серебристо-зеленых крон платанов, млеющих в полуденном зное...

Он вздрагивает, услышав за спиной ее вопросительный голос.

– Зачем звал?

– Знаешь, мне кажется, что не было ни парфянской, ни паннонской кампаний... вообще ничего нет, и уже никогда не будет... Только эти платаны... – бормотал он, и поражался, до чего жалобно звучит его голос.

– Что, что случилось? – вскидывается Мара.

Он молча указывает на письмо. Оно так и лежит на столе, а сорванные плюмбы напоминают сгустки запекшейся крови.

Она читает его – раз, потом другой, медленнее, шевеля губами.

– А ты говорила... – не может он скрыть упрека.

– Ты как ребенок, – спокойно и ласково улыбается Мара.

– Большой ребенок. Если бы он решил, как ты думаешь, он бы послал не письмо, а центуриона с приказом вскрыть вены, и манипулом легионариев – для убедительности. Он ничего не решил. Он продолжает проверять.

– Проверять? – в голосе Тиберия всплескивается неожиданная для него самая надежда. – Но сколько же можно...

– А почему ты в химатии? – недовольно спрашивает Мара. – Брось эту чепуху! Надень тогу. У тебя сегодня встреча с однополчанами – ты не забыл?

...Он сказал, что хотел бы посетить всех больных в городе; присутствующие неправильно его поняли, и был издан приказ принести всех больных в городской портик и уложить, глядя по тому, у кого какая болезнь. Пораженный этой неожиданностью, Тиберий долго не знал, что делать...

Светоний, Жизнь 12 цезарей, Тиберий, 11 (2).

Солнце заливает площадь жарким светом, тени – короткие, резкие, словно высеченные в булыжниках мостовой. По ним прыгают с веселым чириканьем воробьи, топчутся тяжелые, раскормленные голуби, подбирая крошки.

Раненые, увечные, калеки, вытасенные по приказу Лонга из привычных своих закутков сюда, в палестру, стараются отыскать тень: кучкуются у спящих мраморных колонн, прикрывают головы убогими рогожками.

–...И тут Эскулап повелел ему взять кровь белого петуха, смешать ее с медом и желчью рыбы, растереть все это в мазь и в течение трех дней мазать глаза. И Валерий Априз прозрел! Он прозрел, истинный бог, прозрел, и пришел в храм, и всенародно возблагодарил Аполлона-целителя!

Рассказчик яростно жестикулирует, стараясь убедить слушателей. Многие толпятся около него, иные восторженно ахают и переспрашивают, но на лицах большинства – скепсис и сомнение.

– Богу не нужны ни мед, ни желчь! – возражает кто-то. – Ему довольно было бы просто коснуться несчастного!

– А еще проще – не ввергать его в несчастье, – цинично замечает другой, яростно расчесывая включенные и слипшиеся от жары волосы. – Почему Юпитер попустил, чтобы мне отсекали руку? Разве я шел в бой не под

императорскими значками?

Тиберий входит в палестру через портик – грустный, с опущенной головой, в простой серой тоге без украшений. Следом за ним движется свита. Они не вняли не понятой ими просьбе Тиберия и явились в шелках и золоте, с драгоценными камнями на шеях и в прическах. Отвесно падают лучи полуденного солнца, стоят прозрачно-пыльными столбами, заставляют блестеть шелк, мягким затаенным пламенем переливаются в бархате, зажигают блеском драгоценные камни, горят на золотых и серебряных украшениях, жарким блеском отражаются в бронзе щитов и шлемов... Но в толпе, собранной на палестре, нечему сиять и гореть. Только лохмотья, только нищета, голод и увечья собраны здесь, и ангел, доведись ему пролетать над палестрой, подумал бы, что к жалкой и грязной дерюжке по чьему-то вздорному капризу пришта усыпанная самоцветами и стеклярусом парчовая латка.

Тиберий смущен, он ищет – и не может найти в себе ту верную ноту, с которой он начнет разговор со своими искалеченными ветеранами. Честно сказать, ему не очень-то и хочется их видеть. Впрочем, их не так уж и много, – видимо, Лонг допустил в палестру только ветеранов, бывших легионариев, не позволив присутствовать здесь профессиональным нищим с их фальшивыми язвами.

Слова Мары – «он меняет страждущим повязки на их гнойных язвах» – приведшие его в какой-то странный энтузиазм там, у подножия Колосса – здесь и теперь вызывают в нем только брезгливость. Он видит эти повязки на многих: буро-желтые, серо-пыльные, пропитанные кровью, гноем и невероятными мазями – из горной смолы, из свиного жира с добавками высушенных и растолченных рыб и трав. А некоторые привязали ремешками к своим язвам вываренных скорпионов, ящериц, пауков... Во имя Аполлона Целителя, ну и запах от них! А у других и повязок нет – они выставляют свои багровые, сочащиеся язвы напоказ, стараясь хоть этим пробудить у горожан спасительную жалость...

«Делится с нищими коркой хлеба, подносит воду

жаждущим...». Вот это реальнее.

Он подходит к первому инвалиду в перистиле:

– Где служил?

– В Армении, под твоими орлами! – хрипит ветеран.

У инвалида нет обеих ног.

– Как это случилось? – указывает Тиберий на его ноги.

– Перебило горящим бревном, когда брали Артаксату, – хмуро отвечает тот. – Остальное лекарь отпилил...

– Сенат и римский народ помнят о тебе, – говорит Тиберий, стараясь, чтобы слова эти прозвучали если и не убедительно, то, по крайней мере, внятно, но чувствуя, что они проваливаются в пустоту. Он оборачивается, берет у Флакка несколько сестерциев... Ветеран принимает их мягкой рукой с давно сошедшими мозолями:

– Ты мог бы сделать и больше!

– Больше? Тебе мало? Чего ты хочешь еще? Октапода в уксусе?

– Рядом базар, – хрипит бывший легионарий. – Вечером, когда ряды закрываются, в корзинах остаются фрукты, овощи – да, гнилые, да, червивые, да, отвергнутые покупателями. Но кто сказал, что они невкусны? Просто я, безногий, не успеваю за более проворными...

– А! – соображает Тиберий. И – негромко – Лонгу:

– Мамерка Панкрация сюда!

– Кто это?

Тиберий меряет его холодным взглядом:

– Тебе следовало бы знать! Великий жрец храма Аполлона. Передай ему слова ветерана, и вели – пусть начинает сейчас же! Пусть пошлет служителей храма за бракованными фруктами на базар. И – не только фрукты. Все, что хозяева отдают даром. Черствые вчерашние лепешки из пекарен. Мелкую рыбу, которую не взяли оптовые покупатели в рыбном порту – ее все равно выбрасывают. Мясо... Впрочем, думай сам – и ко мне. С Панкрацием и с докладом!

– А девок им не надо? – ворчит Лонг.

– Я сказал – живо!

Порхнул ветерок, вероятно, прохладный там, в высоте, над кровлями, но жаркий и душный здесь, рядом с раскаленными землей и стенами.

– Сенат и римский народ помнят о вас, – восклицает Тиберий, и на этот раз слова его звучат с достойным пафосом. – Вы отдали Родине самое дорогое, что у вас есть – свою плоть, свое здоровье. Ваши руки отсечены, ваши ноги переломаны, ваши зубы стерты песком и разъедены горькой водой. Вы потеряли глаза, вы утратили слух, – но, клянусь, вы не забыты и никогда не будете забыты Римом! Я позабочусь, чтобы зимой вам было тепло, а летом – прохладно, и чтобы вам было сытно в любое время года! Не сетуйте, что столь долго вы были лишены отеческой заботы! Отныне вы ее никогда не будете лишены! Не негодуйте в сердце своем, что не сразу Отчизна вспомнила о вас! Она вспомнила, и более не забудет! Не плачьте, утешьтесь, отрите свои слезы! Вы получите все, на что имеет право воин, сражавшийся за Родину!

Тиберий переходит к другому ветерану. Тот с готовностью выставляет ногу, замотанную гноящимися повязками. Тиберий оглядывается на Мару. Она кивает ему, в ее глазах – буквально ликование. Чему она так рада? С тяжким вздохом Тиберий опускается на колено и начинает разматывать повязку. Флакк, морщась от вони, подает ему заранее заготовленные чистые холсты, банку с мазью, еще кто-то гроыхает медным тазом, держит наготове кувшин с водой...

– Ну, во имя Аполлона! – и, про себя: «За что мне это?»

Он подходит к слепому в жалком нищенском рубище. Тот сидит, скрестив ноги; беловатые глаза его закатились куда-то под лоб, в их уголках – желтоватый гной. Слепец ощупывает руками воздух, неловко наталкивается на руку Тиберия, выбивает из нее сестерции, и они падают, глухо шлепаются в смесь песка с опилками, которой засыпана палестра. Кто-то бросается подбирать их, а слепец надолго прижимает к своему лицу, к губам эту руку...

«Хорошо хоть не к глазам, не к этому гною» – невольно думает Тиберий, уступая ему.

А потом слепец отпускает его, растерянно поднимается, покачиваясь и нелепо взмахивая руками, и шепчет:

– Во имя Аполлона Целителя! Я вижу!

И таков этот шепот, что его слышат и те, кто стоит рядом, и те, кто стоит чуть подальше, и те, кто стоят и сидят у самых колонн палестры – они тоже слышат этот шепот. Словно ветерок прошелестел по палестре – и сразу стих. Все замирают, повернув головы туда, откуда раздалась эти слова. Опускается невероятная тишина – только мухи гудят над язвами, только воробьи и голуби чирикают и воркуют по ту сторону колонн да с недалекого отсюда базара приглушенно доносятся вопли продавцов, покупателей, погонщиков и носильщиков, рев ослов и верблюдов, звон бронзовой утвари.

– Я вижу! Вижу! – кричит слепец высоким, срывающимся от восторга и счастья голосом. – Это – небо! Это – солнце! Это – колонна! А это – ты, божественный Тиберий, исцелитель, посланный богами нам на счастье!

И он дрожащей рукой указывает то в небо, то на Тиберию. На глазах его нет больше беловатой пленки, нет и гноя в их уголках. Серовато-голубые, они прозрачны, ясны и пусты, как безоблачное летнее небо.

Толпа недоверчиво гудит, сдвигаясь вокруг исцеленного. Кто-то спрашивает, сколько пальцев он показал, – и бывший слепец отвечает без ошибки, отвечает таким голосом, по дрожи которого становится ясно: он сам еще не вполне верит, что прозрел, он еще боится, не случится ли обратное превращение, не швырнет ли его снова судьба в океан вечной тьмы. Впрочем, так же дрожал бы и голос того, кто думает, что его сейчас будут бить...

И когда ветераны убеждаются, что слепец действительно прозрел, они – один за другим – начинают поворачиваться к Тиберию.

Он стоит неподвижно, опустив руки, растерянный, недоумевающий. Он удивленно оглядывается на Мару, но та, остолбенев от неожиданности, с широко раскрытыми глазами медленно бормочет:

– Этого... не может... быть... Так... не бывает!..

Диана смотрит на Мару с ненавистью... и вдруг глаза ее взблескивают. Она что-то придумала.

А толпа, глухо гудя и рокоча, теснится к Тиберию. Никто не смеет перейти некую незримую черту, все останавливаются в двух шагах от него, но задние проталкиваются, напирают, и передние вынуждены все время на ступню, на пол-шажка подвигаться к центру полукруга. Глаза людей загораются жадным, неутолимимым огнем: потерявшие надежду на земное счастье, эти люди обрели вдруг веру в чудо. Ожидание становится непереносимым. Толпа колыхается, волнуется, то там, то здесь раздаются стоны, всхлипывания... И вот, наконец, кто-то не выдерживает, бросается перед Тиберием на колени и вопит, воздев руки:

– А я! А меня!

Правая рука у него нелепо вывернута и все время трясется, пальцы ее скрючены в вечной судороге. На предплечье – жуткий шрам с вывороченными краями.

– А меня, – шепчет сухорукий, поймав глазами взгляд Тиберия.

Толпа снова замирает, останавливается, лишь в задних рядах еще слышнее возня, неясный шум и мычанье.

– Где это тебя так? – едва выдавливает из себя Тиберий, понимая, что должен что-то сказать.

– Стрела... парфянская... – бормочет сухорукий, и неловким, нелепым движением протягивает к Тиберию искалеченные, скрюченные пальцы. – Исцели!

Тиберий касается его руки своей. Да, именно так должна выглядеть рука, пробитая парфянской стрелой с зубчатым наконечником... Он абсолютно не представляет себе, что же нужно делать дальше? Но ему ничего уже не надо делать! Скрюченные пальцы вдруг начинают шевелиться, рука выпрямляется, сам собой вправляется чудовищный вывих плеча, а бывший сухорукий растерянно смотрит на нее, шевелит послушными теперь пальцами и быстро-быстро бормочет:

– Тиберий-Эскулап, Тиберий-Аполлон, Тиберий-Целитель...

Фацисты, растерянные не менее легионариев, забывают о своем долге: Лонга нет, и некому подсказать им, что сейчас произойдет. И это происходит: сбивая друг друга с ног, вся толпа единым движением рвется к Тиберию, и каждый отчаянно вопит:

– А я! А меня!

Свита разом отхлынула от Тиберия, подбирая полы tog и платьев. Фацистам едва удается выхватить его чуть ли не из под ног толпы, живым щитом отгородить от отчаянно рвущихся к нему и вопящих легионариев-ветеранов. Им помогает то, что на месте, где Тиберий только что стоял, мгновенно образуется гора сбитых с ног тел, сквозь которую не так-то просто прорваться. Они чуть ли не силой впахивают Тиберия в зачем-то стоящую наготове лектику (Лонг, что ли, распорядился), возносят ее на собственных руках, помогая носильщикам, и бегут к вилле, бросив свиту на произвол судьбы.

– Мара! Мара! – кричит Тиберий. – Да остановитесь же вы, скоты! – и он хлещет их ладонями по плечам, по головам. – Мара!

Лектика приостанавливается, двое фацистов бегом возвращаются к палестре, хватают Мару под локотки, несут на руках, подсаживают в лектику и продолжают бег.

Неизвестно, что бы произошло далее, если бы на ступенях палестры не появились Лонг с Мамерком. Лонг, мгновенно оценив ситуацию, распоряжается: никто из ветеранов не должен последовать за Тиберием. Фацисты рассыпаются по периметру колоннады, опустив копыя так (каждый держит за конец и свое копьё, и копьё соседа), что они образуют ограду. Выпускают только тех, кто принадлежал к свите Тиберия. И лишь затем в палестру, скрипя и погромыхая, въезжает тележка, нагруженная черствыми лепешками. Не успевают фацисты навести хоть какой-то порядок, а в палестру въезжает еще одна тележка, с фруктами, а потом еще одна – с бочкой вина. Калеки помаленьку приходят в себя, поднимаются, отряхивают пыль, песок и опилки с одежд, подтягиваются к

тележкам – сначала к той, где вино, и уж затем берут лепешки, фрукты. А потом подъезжает и тележка с рыбой. Задержка вышла потому, что рыбу сразу же и испекли.

Увечные легионарии ликуют. Уже кое-где слышатся здравицы Тиберию, пьяное бормотание.

– Это Мара! – громко говорит Диана, войдя в толпу легионариев. – Это Мара! Эта сирийская ведьма увела нашего Тиберия! Она не захотела, чтоб он продолжал исцеления!

Легионарии отмахиваются от нее, жуют черствые хлебцы, поднимают глиняные плошки с вином, протягивают их ей.

– Выпей! Выпей с нами за здоровье Тиберия-Эскулапа! – восклицает ей то один, то другой, осушая чашу или роясь липкими пальцами в рыбьих потрохах.

Она не обращает внимания, когда сальные от похоти взгляды шарят по ней, словно раздевая ее; она словно не замечает, когда жирные от рыбы руки шлепают ее по заднику, обтянутому мерцающим шелком. Она переходит от одной кучки ветеранов к другой, она дергает их за рукава, заглядывает им в глаза и говорит, говорит:

– Это Мара не захотела, чтобы наш Тиберий продолжал исцеления! *Они все* не хотят, чтобы наши воины исцелялись!

И кто-то, озадаченно крутя головой, бормочет соседу:

– Ты слышал? Эта еврейка, которая репехом прицепилась к Тиберию, не позволила ему исцелять дальше! А не то он и мне бы приделал отрубленную руку!

– Шутишь?

– Истинный бог!.. Если б не еврейка, он бы залечил все наши раны! А еврейке так приказал их кагал!

– Залечил бы! Беспременно залечил!

– Он хотел исцелять и дальше, но эта чернявая курва утащила его от нас!

– *Они все* не хотят, чтобы мы были здоровыми!

Толпа слитно колышется, чернея в сумерках живой

шумной громадой вокруг телег с едой. Становится темно, об освещении никто не позаботился – но и тележки быстро пустеют. Когда на палестру окончательно опускается темнота, на песке, смешанном с опилками остаются только рыбы головы, хребты да хлебные крошки.

Наутро мусорщики набрали в палестре двенадцать полных корзин корок и рыбьих объедков.

Глава 10. ФРАСИЛЛ

«Вот и дождались», – меланхолично подумал Тиберий, когда взволнованный фацист разбудил его и сообщил, что на входящей в порт почтовой биреме – отряд легионариев.

Что это за мир, где на встречу с гонцом от отчима идешь с тем же чувством, что и в бой с варварами?

Тиберий поправляет складки тоги, готовясь забраться в лектику, и невольно оглядывается назад, на сине-зеленый, косматый горный массив, сползающий в самое море. За горами только-только начинает розоветь, вьются волокна тумана. Среди леса – масса серо-голубоватых проплешин, это осыпи либо скалы... Говорят, там есть пещеры. Хорошо отшельнику! Охпка душистого сена в пещере, маслины, лесные груши, кристальная вода горных рек...

Тиберий думает о них и удивляется нелепости своих мыслей. Разве центурия легионариев на почтовом корабле – причина, чтобы думать о побеге? Побеге, квиниты, я сказал *побеге*, ибо именно эта мысль мелькнула в моей голове. И не о том побеге, который тянется, зеленея, от корня, и который, собственно, не побег, а отрасль, а о том, что уместен лишь в голове трусливой девчонки¹...

Юпитер Капитолийский, охрани меня от зла, я, кажется, заговариваюсь!

Воинская служба начинается с присяги, со священного запрета бежать от орлов легиона. Лишь после этого от воина можно требовать идти в бой, убивать и умирать. Я всегда старался, чтобы измена не закралась в сердце последнего из моих велитов. Неужели она закралась в мое собственное?

Смерти я не боюсь. Так Квинт Цедиций¹ говорил своим воинам: «Взять этот мост необходимо, а вернуться назад – уж как получится».

На причале появиться необходимо.

¹ В оригинале – почти непереводаемая игра омонимами *virgo* (отрасль, отросток, веточка, побег) и *virgo* (дева, девственница).

¹ Военный трибун времен первой Пунической войны.

Тиберий снова оглядывается на голубые отроги гор, на розоватые облака, легко повисшие над ними в неохватной небесной синеве. А как пахнет шиповник в горных ущельях!..

Он наклоняется и хлопает по плечу одного из черных рабов, несущих лектику:

– Быстрее, быстрее!

И натягивает на лицо добродушную ухмылку. Нужно быть проще.

...Легионарии толпятся у бортов биремы, обмениваясь мнениями об острове и перекидываясь острыми словечками с портовыми девками, – эти не пропустят ни одного приходящего судна, даже в такую рань. Между тем на причал сходит группа людей в богатых тогах, пестрящих пурпуром, обшитых по свободному краю золотыми бляшками, в ожерельях и запястьях. Четверо – в шлемах, алых воинских плащах и сияющих латах, украшенных многочисленными фалерами¹, пряжками и цепочками.

Каждый из них, заметив Тиберию и окружавшую его свиту, еще издали, только ступив на землю, вскидывает в приветствии открытую ладонь.

Впереди всех – невысокий мужчина в серой тоге без всяких украшений, с простым и открытым улыбчивым лицом.

– Кто сей? – с рассеянным видом спрашивает Тиберий, внутренне, однако, весь подобрившись.

– Авл Фрасилл, – с непонятым смущением бормочет Лонг. – Начинал как *agens in rebus*². Я знал его по Риму... Ты ведь хотел выписать предсказателя и знатока фабул – так это он! Надежда школы александрийских софистов. Ученик Лисимаха Александрийского и Аполлония Молона...

– О Молоне слышал, – кивает Тиберий.

– Да, он здешний, родосский, у него учились и Юлий Цезарь, и Цицерон...

¹ Воинские награды в виде металлических блях с рельефными изображениями.

² Агент императорской секретной службы (лат.).

– Жаль, я его не застал в живых. Но, может быть, ученик не хуже учителя? А сан его, титулы, должность?

– Официально – никто и ничто, не сенатор, даже не квестор. Одно время был военным трибуном. Но не обманись, это – глаза и пальцы Августа...

– Пальцы?

– Есть великие дела, которые не под силу легионам, но вершатся своевременной улыбкой, шепотом, намеком...

– А-а! – хмыкает Тиберий и потирает пальцами. – Ну, это... С этим мы разберемся...

– Он *чудотворец!* – торопливо шепчет Лонг; гости уже совсем рядом. – Подлинный чудотворец! Для него нет ничего невозможного! Август посылает его туда, где уже никто другой не справится... И не было еще случая...

Фрасилл просто и дружелюбно представляет свою свиту:

– Сульпиция Квирина представлять не надо, он на Родосе частый гость. Но у него очередное назначение: временно, в связи с событиями в Киликии, он – легат V Македонского легиона, откуда, собственно, и центурии взяты. Марк Кассий тоже в представлении не нуждается – генеральный откупщик Родоса, он бывает здесь каждый год, – да ведь и время сбора налогов подошло!.. Семпроний Квинт – член коллегии фламиев. Гай Гортензий, Фабий Максим – члены коллегии августалов. Валерий Руф, Теренций Латин, Элиан Секунд – центурионы, отличные ребята, и в огонь, и в воду... Публий Андроник – мой секретарь, бесценный человек...

«Ого! – думает Тиберий. – Целая инспекционная комиция! И каков уровень! Гораздо выше, чем я думал. А вот зачем так много жрецов?..»

Центурионы сразу же после церемонии приветствия исчезают – выгружать войска. Юлий Макрон уходит с ними – показывать, распоряжаться.

– Чем обязан? – приветливо спрашивает Тиберий.

– О, ничего особенного! – улыбается Фрасилл. – Пишу комментарий к Гомеру. Объезжаю гомеровские места, собираю материал... Заехал по просьбе давнего друга,

Луцилия...

Он дружелюбно треплет по плечу Лонга. Тот вытягивается, словно стоит в строю легиона.

– Пошли гонца за Квинтом Сервилием, – подсказывает ему Фрасилл. – Как же мы тут без губернатора...

– Место выбрано просто прекрасно, – оценил Фрасилл расположение тибериевой виллы. – Здесь можно выдержать многомесячную оборону!

Он оказался гостем разговорчивым и веселым. Еще до начала утренней трапезы успел перезнакомится со всем окружением Тиберия и каждому сказать пару умных, точных и в меру почтительных слов. Его смирение было почти неотличимо от высокомерия. Вроде бы нечаянно в его небольшом сухощавом кулачке сошлись все нити беседы.

– Правда ли, что Гомер написал двенадцать поэм? – спрашивает Вескуларий Флакк.

– Нет, – охотно отвечает Фрасилл, – только две, и это легко доказать. Вспомни первую строку «Илиады» – «Μῆνεν αἰεῖδε, θεᾶ, Πηλεΐαδew Ἀχιλῆος»¹... Она начинается с букв μη, 48 в цифровом значении, а это – число книг в обеих поэмах...

Разговор заходит о причинах приезда, и Тиберий велит принести к столу полотно, на котором местный художник изобразил тот самый, иксионовский крест. Изломистый черный паук на картине обвит венком из ветвей дуба, лавра и омелы.

Фрасиллу картина понравилась:

– Иксион? Очень, очень интересно! Но ведь имперский символ – орел?

– Я ему говорил, – раздраженно заметил Тиберий, – на полотне должно присутствовать окрыленное существо...

– Позволю себе высказать предположение, – заметил Лонг, слегка кашлянув, – что Иксион по смыслу своего имени, *скрытый*, имеет нечто общее с *латинами*,

¹ «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» (греч.; Гомер, Илиада, I: 1).

этимологию которого слова иные знатоки понимают как «скрытые, потаенные»...

Фрасилл задумывается.

– Знаете, а ведь это очень даже неплохо! Ixias – это тоже ведь наш символ, это омега, та золотая ветвь, с которой Эней спускался в царство мертвых... Этот веночек с солнечным знаком внутри – разве не может орел держать его в своих когтях? Видите, сколь целостен, в сущности, Рим! Нет ни одной окраины империи, где бы не смогли внести своей лепты в ее общую культуру...

– И вот еще что, – поворачивается он к Лонгу. – Мы дадим возможность горожанам исполнить свой гражданский долг... так нельзя ли каждого... гм... как-то отметить? Что если они навяжут на руку повязку с этим крестом? А? Самую простенькую: крест в круге. Черный крест, белый круг, алая или пурпурная – имперского цвета – повязка. Можно распорядиться, чтобы их начали шить прямо сейчас?

...Легкий завтрак кончается, и Семпроний Квинт с Гаем Гортензием, извинившись, уходят: прямо сейчас они, каждый при своей центурии, отправляются в Родос и Линд. Уходит и Фабий Максим – на агору Камироза, «готовить рабочее место», как он выразился...

– Как у вас все... налажено четко... – удивленно говорит Тиберий. Фрасилл пожимает плечами:

– Такая работа...

Вера и верность

– Гомер – не единственный интерес, разумеется? – роняет Тиберий, когда они вдвоем выходят на балюстраду.

– И не единственный, и даже не главный.

– А что ж тогда – если одним словом?

– Одним? Гм-м... «Вера в богов как основа верности императору» – устроит тебя так?

– Вера и верность? Прекрасное сопоставление! – Впрочем, Тиберий несколько растерян. Вот он тоже собирает мифы, записывает пословицы, присловья, анекдоты, острые словца, особенно выискивая ветхие и полузабытые, – но никогда ему в голову не приходило, что

отношение к богам каким-то образом связано с отношением к императорской власти...

– Одного нет без другого. Главная опасность для империи, главный ее разрушитель – человек без веры. Божественный Август первым понял это. Он согласился, чтобы его объявили богом. Действительно, разве император, пребывающий на Капитолии и Юпитер Капитолийский – не одно и то же?.. Разве не руками императора делают боги все, что они вообще хотят сделать в Империи?

– А! – понимает Тиберий и невольно перебивает собеседника. – Но ведь и божественный Юлий?..

– Юлий ошибся с первого шага.

– Не веря в богов?

– Август в них тоже не верит, – усмехнулся Фрасилл. – Как и я. Да как и ты, наверно? (Тиберий кивнул). Но надо же было все устроить как должно, как ты, например, идешь к власти (Тиберий насторожился). Не ломиться в открытую дверь, а сделать вид, что отказываешься, что уходишь, что упираешься, – и подождать, пока тебя введут, куда ты и так стремишься, подхватив под белы ручки и трубя в фанфары... Юлий сделал не так...

– Для этого нужно умное и верное окружение. То самое, которое и делает царя. У Юлия его не было. У Августа – есть, – польстил Фрасиллу Тиберий.

Фрасилл, оказывается, был способен краснеть – или в совершенстве овладел искусством краснеть по желанию.

– Оно есть и у тебя... – краснеет он. – И оно думает не только о тебе, но и о судьбах всей страны. Впервые с незапамятных времен мир объединен под одной рукой. Впервые римский народ может получить *полное, исчерпывающее* счастье, счастье на века! И Август хочет дать ему его. А я верю в него, верю в его гения.

– И чего ж не хватает до полного счастья?

– Веры, – отвечает Фрасилл. – Истинной и единственной, святой и окончательной. Я перебрал все верования – в полной мере не годится ни одно. И наши, римские – в первую очередь. Но в каждом веровании есть зерна, собрав которые воедино, мы можем получить нечто! Если, конечно, хватит сил...

– Хочешь стать новым Туллом Гостилием¹?
– Хочу religare² граждан Империи... как стрелы в колчане, как прутья в фасции. Это и будет истинное religens³.
– И что же будет в основании... гм... новой религии?
– Потребности Симплиция, простого человека, – игнорирует Фрасилл усмешку. – Грош нам цена, если мы не думаем о них, тех, кого *большинство* в Империи.
– И что ж ему нужно, простому-то?
– Первейшее – знать, что о стране пекутся небесные силы....
– Мы – под покровом Юпитера Капитолийского, – роняет Тиберий.
– Мы – под покровом *императора*, – поправляет его Фрасилл. – Божественного Августа. Ergo – он и есть бог, всезнающий и непогрешимый. Это мы уже делаем – прямо сейчас. С Симплицием работать просто: он верит в чудо, ему нужен авторитет. Вот мы и показываем ему чудеса. Второе труднее: нужно доказать, что небесные силы пекутся лично о нем, Симплиции, замечают каждый его шаг, ликуют, когда он поступает правильно, и скорбят, когда он ошибается...
– Ну, такого ни в одной религии нет... Эпикур прямо сказал: если боги и существуют, то они самодостаточны, до людей им дела нет...
– А! – возликовал Фрасилл. – Вот ты и не знаешь! Это есть – у иудеев. Их бог ревниво следит, так ли его подопечный пошел, так ли повернулся, то ли съел, то ли сказал!
– Бог? – удивился Тиберий.
– Ну, раввины, какая разница? – кивает Фрасилл. – Они каждый свой шаг согласуют с ними. Раввины – с *наси*, князьями веры, с пророками. Те – с первосвященником, с Торой... Мясо с молоком есть нельзя: а курицу с молоком? А после молока – как скоро можно мясо? А после мяса – как скоро можно молоко? Ты смеешься, но для них это *действительно* важно! Беда в том, что все наши святыни

¹ Полулегендарный царь латинов, учредитель культа Сатурна.

² Крепко связать друг с другом (лат.); объединить круговой порукой.

³ Почитание богов (лат.).

для них – богохульство. А их святыни для нас – варварская нелепость. Но очисти их веру от всего... гм... лишнего – цены бы ей не было!.. Особенно, если первосвященники будут держать *нас* в курсе надежд и чаяний народа, советоваться с *нами*... – добавил он мечтательно.

– Но для этого нужно написать другую Тору...

– Конечно, непросто, – кивнул Фрасилл. – Но можно и подправить ту, что есть.

– Подправить?

– Подправить, дописать, прокомментировать... Я уже думал, как именно... Их закон требует от человека немало – но все это, в общем, выполнимо. На пределе. А чуть преувеличь требования – и закон-то стал, вроде бы, святее, но требования теперь *невыполнимы*. Понимаешь? Появилась неизбежная *вина* – необходимо обязательное *прощение*. Кто будет прощать? Да мы же, мы! Еврейский закон – жесткий закон, прощение, если уж согрешил, получить не просто. А мы будем прощать по первому запросу, сколько угодно раз...

– Ну, это ты...

– Прощать – в *религиозных* грехах, – усмехнулся Фрасилл. – Я знал, что ты возразишь. Эти грехи – в сущности, пустяк, пусть бог за них карает Симплициев. Они искупают их уже тем, что обращаются к нам за прощением. А гражданские, уголовные вины – разумеется, особь статья... Сведения о них можно и передать в другое жюри...

– А!

– Ты понял?! И закон, вроде бы, остался, – и зубов у него больше нет, по нему, как по канве, можно вышивать любые новые узоры, устраивающие нас...

– Но кто ж поверит *подправленному*?

– Тот, кто *захочет* поверить. Qui vult decipi – decipatur¹! Имя им легион! Распахни дверь – ринутся толпой.

– И с чего они захотят... обманываться?

– Вот ты учредил приюты для ветеранов – и легионарии теперь будут смелее идти в бой, не боясь за свою судьбу в случае увечий. Думаю, кто-то и сам себе увечье нанесет, чтобы попасть в них, без этого не бывает. Тут нужна

¹ Кому хочется обманываться – достойны быть обманутыми (лат.).

строгость... А посули-ка ты каждому из них вечное *посмертное* блаженство, загробный, так сказать, приют, с роскошным столом и все такое прочее, – и они перестанут бояться самой смерти! У нас будет непобедимая армия! А если еще и вечные посмертные мучения для врагов... – он прищелкивает пальцами.

Тиберий уже сморщился, собираясь сказать что-то презрительное, но Фрасилл опередил его:

– В Египте же сумели это сделать! Там каждый феллах знает, что воскреснет по чину Осириса и войдет на поля Иалу, если жрецы похоронят его как должно!

Тиберий недоверчиво морщит губы:

– Сейчас таких все меньше...

– Не скажи! Не скажи! Только те, кто заражены эпикурейством, живут в Афинах или Александрии, нахватались вершков греческой премудрости, наслушались софистов, киников и прочей шелупони, – а деревня вся осталась и вовеки останется при вере предков. И легионы. Мы всю эту философскую пакость выскребли и продолжаем выскребать из них. Да ведь и евреи верят в бессмертие...

– У них бессмертен народ – не человек, – замечает Тиберий. – Воскресаешь – как другой человек в том же народе... А вера в личное бессмертие делает народ ненужным...

– Я знаю, – замечает Фрасилл. – Но это же и отлично! Нам *их* народ не нужен – и им будет тоже не нужен... Они сбросят с себя оковы... как его? – он пощелкал пальцами.

– Кагала, – ворчит Тиберий.

Вдруг он придумывает, как проверить этого «всезнайку»:

– У египтян – понятно: бессмертие – не фунт инжира. А вот они, эти раввины... Ведь они же *не заставляют* народ спрашивать их о курице в молоке! Он *сам* их спрашивает! Это что ж – добровольные оковы, выходит? Что их держит? Как они это устроили?

Он знает ответ – от Мары... Но эта столичная штучка, этот, по словам Лонга, универсальный чудотворец – может быть, он знает *другой* ответ? Почему-то Тиберию вдруг хочется, чтобы Мара оказалась посрамленной – хотя бы в этом...

Фрасилл некоторое время молчит, наморщив лоб, на лице его изображается смущение.

– Правду сказать? – наконец роняет он. – *Не знаю*. И пока не узнаю... – он замолкает на полуслове.

– Что – «пока не узнаю»?

– Нам без них не обойтись. Без этих крокодилов. Без этих скорпионов... – он улыбается. – Пока не узнаю, то есть, не обойтись... И потому пока мы делаем им... послабления...

– А сами они как объясняют? – Тиберий немного разочарован, но одно он знает теперь несомненно: Фрасилл искренен с ним.

– Говорят – чудо Господне...

Тиберий вздрагивает, как от удара. Только что, несколько дней назад, это же самое, буква в букву, сказала ему Мара... Она оказалась на высоте, его чудная девочка: залетная столичная птица не сумела ее посрамить... И вдруг весь разговор с Фрасиллом начинает казаться ему чем-то недостойным, какой-то грязной, оскорбительной шуткой. Он невольно отодвигается от Фрасилла, замечает пятнышко на краю тоги и начинает оттирать его пальцем. Взгляд его падет на паутину, растянутую между плетями винограда с буроватыми и желтыми листьями. В нее влипла золотисто-зеленая муха, а большой паук со светло-серым брюхом и черным знаком креста на нем деловито и радостно бегаёт вокруг, потирая лапки и примеряясь, с чего начать. Время от времени муха начинает зудеть, и тогда паутина раскачивается, то вспыхивая в солнечных лучах, то снова попадая в тень.

– Допустим, ты прав, и такая религия нужна Риму, – через силу выдавливает он. – Но при чем тут я? Чего ты хочешь от меня?

– От тебя? – Фрасилл медлит с ответом.

– Я, между прочим, тебя не задерживаю? – вежливо цедит сквозь зубы Тиберий. – Столько дел, наверно?

– Дел? – удивляется Фрасилл. – Много, как и всегда, но они все сделают и без меня, – опыт, знаешь ли... Я приехал не к Лонгу, не с люстрацией, не со сбором налогов, не с

проверкой лояльности населения – все это *их* дела. Я приехал к тебе. Только к тебе. Ты – мое единственное дело здесь. Может быть – главное и единственное дело всей моей жизни.

– Я? – роняет челюсть Тиберий.

– Ты, – подтверждает Фрасилл. – Ты наш будущий император, и потому я хочу уже сейчас стать тебе полезным и нужным.

Тиберий столько уже раз слышал слово «император», что почти и в самом деле стал равнодушен к нему. И тем не менее в груди всплескивается горячая волна радости.

– Да, Лонг говорил, что ты предсказатель, – выцеживает он, стараясь, чтобы голос его не выдал. – Скажи, а свою судьбу ты можешь предсказать? Скажем, когда ты умрешь?..

– Вообще говоря – за год до тебя, – без тени волнения отвечает Фрасилл. – Но если случится умирать в эти три роковых дня, то – в один день с тобой. И дело не в том, что я гадал по печени жертвенных овец, по полету птиц, высчитывал восхождение звезд. Главное – мы много говорили о тебе с Августом. И я отстоял свою точку зрения.

– В чем она состоит?

– В том, что ты – император, – удивленно вскидывает на него глаза Фрасилл. – Вернее, будущий император, наследник... Он почти согласился со мной. Он был в восторге, когда узнал, что ты устроил при храме приют для ветеранов. Буквально в восторге! «Блестящая мысль! – сказал он. – Если легионарии будут знать, что Родина не покинет их и искалеченных – совсем с иным чувством они будут рваться в бой!» Август собирается ввести такой порядок во всей империи. Он сказал о тебе: «Тот, кто и в изгнании думает о судьбах Империи, не должен пребывать в изгнании!». Но этого ему мало. Нужны еще доказательства. Я приехал получить их.

– Ты будешь меня допрашивать?

– Ни в коем случае! Ни в коем случае! Я просто хочу прожить этот и следующие дни рядом с тобой. Я не знаю еще, что именно случится, но буду поблизости и настороже, и, возможно, все пройдет благополучно... Ведь отныне мы связаны, как пруттики в фасции... И у нас есть

только две возможности. Либо мы скоро – или не очень скоро, как сложится, – оба уедем отсюда, ты – наследником престола, я – твоим придворным предсказателем, либо...

– Либо, – нарушает затянувшуюся паузу Тиберий. Все жилочки дрожат в нем: от страха? От восторга? Вздрагивают руки, ноги, он едва может сдержать пляшущую челюсть... Он понимает лишь одно: дважды в жизни таких чувств не переживают. Фактически, его судьба решается вот в эту самую минуту...

– Либо мы оба умрем. Возможно, сегодня же вечером. Возможно, завтра. В эти дни. Как – не знаю. Может быть, ты прикажешь меня убить. Может – я прикажу тебя... гм... арестовать. У меня есть и такие полномочия. Но даже если первым умрешь ты, я не замедлю последовать за тобой. Брошусь на меч. А нет – меня прирежет мой же центурион.

– И от чего же это зависит?

– От тебя, – все так же спокойно говорит Фрасилл. – Ведь начались Дионисии, разве ты забыл? Мы очень спешили, чтобы поспеть сюда именно к ним... Я тебя прошу – доверься мне на эти дни. Полностью. Очень прошу! Я проведу тебя между Сциллой и Харибдой без потерь. Или с минимальным ущербом. Ты мне веришь?

– Продолжай, – холодно отвечает Тиберий.

– До Рима дошли слухи о чудесных исцелениях, которые ты вершишь наложением рук...

– Клянусь, я сам не знаю...

– Этого никто не знает... – Фрасилл помолчал, многозначительно поджав губы. – Есть избранные неба, которым дано творить недоступное простым смертным... И ты... Не знаю даже, как сказать...

– Скажи прямо!

– Словом, весь Восток бредит царем-спасителем. Парфяне ждут Саошьянта. Иудеи – Машиаха. Но десница небесного владыки отошла от них. Я говорил со многими мудрецами. Спаситель мира придет из Рима.

...Явится в Риме могучий, которого власть ограничат

Лишь берега Океана, а славу – лишь звезды...¹ –

– Ну, – торопит его Тиберий...

– В народе ползут слухи, что это – ты!

Тиберий неопределенно пожимает плечами:

– Кто может знать?

– Способ узнать – есть... Видишь вон те гидрии?

Он показывает на агору Камироса, прекрасно, как и порт, различимую отсюда, сверху. Там идет суета – из храма Гелиоса прямо на площадь вынесена статуя Августа, перед ней устанавливают жертвенник, столы для секретарей, еще какие-то причиндалы. В числе прочего из богатых дворов на повозках катят несколько огромных, в рост человека, гидрий.

– Ты что, хочешь перепоить весь город? – удивляется Тиберий, глазами пересчитывая сосуды.

– Пусть пьют, хуже, чем есть, они от того не станут, – рассеянно замечает Фрасилл. – Впрочем, гидрии сейчас наполнены водой.

– Водой?

– Собственно, приготовления уже окончены. Пора начинать. Население должно исполнить свой гражданский долг. И ты, как претендент на престол Империи, должен первым принести жертву!

Вода и вино

...Чтобы подойти к алтарю, Тиберий с пышной свитой должен пройти через всю агору, мимо злополучных гидрий. На агору текут нескончаемые толпы: их собирают глашатаи, разошедшиеся по всем улицам. Всяк думает, что в гидриях – вино, видит рядом виночерпиев с ковшами, понимает: угощение в честь люстраций, и первым делом направляется к ним.

Виночерпии – те же легионарии, одетые в греческие хитоны и паллиумы – наливают всем желающим. Те, попробовав, презрительно сплевывают. Вот один выпустил изо рта воду длинной струей:

– Что мы, для омовений сюда собрались?

¹ Вергилий. Энеида, I: 286-296.

Вокруг гидрий шумит разочарованная толпа. Это рыбаки, гончары, кожевники, мелкие торговцы, содержатели складов и притонов – народ самостоятельный, скептический, циничный, которому незачем быть воздержанным на язык:

– Что-то в горле деренчит – надо горло промочить!

– Пить так пить, сказал котенок, когда его несли топить...

– Чем мясо-то жирное запивать?..

– Тиберий, ты, что ли, выпивку ставил? Или кто? Ты ж трибун, разберись, накажи виноватых!

Виночерпии вяло отбредиваются:

– Разливаем, что есть!

– Ты, может не распробовал? Она тоже кисленькая!

– Есть прорицание: тот, кто обратит воду в вино, будет властвовать миром! Может, попробуешь?

Над толпой – едкий дух пряностей, мужского пота и жареного мяса, лавандового и миррового дыма.

Тиберий подходит к алтарю.

Справа от алтаря – мангал, от которого тянет жаром и духом пузырящейся на огне сосновой смолы, подгорающего жира. Сочные куски мяса, вздетые на шампуры, шипят и роняют капли жира на раскаленные угли, по которым перебегают синеватые огоньки. Это свинина: все ритуалы, в которых чествуют Цереру, требуют заклятия свиньи, а ныне – именно Дионисии-Цереалии. И жрец у огня, и стоящий рядом Фабий Максим – в ритуальных одеждах августалиев: пурпур, снежная белизна и золото.

Тиберий слышит невнятные возгласы фацистов за своей спиной и шум толпы стихает: ритуал начался. Шашлыки исходят ароматным паром, аппетитно щекочущим ноздри, от них идут запахи мяты и чеснока, кардамона и тмина. Жрец у огня берет один шампур, сыплет на него рубленую зелень, передает его Фабию Максиму, а тот с поклоном – Тиберию. В руках его наготове – чаша рубинового вина.

В углублении алтаря рдеют угли – Тиберий роняет туда один из кусков мяса, самый жирный, он намеренно насажен на шампур с краю, – стаскивает зубами другой кусок, жует его... Фабий Максим подает ему чашу, и, держа

ее в руках, Тиберий возглашает:

– Я под твоим покровом и водительством, о Божественный Август! Молю, да снизойдешь ты к нуждам этого города, этого острова и этого народа, да примешь ты наше поклонение; и да процветут места, куда опустится твоя стопа.

Тиберий совершает возлияние на алтарь, в кольцевую канавку вокруг огня, у которой есть сток; остатки вина опрокидывает в рот. Бумага – свидетельство о добропорядочности Тиберия – уже готова, ее писали заранее: «Я, Тиберий Клавдий Нерон из фамилии Клавдиев, усыновленный Юлиями, всю свою жизнь приносил жертвы богам и теперь в вашем присутствии принес жертву императору согласно установленным обычаям, совершил возлияние и вкусил от жертвенного мяса. Прошу вас засвидетельствовать. Будьте счастливы!»

«Фабий Максим» – подписывает жрец-августал. «Аврелий Диоген видел, как ты приносил положенные жертвы» – пишет жрец-помощник. Еще кто-то из приехавших тянется к бумаге, ставит свою закорючку. Ниже уже вписано: «в год правления благочестивого, счастливого божественного Августа 42-й, а после победы при мысе Акции 29-й, при консулах Лентуле и Писоне, в граде Камиросе, на острове Родос...»

В принципе обряд закончен, сейчас вслед за Тиберием к алтарю потянется свита. Но все стоят, чего-то ждут. Фабий Максим, счастливо улыбаясь, возлагает на голову Тиберия венки из колосьев и виноградных листьев. В венке искусно закреплены козы рожки в память о чудесном роге изобилия божественной козы Амальтеи. Венки украшены кистями спелых ягод винограда. Фабий с поклоном подает Тиберию бронзовый жезл, украшенный на конце бронзовой же сосновой шишечкой.

Вакх, снизойди, и с рожек твоих да склоняются грозди,

Ты же, Церера, обвей вязью колосьев чело! –

возглашает он. Откуда-то из-за спины выдвигается Фрасилл, шепчет Тиберию прямо в ухо:

– Возноси скипетр, иди к гидриям, касайся их и восклицай: «Во имя Диониса, стань, вода, вином!»

– Касаться? – недоуменно бормочет он, оглядываясь на Фрасилла. – Восклицать?

– Живее, во имя Юпитера! – цедит сквозь зубы тот. – Пока толпа молчит! И величественнее! И громче! Да улыбайся же, улыбайся, на тебя весь город смотрит!

Тиберий кое-как натягивает на лицо улыбку, на ватных ногах идет к гидриям. Фрасилл должен был предупредить заранее! Разумеется, вода останется водой, и потом от насмешек не отделаешься вовек...

– Во имя Диониса, стань, вода, вином! – стараюсь, чтобы не дрогнул голос, восклицает он, торжественным жестом касаясь жезлом первой гидрии. Ему страшно.

Виночерпий смотрит на него как какой-нибудь калабриец, впервые попав в Рим, смотрел бы на храм Юпитера: приподняв голову, полуоткрыв рот и придерживая рукой шапку. Затем неуверенным, судорожным движением запускает черпак в гидрию, возится там, руки его дрожат... Ошибиться невозможно: в черпаке колыхается густая жидкость цвета свернувшейся крови, манящий спиртовой аромат от нее разносится далеко вокруг...

Ближайший горожанин поспешно подставляет медный ковш, с наслаждением выцеживает его до доньшка, и лишь тогда шепчет полузадушенным от удивления и восхищения голосом:

– Вино!.. Настоящее вино!

К гидрии теснятся все, кто стоял неподалеку, и виночерпий охотно льет любому подошедшему густое красное вино – в глиняные горшки, в туески из бересты, в войлочные пастушьи шляпы, в воловьих рога и просто в ладони, сложенные горстью... Волнуются и те, кто стоит у других гидрий, требуют от виночерпиев налить и им на пробу – но там вода, там по-прежнему вода.

Чуть пошатываясь, Тиберий, не опуская жезла, направляется к следующей гидрии...

Вода превращена в вино во всех гидриях. На площади –

сплошной рев, неистовство, восторженные вопли. К небу летят кожаные и войлочные шапки, фрукты, цветы. Вокруг Тиберия – почтительно расступающаяся изумленная толпа.

– Да здравствует пресветлый Тиберий!

– Слава Тиберию Ваху!

– Тиберий – бог, сошедший на землю нам на благо!

Рядом с Тиберием – Фрасилл, несколько фацистов и свободные члены комиции, которым не нужно совершать жертвоприношений – Сульпиций Квириний, Марк Кассий, Публий Андроник. Остальная свита пока у алтаря – возносят жертвы. Фрасилл убрал виночерпиев от гидрий – народ и сам управится, вино ему и предназначено.

Каждый из виночерпиев – они уже здесь, в свите – усмехается про себя. Но никто ничего не скажет, хоть на кусочки его режь. Им ли не знать, что такое посвящение, чем грозит нарушение запретов! Фрасилл тщательно подбирает себе легионариев. По его настоятельному требованию, подкрепленному неким абсолютно убедительным аргументом, их обучали в храме Бахуса Тарсийского, где испокон веков умеют творить чудеса. И то чудо, из-за которого ревет и исходит счастливыми слезами вся площадь – в том числе.

Фокус по-гречески означает «центр паутины», «стечение всех нитей», «святая сияющая суть». Эту-то суть и объяснили в храме легионариям. Вино густое, плотное, оно лежит внизу; вода – легче, даже толстый ее слой, при минимальном навыке, можно налить сверху, не потревожив вина. Для удобства на вино заранее кладется широкий лист: лопуха, пергамента, чего угодно. Потом его можно и убрать. А можно и оставить. Лучше всего папирус: он размокает, потом и следа не найдешь. Мало ли, какие волоконца могут оказаться в гуще на дне, да и кто еще это проверять будет. А сверху – вода водой, черпай и пей. Заглянуть никто не может – гидрии в рост человека, да и виночерпии к ним не просто так приставлены. Вопрос не в том, откуда взять вино, а в том, куда *потом* девать воду, ту, что не удалось отдать на «пробы». Да просто в нужный

момент болтануть ковшом как следует. И все. Воды и след простыл.

Глава 11. НЕКРОМАНТЫ

...С удивлением и восторгом идет Мара под руку с Тиберием по роскошным колоннадам: они приехали в Рим, их ждет, их встречает Август, *Алуфо шель Олам*¹. Все лучится и ликует вокруг, колонны вымыты со щелоком и сияют каждой каннелюрой, в ослепительное небо рвутся легкие яркие флаги. Сонмы приглашенных разодеты в многоцветные шелка, разряжены в яхонты и смарагды, в жемчуг и янтарь. Они с поклонами расступаются, уступая дорогу блистательной парочке. Мара – краше всех: бриллиантовая диадема сияет на ее голове, бриллианты в ушах, бриллианты на шее...

Шаг за шагом, рука об руку приближаются они к трону Августа. Вот здесь, за этой триумфальной аркой, – центральный пункт власти, нити от которой тянутся в Иберию и Египет, к грекам и туарегам, на север и на юг. Здесь воздвиг он свой трон, и восседает на нем – страшный, загадочный, неведомый, непредсказуемый... Сейчас раздернутся створки завесы, расшитой лучезарными узорами – и он предстанет их взорам, и они предстанут его глазам...

Двое фацистов,двигающихся с механической отчетливостью, раздергивают створки завесы. За ней – никого, там холод и мрак. Подобно потоку воды, льются они из ворот, и в этом потоке, рушась и растаивая, исчезают колонны, дома, флаги, булыжники мостовой...

Нежные и мужественные лица придворных оказываются всего лишь раскрашенными масками. Их сначала искажают гримасы страха и ярости, а затем они расползаются лоскутами гнилого мяса; обнажаются прогнившие черепа; роскошные одежды падают на пол и становятся истрепанными хитонами в прорехах и сальных пятнах; поддерживавшие их скелеты рассыпаются грудями сухих костей. И из этого мусора во все стороны ползут

¹ Князь века сего (ивр.).

черви, жуки, скорпионы и змеи, потешно перебирая ножками, торопливо скрываясь в кустах, в трещинах, в земле...

Да, в земле, ибо роскошные палаты обернулись дикой пустыней, дворцы и колоннады – сухими, бесплодными кустами и деревьями, а жемчуга и изумруды – речной галькой и катышками овечьего кала. Тиберий, превратившись в мохнатого тарантула, поспешно прячется в норку, обвешанную пыльными хлопьями паутины...

Мара стоит, объятая предсмертным ужасом, мистически-безраздельным, таким, какой бывает только во сне. Ее колотит дрожь от холода, одежды ее расплзлись в гнилые лохмотья. Бриллиантовое ожерелье, сиявшее на ее шее, оказалось липкой паутиной, с приклеившимися к ней репьями и стрекозиными крылышками; она поспешно и брезгливо сбрасывает их с груди. Сбрасывает одной левой рукой, потому что другая, правая, занята – на ней лежит живая тяжесть, согревающая ей живот и грудь. Это – новорожденная кроха, она кричит от холода и голода, а Маре совершенно нечем укрыть ребенка, кроме собственных густых и пушистых волос... Но в волосы вмерзли остатки диадемы, блестящие колючие ледышки. Мара с болью отрывает их, выпутывая из волос, а на нее, на речную гальку, на прибрежные кусты, слипаясь, сминаясь, смерзаясь сыплются равнодушные блестящие снежинки, укрывая чуть всхолмленную землю, и сквозь эту белизну повсюду проступают бурые, желтые, алые пятна...

– Завтра! Завтра! – повелительно говорит нежный голос свыше и кто-то касается ее руки.

– Что – завтра? – бормочет она. – *Это* – завтра?

– Завтрак! – снова и снова повторяет служанка, трясая ее за плечо. – Госпожа, проснись же! Господин Тиберий Нерон и другие господя ждут тебя к завтраку...

Вернувшиеся с жертвоприношений патриции собираются на балюстраде тибериевой виллы. Первыми, вместе с Тиберием, появляются Сульпиций Квириний, Авл Фрасилл, Марк Кассий, Публий Андроник. Рабы расставляют кресла, несут фрукты, благовония, чаши,

амфоры вина, вазы с цветами... Приходят Лонг, Флакк, Диана, какие-то незнакомые Тиберию гетеры, видимо, приехавшие с комицией... Кто-то требует мяса, другой, перебивая его и, вероятно, в шутку – язычков фламинго... Вносят столы, на них – шкворчащее мясо, соленые рыжики, капуста с оранжевыми цитрусами, разнообразно приготовленная рыба семи видов, подливки, соусы... Шум, смех – впрочем, несколько приглушенный, не в полный голос, с оглядкой на высоких гостей и на хозяина...

– Бедно, бедно ты устроился, – замечает Сульпиций Квириний Тиберию. – Здесь бы не помешал фонтан, – указывает он полуобглоданной костью в центр балюстрады, – да и лепестки роз на головы сыпать неоткуда. Впрочем, оно, наверно, и к лучшему... Вот греки понимают толк в роскоши!

– Ты был в Греции? – восторженно спрашивает у него Диана, нежно и томно улыбаясь и выгибаясь так, чтобы он заметил ее грудь, обтянутую полупрозрачным пеплумом.

Квириний снисходительно кивает.

– А в Коринфе? – не отстает она. Теперь ей важно, чтобы он разглядел ямочки на ее щеках.

– В этот раз – только в Афинах. Греки приняли нас с изысканнейшими почестями!..

Высокий гость оборачивается к Диане – и уже более не отворачивается. Он придвигается к ней ближе, трогает рукой ее колено, глаза его становятся маслянистыми:

– Граница *поверхности* суть *плотскость*, как учит нас мудрейший Евклид... Не так ли... о цветок совершенства...

– Досточтимый консул путешествовал совместно с Гаем Цезарем, – шепчет Публий Андроник, нагнувшись к ее уху, но так, что его слышат все, – блистательным наместником восточных провинций, при особе которого состоит советником.

– Советник – я, а советует ему Марк Лоллий, – ухмыляется Квириний, благосклонно выслушав шепот, – но нам не впервой... Оттуда – на Эвбею, – вновь обращается он к Диане, – затем Лесбос, прибежище нежной страсти, потом – фракийский Византий. От Самофракии, где мы хотели увидеть культ таинственных Кабириков, наш корабль,

подобно Одиссееву, отогнало северным ветром. Но мы посетили Илион, откуда ушел Эней, божественный наш предок, поклонились прапрадедовским святилищам. Далее направились в Колофон, дабы выслушать прорицания тамошнего оракула. Поразительно: жрец, о котором верно говорят, что он не знает ни грамоты, ни искусства стихосложения, осведомился лишь о наших именах; спустившись же в пещеру, где он пьет воды таинственного источника, мерными стихами изложил ответы на вопросы, которых мы не сказали ему, но лишь мысленно задали богу. И ответы были так точны, что и я, и все иные вопрошавшие ушли в некоторой задумчивости и даже растерянности...

– Что возгласил оракул тебе?

– *«В бой справедливость ведет, вечности знамя подняв».*

– О! Это стих Овидия Публия Назона, – замечает Диана.

– И ты знаешь его?

– Ныне же Август ведет полки на окраины мира, –

начинает Диана с напускным смущением, очень похожим на настоящее, –

Ныне и дальний ему будет покорен Восток!

Жди расплаты, парфянин! Ликуйте, павшие с Крассом!

Снят уже с римских орлов варварской власти позор.

Мститель грядет,

с юных лет обещающий быть полководцем,

В бой справедливость ведет, вечности знамя подняв.

Гибельно дело парфян – да будет им гибельна битва!..

– *Прекрасно! Прекрасно! – восклицает Квириний. – Оказывается, оракул даже умнее, чем я думал! Отсюда я направляюсь к Гаю в Армению, на парфянскую границу. А дальше...*

– А дальше – земли, которые видел лишь Александр, – неожиданно для себя самого говорит Тиберий, и в голосе его – клёкот боевой трубы. – И то, что не удалось ему, должны закончить мы!

– Истинно так! – подтверждает Квириний. – И мне всемеро приятнее слышать эти слова от тебя, чьими руками, собственно, пятнадцать лет назад и снят позор с

римских орлов. Ведь это ты отнял у парфян значки разбитых легионов Красса! Мы там сейчас лишь продолжаем то, что ты начал – и начал успешно!

Тиберий чувствует, что по щекам его ползет румянец.

– Начал Вентидий... Ты отдаешь мне лавры, по праву принадлежащие ему...

– Выпьем за всех блистательных легатов Империи, раздвигавших ее рубежи! – перебивает Флакк Тиберия, заслышав смущение в его голосе. – И за то, чтобы они, достойно отдохнув, – он косится на Тиберия, – вновь возвращались к своим славным делам!

Застолье одобрительно шумит, звенят кубки.

– Мир нужно избавить от варварских обычаев, – замечает Фрасилл. – Весь мир. И ему не от кого ждать избавления, кроме нас. Мы призваны спасти мир!

– Прекрасно сказано, – подхватывает Флакк, – и за это тоже нужно выпить. *Sine Vaccho et Cerere friget Venus!*¹

Очередной килик вина исчезает в его пасти, заросшей рыжим волосом.

– Варварские обычаи – это именно по его части, – говорит Квириний, указывая на Фрасилла. – Покажи, покажи им, какое блюдо ты в Тарсе у этих разбойников отбил!

Диана перебивает его:

– Вот этот! – кричит она, указывая пальцем на легионария, застывшего в карауле у входа на балюстраду. – Пусть он принесет свой щит! Клянусь, я куплю его!

Квириний оглядывается в поисках Валерия Руфа, не обнаруживает его и сам разрешающе машет легионарию рукой.

– И блюдо достань из желтой переметной сумы, – кричит вслед легионарию Фрасилл. – Что мы из Тианы через перевал шли, помнишь?

...Легионарий ставит на стол перед Фрасиллом золотое блюдо с какими-то странными спицами и пружинками, а затем, со смешанным выражением гордости и смущения,

вытаскивает из чехла свой щит. На умбоне¹ щита закреплена небольшая, но все же гораздо больше мужского кулака, девичья головка. Чуть припухлые губки, страдальчески изогнутые от неизбывной, вековечной своей муки, крохотный курносый носик, длинные пушистые стрельчатые реснички, опущенные на веки закрывшиеся глаза, густые косы цвета воронового крыла, заплетенные во множество косичек-«змеек»...

– Откуда... – Диана проглатывает комок вязкой слюны, – откуда это у тебя?

– Да мало ли их там было, – равнодушно роняет легионарий. – Нарожают себе еще...

Это – не литье, не чеканка. Это – головка очаровательной девушки, когда-то живой, срубленная с плеч, выпотрошенная, освобожденная от осторожно разбитого черепа, выделанная, прокопченная, отчего она так сжалась, надежно укрепленная на щите и покрытая для защиты от непогод и царапин рыбьим клеем.

– Что ты хочешь за нее? – спрашивает Диана. Легионарий чуть косится на Квириния, следящего за сценой, и восклицает:

– Я дарю его тебе, госпожа!

– А сам с чем останешься? – одобрительно ворчит Квириний и швыряет ему глухо звякнувший кожаный мешочек с сестерциями. – Возьми, купишь новый...

– И зачем только это делают? – сморщившись, как от боли, смотрит Диана на головку.

– Враг цепенеет, не смеет меча поднять... – начинает было легионарий, но Квириний делает отстраняющий жест и он замолкает, отходит на свой пост у дверей.

– Это – древняя выдумка, – говорит Фрасилл. – Греки говорят, что Персей, – парфяне называют его Митрой, – первым закрепил на своем щите голову Медузы Горгоны. Люди столбенели, каменели от ужаса при взгляде на его щит – и он легко одолевал их. Но подобный же щит-«горгион» носили Афина Паллада, Аполлон... Да что! Так выглядела и эгида самого Зевса! И не только щиты!

¹ Без Вакха и Цереры и Венера холодна (лат.).

¹ Центральный выступ на римском щите, «шишечка», окруженная накладными металлическими крыльями и молниями.

Прокопченные и бальзамированные трупы с глубокой древности привязывали под форштевни кораблей, сажали на кол среди поля, вешали на дерево в лесу, зарывали под домом, под городскими стенами... Иногда, впрочем, то же самое проделывают и с живыми людьми...

– Зачем? – лениво интересуется Диана.

– Чтобы заполучить духа-хранителя! Предполагается, что эти *spirantia simulacra* вьются в воздухе около места, где пребывает их прах...

– Фу, как скушно, – говорит Диана и глубоко прогибается, глядя на Квириния. – Я б на месте этого духа такого бы натворила... хозяевам...

– Смотри, чтоб *эта* тебе не натворила! – смеется Квириний, указывая на щит. Диана неожиданно бледнеет.

– Эй, ты! – кличет она легионария.

– Фавст, – подсказывает ей Квириний, уже откровенно смеясь.

– Забери *это*, Фавст, оно не мое! – Диана отталкивает щит, он со стуком падает. – Я ничего тебе за него не давала!

И она троекратно плюет через левое плечо.

– Где б мы были, если бы верили в эти обряды! – замечает Квириний и обращается к Фрасиллу. – Расскажи, расскажи ей, что эти дикари выделывают!

– Общеизвестно, что чистая душа ребенка, его астральное тело с легкостью проникает сквозь любую преграду, – говорит Фрасилл, – легко достигает по солнечному и лунному лучу светил и звезд. Она понимает любые чужие языки, в том числе и тайный язык сердца любого человека, способна исцелять больных... Но главное – она, как и все в *том* мире, знает о будущих событиях, и это-то свойство чистых душ используют парфянские мерзавцы.

– Так будущее уже определено? – спрашивает Диана.

– Нет ни «прежде», ни «после»: то, что случится завтра, уже существует в вечности. Время идет – говорим мы. Но это не так. Идем мы сквозь время. Так колесничий во время скачек *последовательно* видит поворот, статуи

богов, императорскую трибуну, снова поворот... А тот, кто восседает на трибуне, *одновременно* видит и статуи богов, и весь гоночный круг, и колесницы, подобно египетским жукам ползущие по нему...

– И с каких пор это известно?

– Отсеченная голова Орфея беседовала с Киром – это все знают. Голова Гаплосмиуса, жреца Юпитера, тоже отделенная от тела, раскрыла имя своего убийцы – об этом повествует Аристотель. Но я не буду приводить примеры из книг! Я сам присутствовал на сборище некромантов в Тиане и видел «оракул кровоточащей головы», – так его называют...

– А как ты туда попал? – перебивает его Диана. Она возбуждена и оживлена – пожалуй, даже сверх меры.

– Э-э... Это неважно, – с улыбкой взглядывает на нее Фрасилл. – По делам службы. Представь: сырой темный погреб, две большие жировые свечи на столе, справа и слева – вот и все освещение. – В голосе его появляются нотки, с которыми нянька рассказывает детям страшную сказку. – По сторонам – курильницы, угли в них едва мерцают, и на них время от времени сыплют порошок с маслянистым, но приятным ароматом, от которого кружится голова. У стола – жрецы, в синих, красных, зеленых халатах с меховой оторочкой, расшитых звездами и полумесяцами, в остроконечных колпаках. Парфянские маги. Тишина – муха не прозвенит. Входит процессия, ведут очень красивую двенадцатилетнюю девочку. Она весела и радостна – она не знает, что ей предстоит, да и к тому же вдребезги пьяна. Девочке велют склониться у стола, и одним взмахом отсекают ей голову...

– А-й-й-их! – взвизгивает Диана. – Это ужасно!

Впрочем, на лице ее все та же маслянистая улыбка, глаза слегка блуждают.

– Да. Отсекают ей голову, от уха до уха, и на мгновение убирают ее за стол – вроде бы, чтобы кровь стекла. А потом ставят на стол – но уже на вот этом блюде...

Он придвигает к себе блюдо со спицами и пружинками, задумчиво касается их...

– Ну? – торопит Диана. Тот же вопрос и на лицах других слушателей: Фрасилла уже окружила целая толпа, люди

теснятся, тянут головы, чтобы взглянуть на блюдо...

– Да, я не сказал, что напротив жрецов, перед столом, сидит тот, для кого это все делается – вожак бандитской шайки парфян, желавший получить оракул. А за его спиной стоят его вожди. Мрачные, бородатые, с включенными волосами, воняющие кислыми овчинами и пупом, с руками, вцепившимися в рукояти остро отточенных мечей...

– И ты среди них?

– И я среди них.

– Закутавшись в черный плащ, надвинув капюшон на самые брови?

– Да. В черном плаще, капюшон на бровях...

– Но они тебя принимают за своего?

– Они меня принимают за своего. Ты тоже была там? – с улыбкой спрашивает Фрасилл. – Почему я тебя не видел?

– Я придумываю, чтобы было интересней...

– А я соглашаюсь, чтобы ты не утратила интерес...

– Какой ты! – фыркает Диана. – Ну, и что?

– И он начинает беседовать с ней.

– Вожак бандитский?

– Да.

– С головкой?

– Да!

– И она ему отвечает? Отрубленная?!

– Он не только слышит ее голос, но и видит, как шевелятся ее губы, как моргают реснички, как поблескивают глаза...

– И для этого здесь пристроены вот эти пружинки?

– Тебе положительно нельзя ничего рассказывать! Ты все понимаешь с полуслова! Но вождь бандитов и умным таким не был, как ты, и об этих пружинках ничего не знал и не догадывался. Он думал, что ему отвечает *она*, с того света, обитатели которого, как я уже сказал, знают будущее.

– Но что она ему говорит? О чем он ее спрашивает? Вот тут я ничего не могу придумать!

– Он много чего спрашивал. И далеко не все – вслух. Были тайные вопросы, которые он вообще не произносил, – но головка маленькой бедной мученицы отвечала и на них своим слабым, странным, тихим, жалобным голоском...

Он просил назвать имя убийцы своего возлюбленного; спрашивал, через какой перевал лучше двигаться, чтобы наверняка разбить римлян, то есть нас...

– И вы подстерегли их на этом перевале?

– Да! Мы встретили их на этом перевале, и ни один бандит не ушел от нашей руки. А у нас потерь почти не было. А потом мы спустились с гор и разворошили мерзкое гнездо парфянских магов. И я нашел и тело девочки, и ее головку, изуродованную, пронзенную внутри вот этими спицами, – и возложил и тело, и головку на погребальный костер, вместе с жертвенными животными, и совершил возлияния вином, маслом и медом, и собрал пепел в урну, и захоронил ее... Потому что это она, хоть и сама того не знала, обеспечила нам победу... А блюдо это я забрал, и с тех пор вожу с собой...

– Все-таки большие дураки эти парфяне, что верят в свои оракулы... – задумчиво говорит Диана, и в глазах ее грусть.

А Фавст, блудливо отводя глаза, усмехается про себя, – и до чего ж ловко его господин вешает лапшу на уши этим выхолненным гетерам и гетайрам! «Мы уже не первый год возим это блюдо, и оно нам действительно здорово помогло, – думает он, – но немножко не совсем так, как господин рассказывает... Не в толпе посетителей стоял он, а сидел во главе стола, в синем халате со звездами и в остроконечном колпаке. И сам же отсек девчонке головку... Вот только как удастся ему отвечать этим бандитам на их не произнесенные вслух вопросы? Вот уж, действительно, чудо! Как он рискует! О! Но он – поистине великий маг. А головка этой девчонки как раз-то и пошла на украшение моего щита!..»

Тиберий слушает рассказ и испытывает подлинный ужас: волосы шевелятся, встают дыбом, кровь стынет. Где-то в пространстве перед ним, и в то же время в каком-то ином мире появляется головка, та самая, что была сейчас на щите, но не глянцево-терракотовая, а синевато-

бледная, с еще не вполне закрывшимися глазами, со струйками крови на нежной шейке, в уголках побелевших губ... Вот губы раздвигаются в мучительной улыбке, мерцая двумя рядами жемчужных зубов с паутинкой сизой слюны меж ними... Вот открываются мертвые глаза, но они не мертвы, там, и в них, и за полупрозрачной маской детского лица мерцает что-то иное, живое... Жалоба? Тоска по небывшей, несбывшейся, загубленной жизни? Гнев? Просьба что-то понять, кого-то наказать, за что-то отомстить?

Его голова кружится, пылает, все плывет перед глазами...

Тиберий справляется с собой, в упор смотрит на Фрасилла. Брови того небрежно поднимаются, рот слегка приоткрывается, словно он собирается сказать: «да, рассказываю о мерзостях парфян, и кто меня может хоть в чем-нибудь упрекнуть?» Но глаза его все еще опущены вниз.

И вот они наконец поднимаются и встречаются с глазами Тиберия. Какой-то свет в единое мгновение, подобно молнии, перебегает из одних глаз в другие и обратно, обратно и обратно...

«Это он убил девчонку», – однозначно понимает Тиберий. В этом не может быть никакого сомнения. И Фрасилл едва уловимо прикрывает глаза: «Да, убил! И понимаю, что ты это понял».

Да разве ее одну?

Да разве почти не в каждом сражении посылал он воинов на верную гибель, не объясняя им подлинного смысла их маневра? И только ли это...

...В двадцать лет стал Фрасилл центурионом. Одним из первых его самостоятельных дел – и, кажется, единственным неудачным, – было покушение на Антония незадолго до великого сражения при Акции. Дюжина отборных легионариев, и он, новоиспеченный центурион, в бурную ночь пристали к берегу недалеко от вражеского лагеря... Их обнаружили почти сразу, им пришлось сломя голову улепетывать к своему баркасу... Их не

преследовали – началась настоящая буря.

Нептун не хотел их смертей, и наутро, когда буря сменилась полным штилем, они оказались в середине морей, – без парусов, без весел, без крошки хлеба. И – несколько бурдюков вина под лодочными банками... Разбавить, ясно, нечем...

Три дня легионарии, пьяные, теряющие надежду, теснились в зыбком баркасе, затерянном среди синей вечности. То солнце жгло их лица, то полная луна и кучи звездных огней сводили с ума. А тут еще море взбесилось: ночь напролет вспыхивали призрачными огнями гребешки волн, флуоресцировала каждая веточка водорослей... Стоило опустить в воду палец, и его обливало голубое мерцание...

Три дня они смотрели в глаза друг другу, соприкасаясь плечами и коленями, слышали кислый запах своего пота и амуниции, вонь своих гнилых зубов... Проблемой стало отправление естественных надобностей. Даже лечь спать не могли они все одновременно...

На третий день голод стал нестерпим. И вечером кто-то злобно буркнул:

– Лучше уж один пусть кто-то... чем все...

Ни один просоночный кошмар не мог бы сравниться по ужасу с последовавшим разговором. Разговором? Профессиональные убийцы с красными от солнца и вина глазами, роняя односложные реплики и поминутно прикладываясь к бурдюкам неразбавленного вина решали, кому из них умирать... Кошмар этот длился почти до утра, никто не решился бы заснуть. Наутро началась пьяная свалка...

...Когда пришла пора разделять труп, Фрасилл встал. Труп лежал на ближайшей к нему банке, и он, твердой рукой отстранив стоящего у него на пути легионария, вспорол живот от срамного места до грудины. Отложил меч и обеими руками вырвал печень. Она была горячей, тяжелой и скользкой; он бросил ее на свою, кормовую банку.

– Это – мое! – сказал твердо. И никто не возразил. Затем он перевернул труп, поперек надсек одну из ягодиц у самой поясницы, провел длинные разрезы вдоль бедра,

один, затем другой, подрезал пласт мяса так, что меч его, похрустывая, скользнул по бедренной кости, и кинул его на свою, кормовую банку – сочно хлюпнувший, длинный, черный в лунном свете. Отвернулся, встал на банку, покачиваясь на волнах, и помочился в море. Коснувшись воды, струйка вспыхнула россыпью фосфорических искр...

Вслед за ним, толкаясь и мешая друг другу, на труп набросились остальные легионарии: везде, где возможно, срезали они с костей длинные тяжелые пласты мяса, сочащегося красной росой. Глухо шлепнулись в воду кишки, полетел за борт пенис с мочевым пузырем... Внутренности фосфоресцировали, расправляясь в воде, рыбы подняли вокруг них возню, взбивая светящуюся пену...

Вскоре о человеке напоминал лишь скелет, ни один сустав которого не был разъят. Не сговариваясь, легионарии перебросили его через планшир баркаса. Человеческий остов со сложным всхлипыванием – каждая косточка спела свою нехитрую песенку – погрузился в воду, но не пошел вглубь: на плавую его держали оставшиеся в нем легкие. Он был прекрасно виден, светилась каждая косточка – и вдруг кто-то из легионариев охнул, вскрикнул, указывая на него рукой... Скелет танцевал: вот он дернул ногой, рукой... Морские чудища, вслед за сухопутными набросившиеся на него, обгрызали с него клочья мяса, дергали, толкали его и он, облитый мерцающим голубоватым светом, бился в нелепом танце: вот нога его закинулась почти к затылку, вот рука забралась в брюхо, шарит там, пытаясь схватить отсутствующие кишки...

Один за другим отворачивались легионарии от чудовищного зрелища и упирались глазами в куски человеческого филе, разложенные на лодочных банках...

...Замученный ребенок протягивает к Тиберию невидимую, несуществующую маленькую ручку, касается его руки... «Ты ведь понимаешь? Ты ведь все-все понимаешь!..»

Тиберий вздрагивает, словно ощутив ожог горячего угля. Да, понимает. Но что он может? Что он должен?

Арестовать Фрасилла? Начать расследование? А есть ли у него такие полномочия? Ведь кто такой Фрасилл? Личный посланец Августа по особым поручениям, не шутите! А он, Тиберий, уже и не трибун. И какие у него доказательства? Ничем не подтвержденные подозрения. Пустой обмен взглядами. Кто за этим столом отнесется к ним всерьез?

Молнией мелькает в его голове рассказ Мары о скульпторе, делавшем статуи из живых девушек... И его собственные слова: «Я собою его имя со всех храмов»...

А где она сейчас, Мара? Еще спит?

Что он спросил у нее там, под Колоссом?

–...Ну почему, почему ты думаешь, что вождем, что вершиной этой пирамиды не может стать *хороший* человек?

А что она ответила?

– Не ты управляешь легионами, а они тобой! Легионарии ждут от тебя единственного приказа: убивать, насиловать, грабить. Ждут, что ты не просто позволишь им это, не просто возьмешь все их грехи на свою совесть, но и чувствовать их будешь за особо кровавые или изощренные убийства и насилия, вручать венки и устраивать триумфы. Вот – доля *любого* властителя сегодня. Способен ли ты на это? В любом случае ты должен это знать, если собираешься стать императором. И знать то, что они не дадут тебе власти над собой, если хоть чуточку усомнятся, что ты делаешь это с охотой, с чувством исполняемого долга, с наслаждением! Оправдывать нераскаянные грехи, воспевать их, как «славу римского оружия» – вот сегодняшнее дело князя мира сего. Ибо он лжец и отец всяческой лжи...

Был этот разговор? Или он сейчас, на ходу придумывает его? Но откуда тогда в его душе берутся это слова, которые она одна могла бы сказать? Разве мог бы он их выдумать сам?

Тиберий отирает со лба холодный пот.

Заяви он сейчас о своих подозрениях – и что выйдет?

Скандал? И того не будет: мелкая застольная неловкость. Хамство, попросту говоря. И Фрасилл тут же обернет дело так, что застолье устроит ему орации...

И сразу же звучит в голове голос Мары: «Сделай это! Скажи Фрасиллу: «Ты лжец! Не парфяне это сделали, а ты сам!» – «И что дальше? – возражает ей он. – Восхвалить и прославить его за это? Поднять чашу в его честь? Или назвать детоубийцей? Ведь после таких слов прости-прощай надежда стать императором!» – «Но будет надежда, что ты станешь *человеком*...»«...»

Но в чем, собственно, вина Фрасилла, если даже подозрения справедливы? В том, что он убил чужеплеменного ребенка? Заклал на алтаре, как Агамемнон Ифигению – во имя грядущих побед? Если и так, то он, выходит, герой, – и по греческим меркам, и по нашим, римским! Только герой мог столь малой *кровью* одержать победу над парфянской бандой, наверно же, немалой, наверно же, до зубов вооруженной...

Почему он *вообще* борется с собой? Полгода назад ни эти мысли, ни эти сомнения и в голову ему бы не пришли! Что с ним случилось за это лето?

Нужно быть проще!

Тиберий приподымается на медии и делает движение к Фрасиллу. Только движение! Но тот сразу замолкает и поднимает глаза, впивается в его лицо:

– Я тебя слушаю?

– Н-нет... Ничего...

– О! Но ты оставил свои высокие мысли ради нашей праздной застольной болтовни! – скалится Фрасилл.

И Тиберий, улыбаясь натянуто и почти заискивающе, отвечает ему:

– *Video meliora, proboque, deteriora sequor*¹.

И они вместе облегченно хохочут.

– Я рад, что мы поняли друг друга, – тихо и доверительно говорит Тиберию Фрасилл. – Знаешь, когда я изучал стихосложение, учитель строго-настрого запретил мне употреблять спондей на пятой стопе. И правильно – иначе я испортил бы себе слух и никогда не услышал бы подлинную, величественную музыку нашего стиха. Но разверни Вергилия, поищи – и найдешь на пятой стопе спондеи. Что же, он не знал правил? Разумеется, знал. Но повиновался иному, высшему закону...

Фрасилл берет чашу вина, подымается.

– Несколько слов...

Застолье замолкает, все глаза обращаются к нему.

– Сегодня Рим воюет, – неторопливо начинает он, задумчиво потупив глаза в чашу. – Видит Юпитер, мы не хотим воевать. Мы *вынуждены* воевать, чтобы нести окрест себя мир и справедливость. Но не вечно же будут длиться войны! Пройдут года, и на весь мир будет простерта наша державная длань. Войны окончатся, наступит всеобщий мир и счастье. И вот я спрашиваю, – он поднимает глаза от чаши, оглядывает застолье, – я спрашиваю, *как* в те грядущие счастливые дни почтить память героев, которые сегодня отдают жизни свои во имя величия Рима?

Кому-то видится мраморная стела на Форуме, на которой золотыми буквами будут поименно перечислены павшие в эти грозные годы. Но все ли имена будут там названы? Я не открою особенной тайны... Все мы, легаты, полководцы, знаем за собой вину... перед своими воинами... за их смерти. Как почтить память тех, кто отдал свою жизнь просто и величественно, гордо и безмолвно? Как почтить хотя бы ту безымянную девочку, которая пала от парфянских мечей, не зная даже, за что умирает, не зная, что смерть ее вплела новую веточку лавра в венок, обвивший римское оружие?

Фрасилл ставит чашу, потупливается, в волнении потирает лоб тыльной стороной ладони, потом снова вскидывает глаза:

– И вот думаю я, что на Форуме должен стоять еще один

¹ «...Благое? Вижу, хвалю, но к дурному влекусь...» (лат.; Овидий. Метаморфозы, VII, 20–21 / Пер. С.Шервинского).

обелиск, где не будет никаких имен. Громадный каменный меч, вонзенный во мраморную плиту, и надпись, короткая и простая: «Неизвестному спасителю». И все.

Застолье разражается неистовыми аплодисментами, возгласами ликования и одобрения, сотрапезники тянутся к Фрасиллу, чтобы коснуться его чаши своей. Он смущенно и застенчиво улыбается:

– Выпьем же за неизвестных героев, спасших Рим, из мук и смертей которых сложились наши победы!

– А на крест это похоже не будет? – бормочет Флакк и чертит рукой в воздухе две линии: вертикальную – рукоять и лезвие, и горизонтальную – это гарда меча. – Крест, на котором никто еще пока не распят...

Он пьян в хлам. Сотрапезники делают вид, что не видят и не слышат его.

Тиберий с тем же воодушевлением, что и все застолье, осушает чашу, а потом, с вымученной улыбкой, шепчет, склонившись к самому уху Фрасилла:

– А ты не хочешь ли на эту плиту возложить еще и тот щит... с головкой?

– Алкеста как цвет вешний,
В землю пошла – за мужа, –

таким же шепотом, но со спокойной улыбкой отвечает Фрасилл, это строки Еврипида. – Нельзя никого особенно жалеть до тех пор, пока не устроилось все вообще. И себя – в том числе. Мир сегодня таков, что в нем кто-нибудь обязательно должен терпеть и страдать – за других, для других. Разделить на всех поровну и счастье, и беды – невозможно. Но можно убедить страдальца, что ему это потом непременно зачтется...

– Скажи, а правда ли... – начинает Тиберий...

Ему вспомнились недавние невнятные слухи. Некому центуриону в Киликии, – имени его никто не знал, а может просто не называл, – пришлось, мол, отправить в трехдневный марш-бросок через труднопроходимый горный перевал небольшую элитную спецчасть. И он, якобы, чтобы не загружать и без того до зубов

вооруженных боевиков еще и продуктами, придал этой части несколько велитов, специально для того, чтобы в пути их зарезали, зажарили и съели... Не Фрасиллом ли звали этого «центуриона»?

«Но можно ли спрашивать? – одергивает себя Тиберий. – Не слишком ли я пьян?»

И он замолкает, глядя меж глаз Фрасилла. Ловит себя на том, что старается выглядеть более пьяным, чем в действительности, но, преодолевая неловкость и стыд, натягивает на лицо благодушную усмешку.

Фрасилл некоторое время, чуть приподняв брови, смотрит на его лицо, а потом цинично усмехается:

– Кажется, я догадался, о чем ты хотел спросить. Я отвечу. Древняя мудрость гласит: *in hostem omnia licent*¹. И некоторые наивно полагают, что все позволено только в отношении врага. Так вот: судьбы своих воинов также во власти военачальника. В их смертях мы вольны так же, как и в их жизнях.

Некоторое время он молчит, а потом ставит убедительную точку:

– Если, конечно, не играем в войну, а действительно хотим победить.

¹ По отношению к врагу позволено все (лат.).

Глава 12. ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Солнце давно перевалило за полдень, но компания и не думает подниматься из-за столов. Все размякли, отяжелели, пришли в благостное настроение.

– Правда ли, что Фаэтон, известный своей злосчастной судьбой, был пасынком Зевса? – спрашивает Тиберий.

Фрасилл удивленно приподнимает брови:

– Ни Пиндар, ни Еврипид, ни Аполлоний, ни Овидий, ни Вергилий не говорят ничего подобного... Фаэтон был сыном Гелиоса от Розы, нимфы, в честь которой назван этот остров. Впрочем, все они путаются и противоречат друг другу, никто из них, как кажется, и не пытался восстановить подлинный древний сюжет... Если тебе удалось наткнуться здесь, на родине Фаэтона, на новый вариант легенды – это большая удача! – дружелюбно замечает он.

– И в чем же состоит путаница? – едко спрашивает Юлий Макрон. Он не слишком-то твердо знает мифы, но считает, что книга тем мудрее, чем древнее, и ревниво относится к любым попыткам критики воззрений «отцов и дедов».

– Скажем, у Овидия Фаэтон нашел смерть в землях гиперборейцев, на берегах Эридана, реки раздора, – все так же просто и дружелюбно оборачивается Фрасилл к нему. – *Eriç* и значит по-гречески «раздор», а Дан – «река» на наречии северных варваров. Но не ясно ли, что речь могла идти только об *Иордане* – вот уж действительно река ересей! Именно оттуда восходит солнце, и Зевс должен был пресечь зло именно там, дабы Фаэтон не взошел над Империей и зной не опалил ее полей и пастбищ...

– Гм? – мямлит Макрон. Овидия он защищать не собирается, – опальный поэт, дерзко отзывавшийся об Империи и государственной службе...

– Овидию мифы нужны только чтобы соблазнять девиц, – закрепляет успех Фрасилл. – Он вообще пишет очень неровно: то безмятежно ясен, то полон отчаяния. Его пафос – богохульство, его верования – кощунство...

– Поэты все таковы, – замечает Луцилий Лонг. – Так и Гораций каялся Августу, что совершенно не может поверить в существование каких-либо богов.

– А тот?

– Принял это как должное, усмехнулся – и только.

– Ирония есть ирония, – комментирует Фрасилл. – Есть и другие поэты, поумнее, – Вергилий, например. Бог един – Юпитер Капитолийский; Август понимает это. Недавно он с большим одобрением отозвался о поступке Гая, который хоть и посетил Иерусалим, но отказался от принесения жертв в тамошнем храме. Подлинный римлянин всегда патриот, любые восточные культы для него неприемлемы. Исповедовать их – значит презирать гражданские законы и относиться с полным равнодушием к преуспеянию государства, надеюсь, здесь это понимают все. И потому Август предписал, – Фрасилл встает и возвышает голос, – что религиозные коллегии, будь то *фиасы* или *клерухии*, где исповедуют иных богов, кроме римских отеческих, могут заниматься *только* погребениями своих членов в соответствии с принятыми у них ритуалами; расширение полномочий не допускается ни под каким видом. Ни под каким! Никаких храмовых *касс взаимопомощи*! Никаких *самодельных оракулов и синойкий*! Храмовые процессии, нарушающие спокойствие горожан – только в утвержденные дни и только по согласованию с городскими властями! Выполнение *сообща* любых обетов придают собранию преступный характер, и смысл преступления, по духу и букве закона, – в *laesio majestatis*, оскорблении императорского величия!

По застолью словно ветерок прошелестел.

– Давно пора! – восклицает Макрон.

– Но как же?... – вырывается у Мары, она даже привстает на медии. Фрасилл любезно улыбается и слегка кланяется ей:

– Да! Да! Разумеется! Вы, иудеи, особь статья, для вас в Указе сделаны исключения и послабления, ибо ваша вера

Ср. надпись в Ланувиуме, I столб., Дигесты, IV, ad. Leg. laes. majest., 1, XI, de Extr. crim., 2, XLVII, XXII, de Coll. et Corp., 1; *Тертуллиан*, *Аполог.*, 39.

касается буквально всех сторон жизни... одним погребением не обойтись...

Мара садится почти успокоенно. Впрочем, она хотела бы подробнее ознакомиться с текстом. Фрасилл снова успокоительно кивает ей, а она – своему дяде, Ицхаку бен Давиду. Он тоже здесь – хоть и очень не хотел этого. «Блажен муж, иже не идет в совет нечестивых», – пробормотал он было, когда фацисты явились к нему с приглашением от Тиберия. Однако те сумели довести до сознания бен Давида, что это – *настоятельная* просьба наследника престола... И еще передали слова Мары: на этом симпозиуме решится ее судьба. Да, да, его девочка говорила, что Тиберий собирается жениться на ней – по римским законам...

– Но означает ли этот указ, – продолжает Фрасилл, – что мы преследуем инакомыслящих, как говорят иные враги государства? Нет, нет и нет! Только здесь, на Родосе, не менее двадцати разрешенных религиозных союзов, не так ли?

Он смотрит на толстого, обрюзгшего Квинта Сервилия, губернатора острова, и тот поспешно приподнимается на ложе, суетливо облизывая жирные губы, отбрасывая замасленными пальцами складки тоги и все больше запутываясь в них:

– Как я и доносил... Во исполнение...

– Да! – подтверждает Фрасилл и движением руки позволяет Сервилию сесть. – Здесь все в порядке. Некоторые из этих фиасов, особенно посвященные Бахусу, исповедуют высокие учения и, поистине, могут доставить утешение людям с тонкой душой. Времена чудовищных вакханалий давно миновали, и, я надеюсь, безвозвратно. Но это не значит, что за фиасами не нужен надзор. Не зря этот остров иногда называют Фельхинида, страна колдунов, ведь *θηλυειν* по-гречески значит «колдовать». И не следует забывать, что Фельхины – братья Фазтона, между прочим, – он кивает и приветливо улыбается Тиберию, – что именно они выковали для Кроноса тот зубчатый серп, которым он оскопил отца своего, царя

небесного Урана! Кто может гарантировать, что и сейчас колдуны не куют здесь нового серпа? Что они не интересуются *яичками*, этим вместилищем плодотворящего мужского семени? Но я и сам великий волшебник, и сейчас мы начнем помаленьку рассеивать колдовские чары...

От яиц Леды...

Произнеся эти слова, он озабоченно оглядывается, находит глазами мальчика-служку и делает ему знак пальцами. Мальчик, в длинной домотканой рубахе белого холста, с синевато-пупырчатыми ногами вносит и ставит на пол у имуса большой медный таз. На дне его погромыхивают глыбы льда. В каждой из них что-то вмерзло – похоже, рыбы...

– Угри, – уточняет Фрасилл. – И они действительно промерзли насквозь – если ударить по глыбе, они расколются вместе с ней. Желает кто попробовать?

Лонг кивает Флакку и тот, как лунатик, подходит к тазу. Фрасилл, усмехаясь, подает ему меч.

– Бей любую...

Глыба с хрустом разваливается – рыба действительно промерзла насквозь, она даже поблескивает льдом на изломе.

– Итак, чудо номер один! – возглашает Фрасилл. – Я воскрешаю промерзшую рыбу!..

Он кивает мальчишке, и тот начинает поливать желтоватую глыбу льда, оставшуюся нетронутой, дымящейся струей горячей воды из кувшина.

– Рыбу мне не обвари! – предостерегает Фрасилл.

Все застолье придвигается к месту рукотворного чуда: кто-то приподнимается на локте, прося соседа чуть отстраниться, кто-то даже встает и подходит.

Рыба помаленьку оттаивает. Вдруг хвост угря слегка шевелится. Фрасилл дает знак мальчику: хватит. Тот шмыгает носом и исчезает. Все замороженно смотрят, как рыба, только что бывшая куском льда, угловато ведет грудным плавником, судорожно зевает, стукнув жаберной крышкой, – и вдруг легко плывет, выскользнув из остатков

ледяного панциря...

– Ну, допустим, – ворчит Тиберий, – и что из этого? Я это и раньше знал... Для этого мы и собирались здесь?

– Это – только начало... Я хотел наглядно напомнить вам, что заморозить – не всегда значит убить. Мерзлое остается живым очень долго. А теперь – фокус второй, с яйцами Леды...

Он берет со стола сырое яйцо и жестом фокусника показывает его всем. Затем извлекает из складок тоги иглу и протыкает яйцо с обоих концов. Из него в таз свисает длинная серовато-желтая капля; Фрасилл дует в одно из отверстий, и капля хлупается в таз. Фокусник подбрасывает и ловит легкий белый шарик, оставшийся совершенно пустым.

– Это случилось на кесарийской таможне пятнадцать лет назад. Опытный фрументарий выдернул из кадки лавровое деревце, пожелав узнать, нет ли под его корнями контрабанды. Угадайте, что там было? – Фрасилл медленно оглядывает застолье, пока не убеждается, что все умолкли и все взоры обратились к нему. – Там таился ларец... А в нем, уложенные в пустую утиную тушку, забитую утиным же пухом, чтобы подольше не оттаивали, заклеенные воском, лежали точно такие яйца, проколотые иглой и насквозь замороженные...

– Игла, яйцо в утке, утка в ларце, ларец под деревом... Это похоже на детскую сказку. *Что* потребовалось так тщательно прятать?

– То-то, *что!* Разумеется, нечто такое, от чего зависели судьбы всей империи! Фрументарий разбил одно из яиц – уж не бриллианты ли там? Ни бриллиантов, ни рубинов... Но то, что было там, оказалось намного ценнее. Впрочем, сначала он подумал, что яйцо просто протухло... В нем не было желтка, одна лишь беловатая мутная жидкость. И пахла она... угадайте, чем? Спермой! Это и была сперма – в яйце из Греции в Иудею везли замороженное семя Марка Агриппы!¹

¹ В 23 г. до н. э. Марк Випсаний Агриппа стал претором Сирии, фактически – властителем всех восточных провинций Империи. Его резиденцией во времена, к которым относится рассказ Фрасилла, были Митилены (Греция).

– Откуда ты знаешь? – удивляется Тиберий.

– Нет ничего тайного, что не стало бы явным, – хмыкает Фрасилл. – Особенно в руках опытного следователя... Фрументарий найден; как мы на него вышли это... гм... профессиональная тайна. Он сознался во всем. Он сразу же заподозрил колдовство, но отпустил злоумышленника – довольно известного ювелира, – за огромную взятку...

– Но ведь пятнадцать лет прошло... – продолжает недоумевать Тиберий.

– Да, пятнадцать лет. Но дело нешуточное, оно еще продолжается, и на его раскрутку брошены лучшие наши силы! Нашли и ту гетеру, теперь уже старуху, в Митиленах, что получала семя от Агриппы, так сказать, из первых рук, и экспедиторов, перевозивших его... Все сознались, все документировано, проведены очные ставки – и будут еще проводиться...

– А в чем суть дела? – все еще не понимает Тиберий.

– А суть в том, что группа злоумышленников в Иудее решила, – Фрасилл криво усмехается, – сделать ребенка от Марка Агриппы, не ставя его, скажем так, в известность об этом!..

Два возгласа сливаются в один:

– Не может быть! – бормочет Ицхак бен Давид.

– Зачем, во имя Юпитера Капитолийского! – восклицает Тиберий. – Зачем им понадобился мой бывший зять?... Вернее его... его...

Когда сотворил Господь человека, то настолько могуществен, говорят мудрецы, был Сотворенный, что сошел к нему Сотворивший, низведя на него сон, и извлек из его состава левую основополагающую грань. То был знак «*гавайя*», а знак «*йуд*», правый, остался в Сотворенном. И закрыл ха-Шем то место плотию, но память о том навеки осталась у людей в этих частях тела, и по сей день жжет она, палит человека огнем, требует возврата былого единства... Извлеченную же грань утвердил Господь в Сотворенной. С того мига лишь слившись воедино, совместив знаки «*йуд*» и «*гавайя*», Сотворенные не только постигают блаженство утраченного

рая, но и вновь обретают божественную способность творить по образу своему и подобию своему. А потому если бы женщина даже и смогла каким-то неестественным способом произвести плод без участия мужчины, то это – грех, тяжкий, несомненный и непростительный! Еврею и мысль о таком кощунстве не может прийти в голову...

Это вихрем проносится в сознании бен Давида... Он открывает рот... но сказать ничего не успевает.

– Молчи, старик! – восклицает Фрасилл, указывая на него рукой. – Или ты скажешь, что *не ты* вез тогда это семя?

– Я? – охает бен Давид. – Ложь! Единый, благословен Он...

И вдруг лицо его бледнеет, он несколько раз пытается судорожно захватить ртом воздух – и обмякает, оседает, расплывается на имусе...

Мара склоняется над ним, что-то шепча – и вдруг гневно выпрямляется.

– Ты убил его! – кричит она, уставив палец во Фрасилла.

– А с тобой, девчонка, разговор не кончен! – почти спокойно отвечает Фрасилл, лишь слегка подчеркивая слово «девчонка». – Или ты будешь спорить, что ты-то и есть тот ребенок, которого колдовством вырастили из похищенного семени Марка Агриппы?

– Я? – почти так же, как бен Давид, охает и бледнеет Мара. – Это ложь!

– Как ты смеешь! – угрожающе двигается Тиберий в сторону Фрасилла.

– Конечно, ей могли этого и не сказать, – оборачивается Фрасилл к Тиберию, в голосе его успокоительное воркование. – Но само ее лицо – факт, с который никто не сможет оспорить! Оно изобличает ее!

– Мое лицо? При чем тут мое лицо?

– А *почему ж еще* ты как две капли воды похожа на Випсанию Агриппину?

Воцаряется полная тишина – ни звука, ни шелеста. Все замирают за столом, уставясь глазами на Мару – в том числе и те, кто не знает, как выглядит Випсания. В

неловкой позе, приподняв голову, застывает даже раб, хотевший унести таз с размороженной рыбой...

– Ну, и почему же? – почти спокойно спрашивает Тиберий, нажимая рукой на плечо Мары и усаживая ее на медий. Она пытается что-то сказать, но он делает ей запрещающий жест. Мара молча указывает на бен Давида. Тиберий, сверкнув глазами, велит ближайшему фацисту распорядиться уборкой тела. Он взбешен, он знает, что кому-то сегодня очень и очень не поздоровится – но еще не знает, кому. Фрасиллу? Или... или...

– Сиди... пока! – кивает он Маре.

– Начну я издалека и в своих выводах пойду еще дальше, – усмехается Фрасилл, чувствуя, что почти овладел положением. – Суть дела, как и всегда, в Парфии – там, там гнездо всех наших зол и бед! Их Ахашверошу когда-то подсунули Эстер, и они там решили, что хорошо усвоили урок, что способны повторить его при римском дворе. Им нужна своя царица на римском престоле, ни больше, ни меньше.

– Но как?.. – невольно вырывается у Тиберия.

– А вот так! – возражает Фрасилл. – Кто у них – то есть у нас! – наиболее возможный наследник? – спросили они себя. Ах, Тиберий? А кто его жена? Ах, Випсания Агриппина, дочь Марка Випсания Агриппы... И никого в ближайшем окружении Августа? Да, никого! – озадаченно разводит Фрасилл руками, изображая сразу всех парфянских мудрецов. – Ни-ко-го! Они женятся только на ближайших из близких! Как же сделать, чтобы рядом с императором оказалась мудрая советчица, к мнению которой он прислушивался бы, а она, в свою очередь, прислушивалась бы к нашему мнению?

Тиберий медленно встает с места, переводя взгляд с Мары на Фрасилла, и снова, и снова...

– И вот Тиберия разлучают с Випсанией Агриппиной, которую он до безумия любит...

– Но это же сделано по повелению *Августа!* – шепчет, нет, выдыхает Тиберий.

– *Vel sapientissimus errare potest*¹, – грустно говорит Фрасилл. – Ему нашептали это люди, которые уже понесли заслуженное наказание. Разводя тебя с Юлией, Август признал свою ошибку, – как и то, что в какой-то части она непоправима... Но в другой части она поправима; для того-то он и послал меня сюда, чтобы плодами этой ошибки не смог воспользоваться враг!

А враг все продумал, все! Пятнадцать лет они готовили операцию «Ожившая рыба», – не знаю, как у них, а у нас она проходит под таким названием! Семенем Агриппы с ведома мужа оплодотворяют изъязвившую на это согласие женщину – бесплодную женщину, несчастную женщину... И она рождает девочку – копию Випсании Агриппины, вот эту самую Мару... Из яиц Леды, надо сказать, явилась на свет несравненная красotka! И хоть она и выросла-то еще не вполне, – разглядывает он Мару, – и не созрела в полной мере как женщина, – *quae in pueritia coitus non contingat*?² Стоило Тиберию появиться на Родосе, и через месяц ее, эту пальцем деланную Випсанию, привозят сюда, обученную и латыни, и римской мифологии, и пению, и нашим ритуалам, дабы Тиберий вновь встретился со своей мечтой, с женой юности своей...

– Остановись, не гневи Господа! – говорит ему Мара. – Это ложь от первого до последнего слова, и ты сам знаешь это. Я люблю его, вот и все. Иначе я давно бы ушла. Меня никто не подсылал. И при чем тут парфяне – я еврейка...

– Парфяне? – переспрашивает Фрасилл. – Они ни при чем, они всегда ни при чем! *При чем* – партия иесеев, вернее, одна из их сект, так называемые *назаруан*. На этот раз парфяне действовали через них. Мы запрашивали Храм в Ершалаиме. Иесеев нельзя считать добропорядочными иудеями, они ушли из городов в пустыни, они не приносят установленных жертв, они не почитают иерусалимский Храм... А *назаруан* – вообще не иудеи, они отреклись от своего отечественного бога, это – парфянская религиозная партия. И число их сторонников – благодаря парфянскому золоту – множится по восточным

¹ Даже мудрейший может ошибаться (лат.).

² Кто сказал, что с детьми невозможно соитие? (лат.).

провинциям Империи...

Тиберий осторожно, словно его не держат ноги, опускается на медий, бледность заливает его лицо. Он не отрывает взгляда от Фрасилла.

– У иудеев – один Бог, – продолжает тот, – а у парфян – два, Ормузд и Ариман, свет и тьма, порожденные неким предвечным Заруаном, Зерваном. И то же самое у *назаруан*, признающих *двух великих богов, доброго и злого!* Последнего они именуют *князем мира сего, Алуфо шель Олам*, и отождествляют – страшно сказать – с божественным Августом! А их добрый бог... Они со дня на день ждут его пришествия, ждут, что он явится во плоти, в шуме и блеске, с легионами ангелов небесных, сокрушит Империю и на ее руинах учредит для них, его поклонников, тысячелетнее царство неземного блаженства! Ангелов небесных? Но не ясно ли, что это – всего лишь парфянские лучники? Вот в чем их вера – если это вера, конечно, а не политика, не тайная война, *уже объявленная* парфянами – нам! Парфянами, которые в «Вендидаде», своей «священной» книге, утверждают, что весь мир существует только в уме желтоухой собаки!

Фрасилл начинал тихо, но к концу речи разгорячился: он размахивает руками, брызги слюны летят у него изо рта...

– Шма, Исроэл... – шепчет Мара. Ей не хватает дыхания.

– Так вот, – уже спокойнее продолжает Фрасилл, – в результате нашего следствия по всей империи сейчас выявляют гнезда *назаруан* и разбираются с ними...

Не глядя, он протягивает руку назад, и его секретарь почтительно вкладывает в нее пергамент.

– «...Именем римского народа и сената... бунтовщики и парфянские шпионы, воздвигшие по восточным провинциям Империи заговор, имеющий целью...» гм... ну, тут... это неважно... а! вот: «...и по подозрению в принадлежности к названной партии *иесеев-назаруан* представить в сенатскую комицию по парфянскому вопросу нижепоименованных согласно списку...» И в реестрике дальнейшем: Ицхак бен Давид, Мара бат Иоаким... И многие другие – центурии наши сейчас берут их. Ты –

завтрашний наш император, ты – трибун (Фрасилл, впрочем, знал, что срок трибунских полномочий Тиберия истек), и у тебя есть право *вето*. Но божественный Август велел передать этот вопрос целиком на твое усмотрение, уверенный, что ты все сделаешь во благо Отчизны и отеческих богов... И по принятию тобою должного решения повелел он тебя *ornandum tollendumque*¹...

Он наполняет две чаши из сосуда, поданного ему секретарем, передает документ Тиберию, разом осушает одну из них и двигает по столу другую:

*– В чашу свою подольешь ты с мольбою волшебного соку,
Гореусладного, миротворящего, сердцу забвенью
Бедствий дающего;*

*тот, кто вина выпивал, с благотворным
Слитого соком, тот весел весь день,*

*и не может заплакать,
Если б и мать и отца неожиданной смертью утратил,
Если б нечаянно брата лишился иль милого сына,
Вдруг пред очами его пораженного бранною медью...*

Видимо, в чаше разведен сок маковых головок.

Тиберий покорно отхлебывает глоток, отставляет чашу и с болезненной grimасой смотрит на пергамент, держа его наотлет, брезгливо, словно жабу. Цель заговора, оказывается – «...оскорбление императорского величия, попытка разрушения незыблемых основ империи и глумление над отеческими богами». Эти строки, как кровью, сочащиеся красной киноварью, жгут глаза так, что те начинают болеть... Он возвращает пергамент секретарю и с трудом бормочет:

– Да верно ли это?

Кажется, последние два слова ему так и не удается выдать из себя – у него получается «Да, верно...». Фрасилл давно обратился к фаршированной рыбе, уделяя ей подчеркнутое внимание: он причмокивает, ворчит что-то одобрительное... Но, словно угадав движение губ Тиберия, он отрывается от блюда и с подчеркнутой поспешностью проглатывает кусок:

¹ Двусмысленность: либо «украсить и прославить» (как победителя), либо «разубрать и вынести» (как покойника).

– По каждому вопросу я могу предоставить все, что необходимо: протоколы допросов, свидетелей, оставшихся в живых, вещественные доказательства...

Тиберий медленно, с усилием отводит от него глаза. В центре стола, в просторном хрустальном сосуде, в морской воде медленно, из последних сил, то и дело переворачиваясь брюхом вверх, плавает краснобородка (*mullus*). Ее серо-серебристый цвет все более разбавляется пурпурными оттенками.

– Захватывающее зрелище, – говорит Фрасилл, заметив, куда смотрит Тиберий. – Умирая на наших глазах, она, словно цветок, переливается радугой, радуя не только вкус, но и зрение... Но ты зря не устраиваешь боев во время застолий – увидеть умирающего гладиатора, услышать яростные, но бессильные проклятья, – вкуснее любой подливки и приправы...

Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева, и от земли Галичской, и от Карпата, как две капли воды схожих лицом на него.

Н.В. Гоголь. Страшная месть

Мара молча глядит на Тиберия, ее удлинённые вопрошающие глаза неотступно настойчивы. «Я предупреждала: он *спросит*... Вот он *спросил*. Как ты ответишь, так и будет. Разве ты не владыка уже сегодня?»

Тиберий не выдерживает ни мгновения этого взгляда, отшатывается, как от удара, озирается по сторонам.

Ответа нет ниоткуда. Его жжет, печет, выворачивает наизнанку, а по сердцу его, по каждой жиле словно молоты бьют. Осенние деревья с влажными желтыми листьями и кроваво-яркими гроздьями простерли к нему длинные ветви, похожие на иссохшие кости, и за каждой ягодкой, за каждой веточкой спряталась смерть. Но это ягодки, а ведь и люди за столом, обратились в лютых членистоногих – пауков, крабов, скорпионов, – трутся друг о друга

шершавыми похрустывающими панцирями, тянут к нему острые клешни и жвала, с которых каплют слюна и кровь...

И все остановилось... Нельзя сказать, что время идет медленно, на самом деле его просто нет. Это – какой то *обморок бытия*... О, если бы оно пошло *назад*, вернуло любое из мгновений *вчера*... Но чудовищная, враждебная и безмерно ненавистная ему высшая власть замерла, чтобы вновь двинуться вперед. И чтобы она двинулась, он должен подтолкнуть ее, что-то сказать... Что? Он не знает, он не готов... но она неотступно ждет, требует ответа... В голове его шумит, в виски стучает кровь, и все, что ни видит взор, застилает вздрагивающая красная паутина... Не красная – белесая, и не паутина это, а трещинки – мир растрескивается, это его хруст он слышит, и нет силы, которая смогла бы теперь удержать его от крушения...

Налетает порыв прохладного ветра, шелестит, осыпаясь, яркая листва. И вдруг, глядя на нее, он понимает, что не только нет удерживающей силы, но она и не нужна! Незачем удерживать то, что удержать невозможно, как эти листья! И тогда свет на мгновение меркнет, и в крошечном мраке вокруг него рушится мир и осыпается вниз с тихим звоном и шорохом. Боль, жжение внутри становятся нестерпимыми, но это длится ровно мгновение – пока он осыпается. А потом боль сразу пропадает – словно из его груди с хрустом и треском вырвали сердце. Вот свет вспыхивает снова, но это уже другой свет и другой мир, легкий, прозрачный, лишенный страхов и недоумений. В груди холодно и пусто. Боли нет. Нет и волнений. Здесь никого не надо держать, *они* сами будут держать его!

Осеннее солнце светит просто и ясно, вокруг ослепительного, но холодного диска стынют призрачно-белые облака. Пауков и скорпионов за столом нет – это все его давние знакомые, глиняные болванчики, тупые и холодные, обтянутые нарядной кожей...

И видит он, что Мара, стоящая рядом, бессильно уронившая руки и с ужасом глядящая на него, – единственно чужая в этом сонме. Все вокруг холодные, а она теплая, от нее просто веет теплом и этими странными женскими ароматами, от которых у живых людей кружится

голова... Но у него голова больше не кружится! Он еще раз глядит на пергамент, на ее имя и мельком удивляется, что буквы, только что шедшие в нем как положено, справа налево, идут теперь слева направо. Но что-то подсказывает ему, что в этом новом, ныне возникшем мире, всегда и было, и будет так. И тогда он смеется и легко говорит, указывая на Мару пальцем:

– Что мне в этой женщине? Возьмите ее!

Сулпиций Квириний кивает центуриону, и два воина в алых плащах, бронзовых панцирях и с перьями на шлемах стучают копьями об пол, передают их соседям и шагают к Маре... Это уже не интересует Тиберия. Он оглядывается, видит широко раскрытые испуганные глаза Дианы и манит ее:

– Иди сюда!

– Как долго ты был холоден ко мне, – воркует она, с масляной улыбкой продвигаясь к нему за спинами сидящих; язык ее слегка заплетается. – Я вся прямо обля... обледенела... Как та рыба. Ты сделаешь, чтобы я оттаяла и ожила?

– Пляши! – и Тиберий одним движением сбрасывает на пол со стола кубки, блюда, цветы, вазы, объедки...

– Ничто не будет упущено, чтобы возвеличить наследника престола, – любезно подтверждает Фрасилл. – Это не мои слова, я лишь передаю волю посланного меня божественного Августа!

– Пир продолжается! – восторженно кричит Вескуларий Флакк. – Наполняйте ваши чаши – и выпьем за гениев божественного Августа и утвержденного ныне его преемника!..

И вдруг все – клиенты, сотрапезники, гости – в едином порыве, со счастливыми улыбками, бросаются к Тиберию, подхватывают его на руки, поднимают вверх, норовя посадить себе на плечи, вознося все выше и выше. Нога его в желтой калиге соскальзывает с плеча одного из них, и тот бережно поддерживает ее... Тиберий отчетливо слышит: «Аккуратнее!..». Его начинают неуклюже качать, стараясь хоть на мгновение прижаться щекой или лбом к

его тоге, его руке, его калигам...

– Шма, Исроэл, Адонай элохейну, Адонай эхад, – громко говорит Мара, не делая даже попытки вырваться из лап вцепившихся в нее легионариев. – В руки Твои предаю себя!

В этом шуме слышит ее, видимо, только Фрасилл. Он движением пальца подзывает центуриона Валерия Руфа и что-то шепчет ему. Мару немедленно уводят.

Глава 13. ПОБЕГ

Солнце зависло уже у самой кромки моря, тени длинные и уродливы. Ветер, дующий из порта, несет гнусные запахи отбросов – тухлой рыбы, гниющих овощей, горький смрадный дымок горящего мусора. Кажется, запахом гнили пропитался весь остров, Мару подташнивает от него, в груди словно застыла глыба льда с давешней рыбой. Что за мерзости говорил этот... этот...

– Куда вы меня ведете? – непослушными губами произносит она когда легионарии минуют преторий. – Он сказал: «доставить в сенатскую комицию...»

– А разве ты не захочешь бежать? – преувеличенно удивляется один из легионариев, светловолосый, светлоглазый, со шрамом на левой скуле, худой и прыщавый. Глаза его просто сочатся похотью, губы плотоядно причмокивают. – Или туда хочешь? – указывает он на дверь претория. – Смотри, там мужиков много...

– Ты влипла в прескверную историю, девчонка, – подтверждает другой, пониже ростом, но постарше, поплотнее, рыжебородый, с темными глазами. – Не знаю, что уж ты там натворила... Ты по уши в дерьме, и жить тебе осталось совсем немножко! Но у тебя есть выбор...

Они переглядываются, и рыжебородый, кривя рот в похотливой усмешке, продолжает:

– Сделаешь *приятное* нам обоим – так и быть, отпустим...

Под ногой у Мары что-то хрустит. Она невольно глядит вниз и видит полуобглоданный овечий костяк: позвонки и ребра покрыты клочьями гниющего мяса, ошметки шкуры, склоченные кишки в зеленоватой слизи... Это выше ее сил. В ушах шумит, в глазах чернеет и она обмякает, обвисает на руках конвоиров-убийц, глаза ее закрываются, голова опускается на грудь...

Каин

– Ну? – спрашивает паучок, сидящий у Мары на

воротнике. – Куда теперь? К Давиду? К Иову? К Каину?

– А зачем – к Каину? – удивляется Мара.

– Он первый понял, как это невероятно трудно для души человеческой – жить среди обезьян. И первым узнал, что *дверь всегда рядом*. И указал эту дверь сестре своей, Хевель! Она родилась в последние часы перед уходом из Ган Эдена; она была слабой, нежной девушкой, мир, где рычали звероподобные обезьяны с дубинами, страшил ее. Ангел, не для дольного мира была она создана, и тот мир был создан не для нее! И она сама умолила Каина отправить ее *назад*... Он всего лишь открыл перед ней найденную им дверь. Потому и не взыскал Господь с него ее кровь, а наказал изгнанием, и заповедал, что поднявшему руку на Каина отомстит всемеро...

– Убийство остается убийством, как его ни оправдывай...

– возражает Мара. – А чем он занят сейчас?

– Да все тем же – учит девочек, как открывать заветную дверь... и как подойти к ней... Но почти все они задают ему... гм... совсем другие вопросы... Так что у него теперь целый бейт-сефер¹. И целая теория – он говорит, что людей развелось слишком много, что лес нужно прореживать...

– Словом, учит девочек умирать?

– И убивать, – замечает паучок. – Он теперь сам не убивает.

– Это ж норку паучью надо искать? – спрашивает Мара.

– Зачем? – удивляется паучок. – Вон обрывчик. Подойди-ка к нему!

Мара подходит ближе к желтому обрыву, над которым благоухает стог свежескошенного сена и с удивлением, надо сказать, не очень-то и большим, видит, как, шелестя и потрескивая, исчезают комочки глины, и перед ней прогибается пустая желтая сфера...

...Вот и бейт-сефер. Угол подземной сферы, внутри которой они путешествуют, вдруг засветился, а потом в нем появился аккуратный треугольный пролом, оконтуренный

¹ Школа, букв. «дом знания» (ивр.).

сырцовым, замешанным на соломе кирпичом. Мара заглядывает в просторное темноватое помещение, освещенное несколькими площадками бараньего жира. За партами сидят хомячки и морские свинки, а учитель, большой серебристо-зеленый ерш или, может быть, окунь, обмотанный красным шарфом, ходит по единственному проходу между лавок. Видимо, он и есть Каин. Мара чувствует себя паучком, повисшим у потолка школьной комнаты...

– Что делает *плохая* гетера? – булькает и сипит окунь. – Она сразу – одежды долой, хватя клиента за уд, и в рот потянула. Ни слова ему доброго не скажет, ни в глаза не заглянет. А у самой в глазах – брезгливость и отвращение...

А ведь клиент тебя не трахнуть хочет! Вернее, не только трахнуть. Он душой оттянуться хочет. Душой! Трахнуть – это само собой, но это между прочим. Для вас главное не в этом! Душу вы ему должны уметь найти, разнежить и ублаготворить. Душу! Ведь вы – суперэлитные гетеры! Штучный товар!

– Да нет у них никакой души!.. – ворчит морская свинка с последней парты.

– Разговорчики! Вы знаете, *кто* у вас будут клиенты? Тот! Никакие жертвы не малы. Есть она, нет ее, – все равно найди! И раздень ее, раздвинь створочки, в которых она прячется... И нежненько, нежненько! Ручками, губками, язычком, ресничками... Не в том смысл, чтобы спеть или станцевать, а в том, чтобы песней тронуть его душу. А тронула – нащупай, разомни ее, помассируй, чтобы распрямилась у него душа...

– Было бы что искать! Ни хрена там не найдешь... – выкрикивает все та же свинка.

– Найдё-ошь! – тоже кричит окунь, присев перед свинкой и заглядывая ей в глаза. – Захочешь, так найдешь! Если знаешь как искать! А ищут не задницей, а душой, душой, своей душой! – Словно в подтверждение своей мысли окунь захлопал грудными плавниками. – *Душу* подставлять надо, а не... кверху драть!.. И я спрашиваю тебя: как и о чем ты будешь с ним говорить?

– О доблести и силе! – отвечает та хорошо

затверженный урок. – О праве и долге римлянина быть сильным.

*Римлянин! Ты научись народами править державно –
В этом искусство твое! – налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войною надменных!*¹

– Но в какой-то момент ты так или иначе должна будешь позволить ему вытереть об тебя ноги!

– А красота? – спрашивает та незнакомая девочка, которую Мара до сих пор принимала за морскую свинку.

– Хм... А ты сама уверена в своей красоте?

– Уверена!

– Уважаю...

Окунь распрямился перед ней, движением плавника отбрасывает за спину свой красный шарф, и продолжает разевать рот, откуда, словно тихое бульканье, вырываются слова:

– Ну, так и дай ему это! Дай ему растоптать твою ангельскую невинность, яви беспредельное смирение! Сделай, чтоб он увидел твои ангельские крылышки, и позволь ему сломать их, если он захочет... Крылышки, крылышки сломать, а не... что-то иное! Он тебя распинать будет, а ты ему улыбайся, все прощая и целиком сочувствуя. Он тебя взнуздает, в квадригу запряжет, – а ты ножкой, ножкой, как лошадка игривая, поскачем, мол! Подыграй ему!.. Полюби его, – и успеи полюбить прежде, чем тебя изнасилуют! В этом все дело! Полюби! Легко полюбить доброго да жалостливого – а ты полюби жестокого, бессердечного, бездушного! Вы ж хотите, чтоб они в вас душу искали. А кто ее будет искать в нем? Кто в нем чувства добрые пробудит?..

– Я думаю... – заикнулась было девушка, похожая на морскую свинку...

– Чувства *добрые*,...! Доб-р-р-ры-е! Лирой. Или китарой. Неужели непонятно?

Окунь выходит на середину классной комнаты, стучит тростью по грифельной доске и восклицает:

– Слушать всем! Всякие там нравственные чувства –

Вергилий. Энеида. VI: 851 сл.

выскребать, как собачье дерьмо из рифленой подошвы котурн! Как учил Диоген? Нужно иметь либо ум, чтобы понимать, либо веревку, чтобы повеситься. А теперь практические занятия! Всем раздеться – и на улицу! На улицу! На улицу! Все на улицу!

Конечно, это не хомячки. Все они – девушки...

Мара быстренько перебирается в своей волшебной сфере к другому углу глинобитного дома. А там, во дворе, уже запрягли квадригу. Двор освещен и полной луной, которой, казалось бы, не должно здесь быть, и еще невесть каким ярким светом. Холода Мара не чувствует, но повсюду лежит снег, и белые перья инея виснут на ветках. На бело-голубом фоне красиво выделяются розовые девичьи тела, пар, идущий у них и изо ртов, и из-под босых ножек, под которыми тает снег.

Бубенцы звенят, в прическах – разноцветные султанчики, в зубках – уздечки. Они улыбаются, они поправляют друг на дружке сбрую – толстые ремни грубой кожи с медными бляхами на тоненьких шейках, на хрупких спинках... Наконец милашки в упряжке, голенькие, босенькие, посиневшими ножками с поджатыми пальчиками бегут по снегу, влача тяжелую квадригу...

И ни упрека от девушек, ни стоны – только улыбки, нежные, чистые, радостные: давай, мол, еще, здорово получается!.. Хоть и ссадины уже от сбруи на нежной коже, и потертости, и сукровица сочится... Кожа – не розовая уже, а желтовато-синюшная от холода...

*Резво девушки бегут,
Снег сверкает, свищет кнут...*

Действительно, окунь, восседавший в квадриге, начинает охаживать своих воспитанниц кнутом. Рубцы сначала белеют, потом вспухают багровым или наливаются синим... Порой, если кнут рассекает кожу, высачивается несколько капелек крови. А сверху – снежинки, звездочки, хлопья... Вечер синий спускается, сугробы вокруг...

Но задорно блестят глазки, рдеют губки... Весело нам! Весело!..

– Кто это? Что это? Что они делают? – вся дрожа, оборачивается Мара к паучку.

– Школа, – хмыкнул тот. – Разве ты не видишь? Школа Каина.

– А почему они не убегут? Здесь же можно все...

– А почему *ты* не убежала? – возразил он. – Ведь *там*, если ты еще не знаешь этого, тоже *все* можно...

– Я не такая! – Мара возмущена до крайности. – Я посвящена, меня Предвечный ведет...

– Точно так же здесь считает каждая, – роняет паучок. – Разве не читала ты: «Попустил Господь духа лживого в уста пророков твоих»? А почему этому духу удалось овладеть ими? А потому что им ну очень хочется – хоть так, но оказаться у власти. Ну, не у власти, но хотя бы рядышком с нею...

– А потом? Что с ними будет потом?

– Откачают в любом случае – даже если он и запрет кого... Намылят, напарят, сошьют, – как новенькие будут! Ни шрамов, ни рубцов. Это как раз не вопрос, это здесь запросто...

– Я не про это... Потом, когда они... Ну, те... кого вел дух лживый...

– А! – понял паучок. – Гляди сюда!..

На ветвях висят грязно-зеленые лохмотья, похожие на истрепанные до последней крайности половые тряпки, о которые долго вытирали сначала руки, а потом и ноги. На лоскутках – комья прогорклого жира, потеки, похожие на сопли, в которые изрядно намешано древесной трухи...

– Что это, – дрожа еще сильнее, спрашивает Мара.

– Это их души, – отвечает паучок. – *После* того. Здесь будет *квисат нефеш*². Большая стирка...

– Эй, мы не подряжались тащить тебя, – встряхивает Мару один из легионариев. – Взялась идти, так уж иди!

Мара неторопливо, словно кувшинка из толщи воды,

выплывает из обморока, приподымает голову, открывает глаза. Вокруг – тот же сырой осенний денек, но солнце уже не струится по ярким листьям: оно закатилось за морской горизонт. Однако лапищи легионариев все так же крепко держат ее. Обморок длился всего несколько мгновений... Сердце дает слабый перебой, жалко сжимается: оказывается, смерть еще не пришла... Но она скоро придет, очень скоро...

– Не видишь, сейчас обмочится от страха, – говорит другой легионарий. – И хорошо, если только обмочится. Во-он у обрыва кустики, – продолжает он, обращаясь уже к ней. – Зайди за них, сделай свое дело и жди нас, не одевайся! Мы следом подойдем. Будешь хорошо себя вести – отпустим, нет – не жалуйся...

Он легко подталкивает ее, и она, пошатываясь, как тряпичная кукла, переставляет ноги по направлению к кустам у обрыва...

– А будешь вести себя плохо, – кричит вдогонку другой, – распнем и будем резать мясо по кусочкам! Это больно!

Оба смеются, и в звуках этих нет ничего человеческого.

Мара подходит к обрыву, стопке сложенных друг на друга плоских плит известняка в грязных потеках от осенней сырости. Сколь могуществен Тот, кто укладывал их!.. Почему он не предусмотрел, что, уткнувшись в них лбом, будет стоять здесь в предсмертной муке Его дочь?..

Сон кончился, как кончаются все сны. Вот и жизнь кончается...

Она оборачивается: над морем громоздятся темно-синие тучи, подсвеченные снизу узкой багровой полосой. Чахлые кустики, на которых бьются под ветром последние желтые листья, почти не скрывают ее от преследователей. Те продолжают неторопливо приближаться, попирая калигами исчахшую осеннюю траву, оживленно жестикулируя и споря, – а спорят они не только о том, кому из них первому будет она «делать приятно», но и кому, для украшения щита, достанется ее головка. Им незачем волноваться, некуда торопиться: Мара никуда от них не уйдет.

Она отворачивается, не желая в последние свои минуты видеть этих нелюдей.

3-я Цар. XXII: 23.

² Стирка души (ивр.), технический термин Каббалы.

Дует прохладный ветер, зябнут руки, и Мара невольно сует ладошки в карманы, забыв, что уже вот сейчас она превратится в ничто, и нечему больше будет зябнуть. И вдруг натывается в кармане на что-то твердое. Это – Кадмов камешек... Неужели она когда-то беседовала с Кадмом?..

Пульс ее бьет девяносто в минуту, голова горит... Она приближает пылающий лоб к прохладе камня – и вдруг видит, как перед ней в известняке с хрустом и потрескиванием прогибается хорошо знакомая ей пустая сфера...

Глава 14. НЕУДАВШЕЕСЯ ЧУДО

Фрасилл и Тиберий не поскупились: трактирщики накрыли для народа столы от базара чуть ли не вплоть до городских ворот. После «исполнения гражданского долга» каждый горожанин получал алую нарукавную повязку с черным крючковатым крестом в белом круге и допускался к столам, ломаясь от яств. Каплуны и куры, утки и гуси, свиные окорока и грудинка, различного рода сатура на блюдах: колбасы, пироги, пудинги, каша из полбы и бобов, печеные каштаны, орехи; круги овечьего сыра и кувшины меду, соль, горькие травы... На улицах – возы с печеным хлебом, капустой, соленой и вяленой рыбой, яблоками. От костров, горящих прямо на площадях, пышет жаром. Громадные куски говядины, целые туши овец и свиной шипят и роняют капли жира на раскаленные угли, по которым перебегают синеватые огоньки.

Смех и радость – повсюду: колесом ходят гистрионы в костюмах с яркими заплатами, с подшитыми бубенчиками; они смешат народ непристойными жестами, песенками и шутками. То и дело из подворотен появляются парочки с раскрасневшимися щеками, растрепанными прическами... Восторженные взоры то и дело обращаются в сторону тибериевой виллы: это он превратил воду – в вино, будни – в захватывающий праздник! Вилла хорошо видна с площади, видны даже фигурки людей, тоже пирующих там, на террасе.

– Славься, Вакх Тиберий!

– Здравствуй вовеки, Тиберий, радость наша!

Тех, первых гидрий оказалось мало, и на улицу из подвалов выкатывают еще и еще бочки. По всему городу разносятся манящие ароматы и молодых, и выдержанных виноградных вин. Всякий, кто б ни подошел, если у него есть на рукаве повязка со знаком паука, может пить густое вино хоть до потери пульса... Под вечер из бочек вышибли не пробки, а днища, и не наливали вино, а черпали его...

Пир продолжался до поздней ночи, а кто-то из горожан, пошатываясь, бродил до самого утра, пока не свалился где-то в подворотне, головой в мусорную кучу.

Но с утра пир начался снова.

Еще со вчерашнего вечера стали приходить к жертвоприношению домохозяева из окрестных селений, желающие выполнить «свой гражданский долг» и принять участие в празднике. С утра вокруг жертвенника толпились преимущественно они. А к тому времени, как солнце поднялось в дерево, поток народа к жертвеннику иссяк. У всех, толпившихся на площади, на рукавах атели повязки, свидетельствующие об их добропорядочности.

Тем не менее в пиршестве приняли участие не все; не все вознесли и жертву божественному Августу.

Город Камирос с обеих сторон облегает устье бурного горного ручья с тем же именем, а потом широко выплескивается на побережье: некоторые домики там мостятся так близко к берегу, что в шторм до них долетают соленые брызги. Здесь всякий, кто пожелает, может смастерить из подручного материала хижину и жить, ни о чем не беспокоясь, даже о налогах, до очередной люстрации. Эти места в городе называют Слободкой, или Куличками. Там живут те, кто не сдает в аренду, а арендует рыбачьи фелуки; те, кто не отправляет суда за зерном в Египет, а печет из этого зерна пирожки и вразнос торгует ими на базаре; те, кто не ест на серебряных блюдах, а лепит на гончарном круге глиняные блюда и горшки; те, кто выделывает шкурки козлят, беря их еще влажными и липкими от крови, а отдает уже в виде сандалий или сапожек; те, для кого не нашлось места в земле своих отцов, и они вынуждены искать сколько-нибудь сносного угла по всему миру.

Короче, там живут евреи диаспоры.

– А что ж наши приятели из Куличков? – блеет кто-то из горожан, крутя кудрявой головой, как ягненок, заблудившийся в чертополохе. – Им что, говном на агоре воняет? Им наша радость – не радость?

Крик поддержали:

– Налить и им! Послать им бочку!

– Бочки мало! А сами они что, не придут?

Приходил, приходил кто-то из *них* вчера, в самом начале, когда разгул еще не начинался. Думали – люстрация или сбор налогов... Кому-то жрец, по доброте душевной, даже шепнул:

– Да плюнь ты, это ж формальность! Скажи – «во здравие божественного Августа!», а сам шепни или даже просто подумай перед возлиянием, как у нас принято, «*juravi lingua, mentem injuratum gero*»¹, – и все! И все! Видишь, как просто!

И кто-то из них даже, кажется, сделал так, – а, может, и нет, – но от повязки отказался и с площади ушел, не став пить «превращенного» вина.

Они рассказали *там*, что здесь происходит. И Кулички прижухли. Больше оттуда никто не приходил.

– Это, наконец, обидно! – буянит какой-то горожанин. – Самуил мне наливает – я пью. И ничего! Я ему тоже хочу налить! Чтоб он выпил. У меня, в конце концов, праздник! А его нету! Самуил! Самуил! Он что, меня не уважает?

И это словечко, раз произнесенное, стало повторяться все чаще:

– Они нас что, не уважают?

– Наш праздник что, для них не праздник?

– У них свои праздники.

– Я по субботам не знаю, куда и за хлебом бежать! Хоть с пятницы на два дня закупай!

– А не навестить ли нам наших приятелей?

И это желание – навестить – стало главным в движениях муравейника, кишевшего на площади и желавшего каких-то активных действий. Тем более, что жрец-августал, Фабий Максим, не только не возражал, а прямо сказал, что тех, кто не явился на площадь, к дверям храма, он просто по долгу службы обязан навестить на дому и таким образом предоставить им возможность исполнить свой гражданский долг. Может, они заболели, и сами прийти не могут?

Не прошло и часа, как праздничная процессия была

¹ «Я клялся языком, ум мой не клялся» (лат.)

снаряжена и направилась в Кулички.

Впереди идут женщины в белых покрывалах, украшенные венками осенних цветов. Одни из подолов усыпают путь процессии цветами, веточками дуба и лавра; другие с ведрами благовоний, весьма, впрочем, разведенных, кропят направо и налево, пытаясь отбить въевшийся во все щели запах гнилой рыбы.

Далее, влекомая за оглобли несколькими добровольцами, время от времени сменяющимися, поскрипывает телега, несколько неровно, но неуклонно перемещая в пространстве статую Августа-Юпитера с простертой в светлую даль рукой. Возвышенное чело и устремленная рука трясутся, подрагивают, покачиваются из стороны в сторону вместе с телегой. Цветные ленты, изящно натянутые во все стороны от шеи изваяния, почти полностью скрывают смолёные веревки, которыми пришлось именно за шею раскрепить статую, чтобы она не падала. Колеса почти не гремят по камням, обмотанные войлоком в несколько слоев и обвязанные цветными лентами.

Сам Фабий Максим, член жреческой коллегии августалов и, стало быть, высший служитель таинств, также пребывает на телеге, свесив ноги через грядку. Никто, кроме него, к этой чести не допущен. На лице его блуждает благостная улыбка.

Сразу же за телегой знаменщик центурии несет ее значок – шест с крестообразной перекладиной, вверху украшенный накладными бронзовыми орлами, внизу – медными и бронзовыми кольцами. На перекладине слегка покачивается от ветра и движения прямоугольный кусок златотканой парчи с изображениями победоносных орлов.

Следом четверо легионариев несут складной полевой алтарь. За ними идет еще один, осеня алтарь сделанной из позолоченной бронзы пальмой с немного великоватыми листьями, не столько звенящими, сколько дребезжащими на ходу.

Следующий за ними легионарий возносит к небесам бронзовый жезл Меркурия, немного, может быть, и

неуместный в этой процессии, но придающий ей дополнительный блеск. На повороте, где процессия резко повернула вправо, начав отдаляться от речки и приближаться к Слободке, он споткнулся и за малым не грохнулся оземь, но удержал равновесие, опершись на означенный жезл. Конец жезла немного запачкался в уличной грязи, но его тут же оттерли и легионарий с прежним воодушевлением вознес его над головой.

Следующему легионарию приходится вовсе худо. Он изображает Фемиду, символ справедливости, левой рукой вознося горькие весы с нелепо болтыхающимися чашами. Именно левой, ибо по природной бездеятельности своей она не предана ни хитрости, ни ловкости и потому скорее, чем правая, может олицетворять справедливость. Но левая рука и слабее, а он крепко выпил, и потому уже с середины процессии просто опустил руку, и лишь время от времени, вздрагивая и открывая все время желавшие закрыться глаза, снова поднимает руку, сопровождая это движение невнятным хрюком.

Далее поскрипывает телега со смоляными факелами – вдруг да процедура задержится дотемна. На еще одной телеге горой свалено жареное мясо: его так много, что сопровождающие телегу легионарии не препятствуют любому желающему подойти и вкушать от дармовых благ, следя только за тем, чтобы уже взятую, ошупанную, а тем более обкусанную кость не швыряли на прежнее место.

Еще две телеги, окруженные толпой, везут бочки с вином. У одной из них пробка выбита, и виночерпий на ходу наполняет любому желающему подставляемый им сосуд, половину драгоценной жидкости проливая при толчках в дорожную пыль. Еще одна телега – с лепешками – где-то у поворота переломила ось да так и осталась там на радость мальчишкам из окрестных дворов. Следом движутся свирельщицы и флейтистки, держа свои инструменты, как у них принято, наискосок к правому уху, и издавая самые сладчайшие звуки, на какие только способны. Они же издают пронзительный звон, потрясая медными и бронзовыми систрами.

Далее движется хор граждан в праздничных или, по крайней мере, украшенных блестящими гирляндами

одеждах, поющих, впрочем, не совсем то или даже совсем не то, что играют флейтистки.

Далее движется процессия богов, удостоивших избранных воспользоваться их ногами для своего передвижения – попросту говоря, граждане-добровольцы, надевшие нужные костюмы и маски. Вот наводящий ужас посредник между небесным и подземным миром, высоко возносящий собачью морду Анубис; в левой руке он держит жезл, а правой трясет зеленую лавровую ветвь. Непосредственно за ним шествует корова, животворящий символ Исиды, богини-всепородительницы; несущий ее добровольный священнослужитель несколько склоняется и даже пошатывается под блаженной своей ношей. Еще один несет закрытую корзину, заключающую в себе – а, может, просто олицетворяющую – ненарушимую тайну великого учения, вечно живого, всепобеждающего и побуждающего к движению вперед. Для того, чтобы тайный смысл корзины был ясен окружающим, к ней привешены бронзовые бубенчики и она увита цветочными гирляндами.

Следующий в счастливых своих объятиях несет досточтимое изображение верховного божества, не похожее ни на домашнее животное, ни на птицу, ни на дикого зверя, ни на человека; оно, правду сказать, вообще ни на что не похоже; по мудрому замыслу его ваятеля оно самой странностью своей должно вызывать почтение, скрывая глубочайшим молчанием неизреченную сущность высокой веры.

Еще один, потряхивая золотистыми локонами и моргая светлыми антилопьиными глазами, несет широкую вазу, искусно украшенную диковинными египетскими изображениями; над ней возносит тряпичную голову змея с чешуйчатой головой и полосатой вздутой шеей...

А вокруг процессии – счастливые, пошатывающиеся, заплетающимися ногами горожане, пьющие, жующие, поющие песни, сплевывающие от тяжелого запаха (здесь, рядом с портом, до того разит помоями и падалью, что хоть нос зажимай) – и, по какой-то прихоти воспаленного своего воображения выламывающие подходящие колья из заборов, мимо которых доводится им проходить.

– Вон они!.. Везут, идут... Вон они... сейчас появятся... – слышатся голоса, и бегут босоногие мальчишки, а за ними выступают, потупившись, или, наоборот, воздевши бороды вверх, солидные горожане из улиц, пересекаемых шествием.

– Августа везут! Заступника!.. Августа!..

– Августа-Вакха!.. – поправляет другой.

– А не Тиберия? – уточняет третий. – Не Тиберия-Вакха?..

Горожане – и те, кто чинил сетные дела, и те, кто смолил баркасы, и те, кто, исполнив свой гражданский долг, окапывал теперь вишни, – побросав иглы, конопатки, лопаты, выбегают навстречу шествию. Даже те, кто просто искался, сидя на завалинке – и те, накинув что-нибудь цветастое на плечи, считают долгом присоединиться к выражению общей воли.

Лучи неяркого солнца бьют с запада; слабый, свежий ветерок играет волосами открытых голов и лентами, которыми убраны корзины и телеги; пение далеко разносится по городским улицам. Толпа за процессией все растет. Поразительно серьезное выражение лиц сбегающихся, уверенных, что делается некое нужное и даже святое дело, – и чем меньше понимают они, что именно делается, тем более святым и нужным кажется оно им. Одинаково жадно смотрят на ползущую телегу с покачивающейся статуей даже те, кто стоит у собственных ворот, не собираясь примкнуть к движению. На всех лицах – сознание торжественности наступающей минуты.

Подойдя к Слободке, процессия останавливается. Дальнейший путь преграждает гора какого-то хлама: сгнившие бочки, ящики, вырванное с корнями дерево с давно увядшими листьями (не вчера, видимо, вырвали), остов баркаса. По обе стороны ее – не плетешки из полусгнивших акаций, которыми разгорожены дворы там, в самой Слободке, а настоящие крепостные стены, в предвидении возможных случайностей в свое время сложенные из неотесанных камней и уже поросшие мохом.

А из-за баррикады молча и хмуро посматривают обитатели сих мест <...>¹

...появился Берл бен Звулон, раввин Куличков. Фацисты пропустили его, тщательно обыскав, дабы не пронес он на виллу ни меча, ни кинжала. Волосы его всклоочены, на одеждах – свежие прорехи, на щеке – глубокая кровотокающая царапина.

– Как может спокойно сидеть и пировать наследник империи, когда одни его подданные убивают других, – в упор смотрит он на Тиберия.

Тот делает жест музыкантам: наступает тишина. Танцовщицы, в ярких повязках, с насурьмленными бровями и ресницами, недоуменно прерывают танец. Почти горизонтальные закатные лучи золотят их тела, животы, бедра...

– Но что случилось? – несколько преувеличенно изумляется Фрасилл, отрываясь от устриц в светлом вине. – Ведь к вам отправилась мирная депутация? Неужели кто-то помешал жителям Куличков исполнить их гражданский долг?

Берл бен Звулон молча смотрит на него, затем обращается к Марку Кассию, генеральному откупщику Родоса, недовольно и недоуменно оторвавшегося от своей барвены:

– У нас все налоги уплачены!

Затем замечает Квинта Сервилия, губернатора острова, толстого, обрюзгшего, лениво, не обращая внимание на шум, цедащего чашу фасосского:

– Высочайшим повелением иудеи избавлены от принесения жертв императору!

– Только те, которые могут представить свидетельство о внесении подати на ершалаимский храм, – через губу роняет тот. – Только те. А это... – он неопределенно вертит рукой в воздухе, – это еще нуждается в тщательной проверке...

– Не дело выяснять это здесь! – восклицает Тиберий. –

Там, возможно, льется кровь! Скачем!
Фрасилл одобрительно смотрит на него.

Когда кавалькада появляется у баррикады, ее защитники, видимо, только что отбили очередной натиск законопослушных граждан с повязками на рукавах. Один из нападавших, поматывая головой, сплевывает багровые сгустки; вокруг него шумят три-четыре верных товарища. Другой, поминутно трогая рукой заплывший глаз, выкрикивает в сторону баррикады скверные ругательства. Поодаль, там, где нападавшие решили было разбирать каменную стену, кто-то лежит на траве; волосы его слиплись в красные сосульки, он редко и громко икает, а вокруг, с выражением ужаса и священной решимости на лицах, стоят его сторонники...

– Прекратить! – издали кричит Тиберий голосом, которым он поднимал легионы в атаку. – Немедленно прекратить!

Белый его конь подымается на дыбы, крутится перед баррикадой, и наконец, усмиренный, дает своему владельцу возможность спрыгнуть.

– Что здесь происходит? – гневно спрашивает Тиберий у Фабия Максима.

– Жрец-августал расплетает скрещенные ноги, отталкивается локтем от телеги с изваянием, подходит к Тиберию с выражением полной невинности на лице и бормочет, словно он и не носитель одной из наиболее чтимых должностей в государстве, а какой-то мальчишка:

– Я им говорю: не надо этого. Не надо, говорю, нужно мирно, по-человечески. А они меня не слушают...

– Чего не надо? Кто не слушает?

– Ну... Они же чинят препятствия... Не дают подъехать ко дворам... Ребята и рассердились. Стали разбирать завал. А они не дают. А я говорю: не надо этого.

К Тиберию подходит Фрасилл, трогает его за локоть:

– Может, простим им на радостях?

– Простим? – озадачен тот. – Что простим?

– Долги...

– Слушай, это, в конце концов, твое или мое дело? Их

¹ Большой невосстановимый пропуск в оригинале.

жрец сказал, что долгов никаких вообще нет!

– Мое-то мое, но и ты мог бы помочь.

– Я? Каким образом?

– Ты осчастливил *тех* – явил свою божественную суть, превратил воду в вино... Осчастливь и *этих*: скажи, что все им прощаешь, принеси еще одну жертву, очистительную, за них – и поехали догуливать...

На лице его, сквозь просьбу, – равнодушие и скука.

Не так Фрасилл планировал провести финальную сцену, не такой видел и роль Тиберия в ней. *Почти* такой, но эффектней, ярче, драматичнее. Вот так всегда: стоит поручить дело другим, и все идет наперекосяк. Другие сцены, такие, какими Маккавейские книги рисуют правление Антиоха Епифана, мерещились ему. Он думал, что алтарь вкатят прямо туда, в Кулички; что добропорядочные граждане, при молчаливом и одобрительном попустительстве легионариев, кулаками, плетью и дубьем погонят к нему упирающихся евреев, будут принуждать их, гнуть им шею; что и убьют, может быть, кого-то, – и вот тут-то появится Тиберий на белом коне, вот тут он, с высоты седла, громогласно пожурит добропорядочных граждан и помилует евреев, позволит им не приносить жертв... Даже, возможно, здесь же, прилюдно, зарубит мучителя-Фабия – не жалко! И возликуют они, и припадут губами к его рукам и коленам, и укроют цветной попоной его коня... И разнесется по их общинам слух о Тиберии-защитнике, Тиберии-спасителе, Тиберии-искупителе...

Хорошо он мечтал. Прямо сказать – не мечтал, а бредил.

Ничего не вышло. Ничегошеньки. Пшик и конфуз.

Но, в сущности, ничего и не потеряно. Не последний день живем. Просто надо тщательнее продумывать и выстраивать мизансцены и ничего не пускать на самотек...

– Ты ведь знал, что Фабий отправился сюда! – подозрительно спрашивает Тиберий. – Зачем? Есть же

указ – евреев к жертвоприношениям не принуждать!

Лицо Фрасилла становится еще скучней. Во имя Меркурия, еще и оправдываться надо!

– Знать-то знал, но не знал, что здесь живут *одни* евреи. Иначе б я его остановил...

Тиберий долго смотрит на понурое лицо Фрасилла, потом усмехается:

– Хорошо! Я вознесу жертву – за них...

– Наследник престола избавляет вас от принесения жертв! – с искренней радостью возглашает Фрасилл, обернувшись к баррикаде. – Он вновь явит божественную свою суть и вознесет за вас искупительную жертву!

Тиберий подходит к алтарю, берет протянутый Фабием шампур, и слышит за спиной насмешливый ропот *тех*, кто укрылся за баррикадой:

– Мы и так не обязаны возносить этих жертв!

– Вольному – воля: хочет вознести – пусть возносит!

– При чем тут мы?

– А куда вы дели Ицхака бен Давида?

– Где Мара бат Иоаким?

Видимо, Берл бен Звулон, давно уже скользнувший за баррикаду, к своим, сказал там, что ни Мары, ни Ицхака за столом на вилле не видел.

Тиберий уже совершает возлияние, а ропот за баррикадой перерастает в настоящий рев. Кто-то там начинает хлопать в ладоши и, повинуясь ритму хлопков, все Кулички начинают скандировать:

– Иц-хак! Ма-ра! Иц-хак! Ма-ра!

– К Фрасиллу подходит один из нападавших, тот, у которого заплыл глаз, голос его полон решимости:

– Только прикажи! Мы размечем это осиное гнездо!

Подумать только – они проломили Гаю Симплицию череп!

– Завтра подойдешь к городскому квестору, – цедит Фрасилл. – Если хочешь возбудить процесс. А сейчас – прочь отсюда!

Он поворачивает его за плечи и слегка надает под зад коленкой.

– Все, все! – кричит он. – Прочь! Уходите!

Походный алтарь берут на носилки, телега со статуей Юпитера, выполнившего свою миссию, тяжело

разворачивается – она увязла в грязи от пролитого вина – и, дребезжа и поскрипывая, направляется в обратный путь. Рука Юпитера, подбрасываемая на кочках, колыхнется вверх и вниз, и кажется, что он прощально машет Куличкам.

– Иц-хак! Ма-ра! Иц-хак! Ма-ра!

– А где она, эта Мара, между прочим? – раздраженно спрашивает Тиберий. – Я хочу ее сам допросить! Я имею право знать то, что будет знать сенатская комиция.

Один за другим переступают легионарии порог. У обоих – испуганный вид, а у Фавста даже некрасиво вздрагивает и приплясывает нижняя челюсть. Тиберий смотрит на них и его не оставляет мучительная мысль: он видел уже это, точка в точку, в каких-то незапамятных, довременных своих странствиях...

– Ну, так что же случилось с Марой?

– С кем, господин?

– С девушкой, которую вам поручили поместить под охрану для доставки в Рим, в следственную комицию!

Ужас на лицах обоих достигает максимальной степени: каждая черточка на их лицах словно бы вздрагивает и приплясывает.

– О, господин!

– Так что же с ней...

– Г-господин, – едва выдавливает из себя Фавст, – она *улетела!*

– Как? – ахает Тиберий.

– Что ты плетешь? – перебивает легионария Фрасилл, выглянув из-за плеча Тиберия. – Ты пьян? А ну, наклонись!

От обоих несет молодым вином, но совсем чуть-чуть. Тиберий пожимает плечами.

– «Улетела»? Из-под вашей-то охраны? – презрительно щурится Фрасилл. – Не верю. Может быть, вы убили ее, скажем, *при попытке к бегству?* А? Признайтесь, признайтесь, и, я думаю, наказание вам можно будет смягчить... принимая во внимание рвение...

– Но она действительно *улетела!*

– Та-ак, – выцеживает Фрасилл, и в слове этом оба

легионария читают свой приговор.

– Явился муж, велик и силен, в белых сияющих одеждах, – торопливо и сбивчиво бормочет Фавст, – и отворил перед ней ворота в скале, вышиной до неба. Сквозь них белели облака... А она распахнула лебединые крылья...

Фрасилл начинает дергаться:

– Что значит «улетела»? Каким это образом?

– На крыльях, господин, как улетают?

– Ты еще и дерзишь! Ее что, отбили бандиты?

– Н-нет...

– Вы можете показать, где лежит ее тело?

– Да нет же, нет! Она *улетела!* Некий муж в белых сияющих одеждах...

– Замолчать! – топает ногами Фрасилл, и из его рта летят брызги. – Замолчать! Не бывает никаких мужей! Не бывает никаких одежд! Вы упустили ее, подлюги, вы позволили бандитам отбить ее! А может, они *выкупили* ее у вас? Сколько вы получили сестерциев за предательство?

– А если не муж, то, может, волчица, как Ромула? – замечает Тиберий. – Или коза, как Зевса?

– Да, да, – на минуту утихает Фрасилл. – Но думаю, – взвизгивает он снова, заметив кривые ухмылки на передних поверхностях голов легионариев, – что этих мерзавцев нужно сегодня же публично распять! Вверх ногами!

– Или раз шесть... – с подчеркнутым спокойствием замечает Тиберий. Фрасилл недоуменно смотрит на него.

– И – поднять все центурии, – снова взвизгивает он. – Обыскать весь остров! Заглянуть в каждую крысиную щель! В каждую паучью норку! Каждой козе в трещину! Она *должна* быть найдена!

– Вот и распорядись, – Тиберий глядит на него уже с откровенной усмешкой. – Что ты вообще себе позволяешь? В присутствии наследника престола?

Глава 15. ФРАСИЛЛ И ЛОНГ

– Выходит, и у тебя бывают неудачи? – спрашивает Лонг, сплевывая за борт.

Они возвращаются в Рим. Победителями возвращаются! Долгой была ссылка – да, ссылка, теперь ее можно так назвать, – но закончилась она победой. Тиберий признан наследником престола. Как только он станет императором, им, ближайшим из близких, делить между собой высшие государственные должности. Государственный пирог, точнее сказать.

– Неудачи?

Фрасилл некоторое время снисходительно смотрит на Лонга, словно оценивая, стоит ли ему говорить правду.

– Видишь ли, дорогой мой Луцилий, есть два сорта людей. Одни – свободны, как ветер, они все могут в этом мире, он им – дом родной в любом своем уголке. Другие – прикованы к своему ярму. Как дать счастье и этим людям?

Он молчит, ожидая, ответа Луцилия. Но тот молчит.

– Много в мире путаницы, много горечи, много бессмыслицы. Но мы с этим справимся, мы это прекратим. Рим – единственная правда, единственная святость в мире, и она дает такую возможность. Рим – это и есть Бог в святых мечтах земли, Бог, реально сошедший в мир. В чем наша главная беда? Империя едина административно, но в ней слишком много вер и религий. Можно ли строить дом без отвеса? Нужна лишь одна. Какая? Наша? Вот видишь, и ты смеешься. Она не убедительна даже для нас самих. Но какая же тогда? Я отвечу: новая! Нам предстоит колоссальная работа – создать для империи, для ее Симплициев новую религию, чистую и святую, религию на веки веков. Мы скажем: «Да будет счастье!» И счастье будет – счастье на века! На всех граждан империи хлынут неисчислимыя блага из рога изобилия, непрестанным потоком забьют ключи богатства...

Я начал эту работу. Август понимает и поддерживает

меня. Год за годом, камень за камнем возвожу я чудесное здание завтрашнего дня, тот светлый храм, ту новую державу, тот разумный Рим, мысли о котором не дают мне спать по ночам. Но не напрасно ли все? Не над провалом ли я строю?

– Что ты имеешь в виду?

– Тех, в чьих глазах пустота и древний хаос. Я не хочу сейчас говорить о религии и морали. Но там, где у нас – патриотизм, у них – ирония. Там, где у нас – пафос, у них – цинизм: они пародийно искажают вещи и называют это «чувство комического». Там, где у нас – вера, у них – скепсис, едчайший из ядов, разъедающий самые основы государства...

– Ты говоришь о...

– Разумеется, о них! Пойми: все граждане государства, как камни, сложены в свод, в конструкцию, где каждый поддерживает каждого. Вынь один камень – и все строение рухнет. Резня и пожары, кровь и смерть, пучина отчаяния, ужаса и тоски – вот что может стать следствием вроде бы невинных сегодня мимолетных ухмылок при взгляде на орлы легионов, на государственную атрибутику... Ты понимаешь меня?

Луцилий кивает.

– У каждого народа – свои святости. Но мы принимаем их святости – и они принимают наши. Греки и египтяне, германцы и даки – все понятны мне. Все готовы принять то, что мы им дадим: чудо, тайну, авторитет. Только не *эти*! Они мне – бельмо на глазу, они мне – черви в похлебке. Они не готовы принять из наших рук святое счастье на века. Как убедить их? Я ищу. То, что ты видел – поиски. На этот раз не вполне удачные. Но и непоправимого пока ничего не случилось. И время еще есть.

– Но можно и не убеждать? – хмыкает Лонг. – Можно...

И он красноречиво проводит большим пальцем себе по плотке. И Фрасилл улыбается ему долгой понимающей ухмылкой:

– Не спеши! Это – никогда не поздно. Но сначала надо выпытать у них секрет их живучести. И еще... Я не оставляю надежды вернуть их в сонм цивилизованных народов. Неужели нельзя и их сделать частью той силы,

что вечно творит добро? И не принуждением, не кнутом, не мечом! Неужели в римском мире, в мире святой справедливости, снова и снова будет литься кровь? – в голосе его звучит неподдельная горечь. – Я не хочу этого! А если *sine effusione sanguinis*¹, то как?

Лонг буквально в рот ему заглядывает:

– И как же?

– Мудростью.

Он надолго задумывается, а потом неторопливо начинает:

– Им нужно *явить* истинное божество.

– И как же оно... О! Как это будет...

Фрасилл с усмешкой глядит на замешательство Лонга.

– «Боги существуют не в том виде, в каком их представляют себе хои поллои»², вот в чем суть!

– Да, так учил Эпикур, – с глубокомысленным видом подтверждает Лонг. – Но что ты этим хочешь сказать?

– *Не в том виде*, понимаешь? Разумеется, Юпитер не спустится с небес по моему велению. Но это и не нужно. Спустись на землю истинный бог, они бы его, возможно, и за бога не признали бы! И потому им должно явить божество именно в том виде, в каком они его ждут!

– О!

– Да! *Totus mundus agit histrionem*³. Почему мы должны быть в стороне? И явим его не книжникам, не фарисеям, – их уже никто и ни в чем не убедит, – а именно народу, тем, кто составляет большинство населения, тем, о ком должны быть все наши думы! Тем, кто просты, как голуби, и доверчивы, как дети. У них есть фабула о земном царе, который принесет людям полное и окончательное счастье. Сейчас мои люди собирают все книжные пророчества и народные суеверия о нем – и в Сирии, и на всем Востоке. Потом мы сведем их в единую фабулу, логичную, связную и последовательную. А потом – так сказать, облечем слово плотью.

– То есть?

¹ «Без пролития крови» (лат.).

² Хои поллои – грязное простонародье (греч.)

³ Весь мир лицедействует (лат.).

– Не торопясь, при всем честном народе, один за другим разыграем все должные эпизоды *ut implementur scripturae*¹.

– А Салмоней у нас не получится?

– Какой еще Салмоней?

– А ты не помнишь?

Тот, кто громам подражал и Юпитера молниям жгучим.

Ездил торжественно он на четверке коней, потрясая

Факелом ярким, у всех на глазах по столице Элиды,

Требовал, чтобы народ ему поклонялся, как богу.

То, что нельзя повторить, – грозу и грома раскаты, –

*Грохотом меди хотел и стуком копыт он подделать*².

Фрасилл непринужденно хохочет:

– Да! Забыл я о нем! Хорошо ты меня поддел! – и тут же почти мгновенно успокаивается:

– Надеюсь, что все у нас получится. Ты и не представляешь, какие сокровища мысли накоплены в греческих, в египетских, в малоазийских храмах! Как там научились воздействовать на человека, управлять мнением народным! Если нам потребуется и гром небесный – мы и его найдем как сделать абсолютно убедительным!

– А если нет?

– С сожалением откажемся от него. Но даже если ничего не выйдет – одно уже вышло: мне подготовили «Полевой определитель ночной нечисти Восточного Средиземноморья», я его отредактировал... Это – книга на века! Встретил чудо рогатое, заглянул в книжку – и сразу ясно, кто это, чего от него ждать, как заклинать...

Фрасилл смеется, Лонг вторит ему.

– Неудач быть не должно! – обрывает смех Фрасилл. – Кроме той, о которой ты спросил, все остальное ведь до сих пор получалось! Ты видел, как Тиберий обратил воду в вино... Ты и сам блестяще организовал исцеления!

Лонг смущенно улыбается.

– Пусть формально это кому-то кажется обманом, но по сути мы несем людям, мы утверждаем в них правду – вековую, светлую, сияющую, – возвышает свой голос до

¹ Дабы сбылись писания (лат.)

² Вергилий. Энеида, VI: 586-591.

пафоса Фрасилл. – Ведь истина – это та же ложь, но помноженная на тайну. *Mysterium tremendum, mysterium fascinosum*¹... Много ли знает широкошумная вершина дерева, усыпанная нежными цветами, о своих корнях, растущих из сора и нечистот? Стыдится ли она их? А разве само тело наше – не обман? Прекрасное снаружи, оно лишь искусно скрывает наполненные смрадом и калом потроха. Но как щенят, оберегает Юпитер малых мира сего благодетельной слепотою от нестерпимого света истины. Каждый вкушает по силам своим, – один видит суть, а другой и не хочет, и не может докопаться до нее, ему открыта лишь форма. И вот об этих-то мы более всего должны радеть, показывая им блеск формы, ее прелесть и очарование. Мы должны беречь их от того, чтобы яростная и жестокая, огнепалящая истина, войдя в неокрепшую душу, не обожгла ее смертельно. Мы должны убрать от их глаз все унижающие человека реалистические подробности, дать им лишь золото, уже отмытое от песка.

Да! Я чувствую, я знаю, что делаю необходимое, неизбежное дело, что сам Юпитер Капитолийский ведет меня! Мы рождены, чтоб сказку сделать былью! Не мне, не мне нужно то, что я делаю, а Отчизне! Людям! Поэты давно поняли, что удивительная прелесть вымысла необходима не им, а слушателям; если бы кто-нибудь отнял у поэтов право прибегать к вымыслу, они погибли бы с голоду: никто и даром не пожелает слушать правду. Нужен вымысел – но яркий, блистательный... И поэмы пишут не только пером!

Я уже предчувствую это наслаждение – своими руками, подобно Тому, – он указывает пальцем на небо, – выстроить и срежиссировать целый кусок жизни. И не на сцене, перед небольшим кругом праздных и избалованных греков, – а в самой что ни на есть действительности, в декорациях городских улиц и придорожных харчевен, степных костров и городских лупанариев... То, что ты видел – лишь пробы, прикидки, эскизы величественного полотна. И зрителями его будут все желающие, все, целая страна, – а впоследствии, в пересказах, в книгах – и целый мир. Мы должны увлечь, потрясти, ошеломить их! Ты понимаешь

¹ Тайна, возбуждающая трепет, отрадная, сладостная тайна (лат.).

меня? – облизывает Фрасилл пересохшие губы.

Луцилий кивает. Глаза его сияют. Он понимает, что после этих слов допущен в святая святых, туда, откуда тянутся тончайшие паутинки *действительного* управления Империей.

– Но я еще не нашел центрального события, вокруг которого скомпоуется все остальное. Это должно быть нечто столь захватывающее...

Голос его дрожит и прерывается.

– И, разумеется тайна! – другим, деловым тоном продолжает он после паузы. – *Disciplina arcani!*¹ Такая тайна, что и не все действующие лица и исполнители будут знать, что и зачем они делают... Не исключая, кое-кто из них увлечется... примет что-то всерьез...

Фрасилл подмигивает остолебеневшему Лонгу:

– Ты фабулу о дармовых смоквах знаешь?

Лонг отрицательно вертит головой, заранее глупо хихикает.

– Плотно пообедал как-то Гай Симплиций, – начинает, тоже посмеиваясь, Фрасилл, – и устроился во дворе под шелковичным деревом. Пытается задремать. А во дворе дети, бегают, кричат, мешают ему. И он говорит им: «Вот вы тут бегаєте, а на базаре бесплатно раздают смоквы!» Детей как ветром сдуло. Симплиций, довольный собой, удобно устраивается на лежанке. Но только начинает засыпать, как сосед кричит ему через забор: «Лежишь и в ус не дуешь, а на базаре бесплатно раздают смоквы!» Симплиций досадливо отмахивается, ворочается на лежанке. Но тут знакомый приотворяет калитку: «А почему ты не на базаре? Ведь там бесплатно раздают смоквы!» Симплиций думает: «Что ж я лежу? Ведь на базаре можно даром получить смоквы!» Вскакивает и сломя голову бежит на базар...

– А с девчонкой – это все правда? – с некоторым заискиванием спрашивает Лонг у Фрасилла, когда оба отсмеялись.

¹ Наука о тайне (лат.).

– Какой девчонкой? – настораживается Фрасилл.
– Ну... Марой? Она что – действительно пальцем деланная? Специально для Тиберия?
– Не будь сентиментальным! – сурово и скорбно роняет Фрасилл. – Тиберий нужен Риму – разве не так? Я должен был вернуть его к отеческим алтарям. Вот и все. И я это сделал. Как сделал – другой вопрос, вопрос артистизма. Всякий умеет промолчать о неудобном ему факте. Это даже и ложью назвать-то нельзя. Но подлинное мастерство – с очевидностью, с полной достоверностью утвердить в человеческом сознании то, чего никогда не было. Не в сознании – в сердце! Заставить его рыдать! Вот чему тебе надо учиться. Его не было, – а ты покажи, что оно было, протяни нити от него, несуществующего, в сегодняшний день, свяжи их с чем-то прочным, наглядным, неотразимо убедительным – и дай подергать эти нити тому, на кого хочешь воздействовать.

Ты ведь и сам видел, насколько эта... гм... Мара похожа на Випсанию. Но ты не понял, что из этого может проистечь для наших интересов. А я понял – и придумал фабулу, убедительную для Тиберия. Если он захочет проверить – пожалуйста, я предъявлю ему и гетеру из Митилен, и таможенника из Кесарии, и они все подтвердят. Захочет – и скорлупки тех самых яиц получит. Это нетрудно. А меня интересует только результат. *Qui nescit dissimulare, nescit regnare!*¹

Эпилог. РЕЗНЯ В БЕЙТ-ЛЕХЕМЕ

...Мара выезжает из каравана, останавливает мула, спрыгивает с него. Один за другим проходят мимо громадные верблюды, в инее и облаках пара, позвякивая колокольчиками. Наконец, вот и верблюд хозяина мула. Мара подает ему длинный повод:

– Здесь!

Он берет повод, негнушимися пальцами привязывает его к луке своего седла и хмуро кивает:

– Хорошо. Деньги ты отдала вперед. О провожатых мы не договаривались!

– Мне не нужны провожатые.

Верблюд удаляется, следом за ним, дергая повод, торопится мул, немного вскидывая задом. Еще и еще мелькают перед Марой верблюды, цветные ковровые попоны на них, вьюки, ящики, амфоры, притороченные к их бокам... Вот и последний верблюд. Караван прошел. Стихает звон колокольчиков. Мара смотрит ему вслед, пока последняя покачивающаяся горбатая фигурка не скрывается за барханом, забеленным тонким слоем снега, а потом набирает полную грудь воздуха, резко выдыхает его и тихо смеется. Она – одна среди бескрайней заснеженной пустыни, рассеченной едва заметной утоптанной тропой, – но она дома! Дома! Наконец-то дома. До Бейт-Лехема, до родного ее пещерного городка отсюда – не более десяти фарсангов. Она доберется домой засветло.

Она сворачивает с тропы направо и идет снежной целиной туда, где перед ней скоро откроется глубокое ущелье Кедрона. Снега немного, и он не скрипит – значит, мороза почти нет, – а лишь слегка похрустывает, покрытый тонким настом. Из под наста кое-где торчат бурые будылья, осыпанные сверкающим инеем.

...Когда там, на Родосе, перед ней с хрустом и

¹ Кто не может солгать, недостоин царствовать (лат.).

потрескиванием прогнулась в известняке пустая сфера, открывая путь к спасению – в первую минуту она решила, что все еще пребывает в Мире Формирования... А потом, уже уходя в закрывающийся за ней тоннель, оглянулась – и увидела позади синий вечер, увидела первые звезды на бархатистом небе. *Шабатный* вечер! Наступил Шабат, как она могла забыть об этом! Ведь говорил Кадм: Шабат – тень Мира Формирования там, в нижнем мире, созданная для тех, кто идет путями Предвечного...

Потом была невнятица, которую сейчас не восстановить в памяти, даже если очень напрячься. Где-то – возможно, у входа в пещеру, куда она уходила, – звенели мечи, слышались хриплые крики. Потом – фелука, в которой едва знакомый ей парень, родосский рыбак, везет ее по раскачивающемуся морю, расцвеченному белопенными гребнями... Каскады соленых брызг в лицо, горы ледяной осенней воды на голову, на плечи, под тонкий хитон, надетый для праздничного вечера... Он набросил на нее свои овчины... Была погоня, какие-то фелуки позади, огни факелов на них, даже, кажется, крики... Куда они исчезли? И куда исчез парень? Почему она отчаянно бьет руками по пустой воде, захлебываясь, глотая ее, соленую, как слезы? Или это уже у карийского берега? Ну да, она почти сразу и выбралась, шла по песчаной отмели, забросанной гниющей морской травой, ранила босые ноги об острые края раковин, оскользалась на слизистых бревнышках причала...

Видимо, Фрасилл разгромил все иессейские общины Малой Азии – больная, в жару, она, сбивая ноги, идет от одного селения к другому, от одного линат-цедека¹ к следующему... До самого Мармариса добралась она вдоль побережья. И нашла-таки единомышленников! Смогла объяснить им что-то!.. Кого нашла? Она не помнила. Что объясняла им? Она не знала. Сколько она пробыла у них – понятия не имела. Но, видимо, что-то все же объяснила, ибо следующее воспоминание – это пахнущая тухлой рыбой клеть судна, идущего из Мармариса в Кесарию... На

¹ Бесплатная гостиница с обедом для странников-единоверцев, которую содержала в античные времена община иудеев (ивр.).

лбу – холодный компресс, под боками – грубые дубовые брусья, врезающиеся в тело сквозь жидкую охапку соломы, и такая слабость, что она не в силах двинуть ни рукой, ни ногой... Стены клетки напоминают ей все ту же волшебную сферу, в которой на этот раз она продвигается среди волн. Сероватые, зыблущиеся, они потрескивают и прогибаются... В сумерках к ней, тревожно оглядываясь, заходит капитан, дает горячее питье – бульон? суп? Она не помнит ни вкуса, ни запаха.

Потом – порт Кесарии. Это уже зима, неожиданно, небывало жестокая в этом году: снасти кораблей обмерзли, на причале похрустывают лужи. Капитан на руках несет ее в ксенон¹. День за днем мечется она в жару на тюфяках, под вылезшими овчинами, по вечерам смотрит на багровое закатное небо сквозь желтый пузырь, которым затянута окошко... Она требует от капитана: караван! нужен караван!

И вдруг болезнь снимает, как рукой. Привел ли капитан, за которого она по гроб жизни будет молить Бога, – привел ли он ей целителя? Возможно, так и было, потому что она помнит какую-то седую курчавую бороду, сморщенные щеки, невнятное бормотание, – а потом невероятно горькое питье, после которого на нее навалилось абсолютно черное забытие, похожее на смерть...

А наутро – солнце, синь, яркий, похрустывающий морозный воздух, пестрый и шумный, каким ему и положено быть, базар, горячие кошерные пирожки, вино, – и караван, отправляющийся в Гавлонтиду через Виффагию... И есть свободный мул, и капитан, смущаясь, сует ей в карман просторной овчинной дохи глухо звякнувший кошель с серебром...

Было все это? Или привиделось ей?

Но если привиделось – почему она теперь здесь, в пустыне Негев, над пропастью кедронского ущелья, в нескольких фарсангах от родного своего Бейт-Лехема? Как ее занесло сюда? Кто занес? Зачем?

А те, что прежде – Кадм, Авива, Тиберий, Лонг, Фрасилл, Каин, – они были? Или они – пустые и призрачные тени,

¹ Гостиница (греч.).

привидевшиеся в одном из кругов Мира Формирования?

И откуда эта теплая, сладкая тяжесть в животе? Кто это осторожно и нежно постукивает там ножками?

Мара зачарованно кладет руки на живот, выпирающий под просторной овчинной дохой. Это ребенок. Почти доношенный ребенок. Или даже совершенно доношенный. Это дар Господень. Но откуда он? Она не знает! Она не помнит, когда началась задержка, она не считала лун! Она может поклясться чем угодно, что не помнит, чтобы кто-либо из мужчин сквернил ее тело!

И с этим ребенком в себе она барахталась среди студеных волн, захлебываясь соленой морской водой? С ним сбивала ноги в кровь, бредя от села к селу? С ним валялась в жару на соломенных тюфяках линат-цедеков?

Не может быть.

Не было этого.

Этот ребенок – дар Господень.

Сегодняшний дар.

Мара стоит у самого краешка обрыва. Отсюда начинается козья тропка, с уступа на уступ, между кустов и скал ведущая вниз, на дно ущелья, в Бейт-Лехем. Еще светло, и прекрасно виден противоположный борт ущелья: серовато-синие скалы, сизые облачка деревьев в блестках инея. Скоро из его теснин начнут выползать лиловые сумерки.

Она не хочет начинать спуск к дому, пока в карманах ее дохи есть хоть что-нибудь лишнее.

Мешочек с серебром? Теперь здесь всего несколько сестерцев. Но это – дар капитана, добрый дар, пусть остается.

Продолговатый кусочек пегматита, на котором выложено тайное имя Предвечного. Это дар Кадма, добрый дар, пусть остается.

Пергамент? «В день третий недели и восьмой до апрельских календ...» Девять месяцев назад по римскому счету, почти девять с половиной – по иудейскому... Что это? А! Это ктуба. Но откуда она? Зачем она здесь? Какое она имеет отношение к ней самой? Не торопясь, беззлобно и

беззаботно Мара рвет пергамент на мельчайшие клочки, пускает их по ветру. Желтоватые, как осенние листья, они далеко летят над ущельем, трепыхаются как голуби, падая вниз.

Вот и все.

Впрочем, нет. Есть еще что-то.

Мара достает из кармана золотой перстенок с большим аметистом, смотрит, как потемнел камень, налился цветом зимних сумерек. Потом, ухватившись левой рукой за скалу, придвигается к краю ущелья, чтобы, широко размахнувшись, швырнуть перстень туда, слегка наклоняется вперед...

Да так и замирает.

По ущелью влево, вниз, в сторону Ям ха-Мэлах движутся серые тени. Здесь не так уж и высоко – локтей тридцать-сорок¹, не более – и потому слышны и скрип упряжи, и позвякивание доспехов, и стук сандалий, и хриплый кашель, и редкие выкрики команд, и праздная болтовня легионариев.

Ни блеска бронзы, ни алых плащей – все одеты позимнему, в серые валяные бурки – но это, несомненно, римская центурия. Орла в первых рядах ни с чем не спутаешь. Перед ним – пароконная упряжка; Мара в некотором недоумении видит, что на нее водружена статуя Юпитера, в тоге и лавровом венке, с простертой вперед рукой. Почти все воины – пешие, конников – не более десятка. И еще одна пароконная упряжка – это волокут стенобитную машину, поскрипывающую несоразмерно большими колесами. О, Господи! Что это? Зачем это? Зачем они здесь?

Здесь, в священной роще Малкат ха-Шамаим, никто и никогда не ходил иначе, как затаив дыхание. Здесь никогда не было дороги – только потайная тропа в зарослях азалий и мирта, по которой Мара девчонкой бегала летом к Ям ха-Мэлах – окунуться, подставить в укромном местечке тело солнцу, повизжать на каменистой отмели.

¹ Двадцать – двадцать пять метров.

Девчонкой?! Да это было в прошлой жизни!

Отряд идет вниз по течению Кедрона – значит, он только что был в Бейт-Лехеме. Или – какое бы это было счастье! – только прошел мимо него.

Но Мара уже понимает, что не будет ей такого счастья.

Неоткуда им идти мимо Бейт-Лехема.

Они поднялись туда от Ям ха-Мэлах, протоптав целую просеку в священной роще, *что-то там такое сделали*, и вот – возвращаются.

Морозный воздух входит в легкие Мары, да так там и остается, хоть она и выдыхает его. Все леденеет в ее груди.

Она знает, *зачем* они туда ходили.

Ирод, заживо сгнивающий в наказание за свои грехи, давно выпустил управление из своих рук, и вот Фрасилл, не имея на то формального права, но предвидя скорый захват Иудеи, добрался и сюда со своей люстрацией, переписью.

Она знает, *что* они там сделали.

То же самое, что и в иессейских общинах Малой Азии.

Они разгромили поселок и убили его жителей.

Ночь

Подогнув ноги так, чтобы их укрывали полы дохи, Мара дрожит, сидя на снегу, но не трогает заочневшими пальцами застывшие, возможно, уже обмороженные ноги. Ей все равно. Пусть отмораживаются. Они больше не понадобятся.

Римская орда нацело разрушила поселок. Не осталось ни одной не разрушенной, не сожженной, не оскверненной пещеры. Убили всех – в призрачном лунном свете у входов в пещеры видны странные бугры, размером в человеческие тела: женские, детские... Снег засыплет их, но не тает, а лишь пропитывается темными пятнами. Завтра, при солнечном свете, эти пятна окажутся алыми или буровато-желтыми...

Мужчин среди трупов нет. Мужчины сражались до последнего, но не выстояли. Эти звери всех их перебили, стащили за ноги к потоку Кедрон и спустили под лед. Еще

вечером, в синих сумерках, Мара видела следы там, где их тащили, видела клочья одежд, бурые пятна на снегу, обломанный ледяной припай у берега...

Сначала она кидалась от тела к телу, оскользаясь, сбивая ноги, обламывая ногти на пальцах, переворачивала их, надеясь услышать хоть единый стон. Может, кого-то лишь придавило обломком камня или полуобгорелым бревном? Может, она не слышит детского стога, слабенького, угасающего, потому что совсем рядом бурлит Кедрон, хрустит, звенит, булькает, и голосок теряется в этом шуме?

Никто не стонал.

Каждая женщина, каждый подросток получили удар меча в сердце. Римляне называют это «удар милосердия».

Детей добивали не мечами. Их брали за ножки и били головой о камень. Возможно, и живых тоже. Вернее, наоборот: возможно, кому-то посчастливилось умереть от меча, до удара головой о скалу.

...Когда наступила полная чернота, Мара решила, что умерла, и уже мертвая продолжает ползать среди трупов. Но это просто опустели сумерки, – а потом, позже, из-за скал выползла ущербная луна, задернутая тончайшей пленкой радужных от мороза облаков...

...Она подошла к скале, приблизила мокрый, пылающий лоб к инеистой прохладе камня, – но не раздалось привычного уже ей хруста и потрескивания, не открылся перед ней проход в иной мир... Кончилось для нее время жестоких чудес. И тогда она решила уйти к *ним* другим путем...

...Мара сидит в дохе на снегу, не решаясь больше ни подходить к убиенным, ни заходить в опоганенные, оскверненные римлянами жилища. Костра она не разводит, хоть в иных пещерах еще мерцают блики огня, рдеют головешки. Ей все равно не пережить эту ночь. Здесь, на снегу, под серебристой луной, наедине с горами, тихим эхом переговаривающимися с бульканьем и журчанием Кедрона, она скорее и надежнее замерзнет, разделив судьбу своего народа. Пусть утро увидит только ее холодный труп.

Есть ведь еще заповедь *ки кавор тикберену* – «и

обязательно захорони его»¹. Неотменимая заповедь. Первосвященник, кому запрещено даже приближаться к мертвому телу, – и тот, окажись он в такой ситуации, обязан был бы захоронить эти тела. Родные ей тела. Она знает каждого из убитых. Их имена. Их привычки. Все, чего больше нет и никогда не будет.

Она видела почти всех, когда уходила отсюда. Все они улыбались ей, махали руками... ручками... ручонками... рученьками...

Заповеди этой она выполнить не сможет. Не сможет она вырыть им могилу – ни в скальном грунте, ни в промерзшей земле. А потому ей лучше умереть. Она больше не встанет.

Вот уже по телу разливается успокоение. Почти перестали ныть ноги, нет боли в пальцах, не ощущаются сломанные ногти. Сейчас она перестанет думать, потом заснет, а во сне замерзнуть совсем не страшно. Вот она уже словно бы видит себя со стороны: шапочка из верблюжьей шерсти и доха сплошь забелены снежинками. Снежинки лежат на черных бровях, на длинных ресницах. Через час-другой к белеющим здесь холмикам добавится еще один... без бурых пятен...

И вдруг жестокая, острая, судорожная, не похожая ни на что, ранее испытанное, боль внизу живота напоминает ей, что она – не одна живая здесь.

Их двое, и тот, второй, выбрал самое неподходящее время, чтобы являться в этот мир.

Судорога почти сразу отпускает, но Мара понимает: это только начало. Потому что ногам ее вдруг стало горячо и мокро. Отошли воды! А-ах! Сейчас белье начнет покрываться льдом.

Она не имеет права предать его! Нужно тащиться в пещеру, разводить костер, искать таз, пеленки – хоть какое-нибудь тряпье, – греть воду...

Ноги не слушаются: она не смогла встать ни с первого, ни со второго раза. Их почти не слышно, удар ногой о

землю ощущается тупо и гулко, как через деревянный чурбан. Мара ползет к пещере, цепляясь руками за заснеженные камни...

И вдруг на дороге – на просеке, проложенной бандитами – в призрачном лунном свете смутно забелела фигура.

Мара перестает ползти, всматривается... Призрак? Откуда здесь быть человеку?

Но вот он явно переставляет ноги... Пошатывается... Что это за мантия тащится за ним? Снова двигает ногой?

Мара приподымается на руках, глядит до рези в глазах. И вдруг призрак машет ей рукой.

Удивительно, как много могут сделать, если захотят, измученная до последней крайности тринадцатилетняя девчонка и не менее измученный, умирающий восьмидесятилетний старик!

Шумно, с гудением и потрескиванием горит очаг. С дровами и головешками вокруг проблем нет. Согрето несколько тазов воды. Найдены не опрокинутый и не опоганенный римлянами котелок похлебки, лепешки кемаха, сушеные финики, вино. Найдены теплые вещи – плащи, одеяла, попоны. Даже воздух в пещере, к которой удалось кое-как приладить сорванные с петель двери, помаленьку начинает согреваться. И ноги у Мары вовсе не отморожены – просто сошлись с пару, но все уже нормально, только кончики пальцев все еще пребольно щиплет и покалывает.

Римляне не стали ни убивать дряхлого Шимона бен Филиппа, ни даже бить его. Они его пальцем не тронули. Они с хохотом оттащили его на попоне в лес и бросили там:

– Почтение твоим седидам, дед! Оставайся! На развод! На племя! Чтобы род не пресекся!

Едва нашел он в себе силы подняться, закутавшись в ту же попонку, и на негнущихся, почти отмороженных ногах добраться до пещерного поселка. Зачем? Он и сам не знал:

¹ Второзак, 21:23.

– Не иначе, сам Господь меня вел! Ведь не знал я, что и ты тут, моя пташка, моя внучечка...

А внучечку снова боль скручивает в бараний рог, снова ревет она зверем:

– А-а-а! Оу-а-а! О-о-о!

И хлопочет, суетится возле нее давно переживший все сроки жизни своей старик.

И вот, наконец, новый человек добавляет свой писк в шум этого мира:

– А-а-а! – требовательно орет он, и разглаживаются морщины на лице старика, и измученно улыбается Мара:

– Дай... Дай поглядеть на него! Дай его мне...

Но старик сначала перевязывает пуповину, обмывает шумно выражающего протест ребенка теплой водой и лишь затем протягивает его Маре:

– Вот он, внучечка. Вот он! Не было и, даст Бог, не будет в Иудее времени хуже, чем это, в которое он затеял появиться на свет. Но он родился! Родился он! И если в *такие* дни рожают твои матери, Израиль, значит, не угасла и вовек не угаснет твоя слава, и будет спасен Народ избранный пред лицом всех народов...

Шимон замолкает и начинает медленно оседать на пол.

– Что с тобой, деда? – блаженно улыбается Мара, не в силах шевельнуть и пальцем.

– Отпускает меня Владыка... С миром отпускает... В странствие... Путем всей земли...

И через минуту ко множеству трупов в поселке Бейт-Лехем добавляется еще один.

У Мары нет сил понять, что произошло. Ребенок ползает по ней под теплой попонкой, урчит, найдя грудь и вцепившись в нее, а она неудержимо засыпает. Золотые солнца полыхают перед ее глазами, фантастические цветы неспешно раскрывают свои нежные пламенеющие лепестки...

Ничего больше нет. Сон.

Сон.

Утро

...Мара открывает глаза. Лучше б не открывала. Здесь, в наполненных ячменем яслях, где она ночью рожала, да так и уснула, под теплыми попонками и плащами, рядом с попискивающей крохой, снова отправившейся на поиски груди – здесь пока еще тепло и уютно.

Но только здесь. Ни шагом далее. Там – прогоревший очаг, выстуженная, выдутая ветром пещера без дверей, и покойники, покойники, покойники. Незахороненные. Избитые, изнасилованные, выволоченные за волосы из жилищ и убитые перед их дверьми. Легко и свободно разметавшие руки и ноги, обратившие светлые, без кровинки лица свои, до сих пор дорогие ей, к высокому ясному небу. Полузасыпанные снегом. Неотомщенные.

А каждая клеточка ее кожи, каждый мускулишка, каждый суставчик ее тела стонут от боли после вчерашнего перенапряжения.

Как дальше жить?

С чего начинать сегодняшний день?

Пусть сначала поест *он*...

Мара смотрит на урчащую у ее груди кроху и улыбается, несмотря на катастрофичность своего положения. Слегка улыбается. Чуть-чуть. Со стороны и заметно не было бы...

И почему это положение так уж катастрофично? Собрать по пещерам еды – дней на несколько хотя бы, это реально. Отыскать хороший лом, заступ...

А потом что?

Она выходит из пещеры, оставив новорожденную кроху в яслях, и зажмуривается от яркого света. Сияет солнце, и все вокруг в слепящих блестках. А за спиной – странный хруст. Она поворачивается... Во имя Предвечного! К ней, по проломленной римлянами просеке движутся три верблюда, а на них восседают: мудрейший Цадок бен Ицхак, осторожный, вечно сомневающийся Зив бен Зеев и энергичный Цви бен Шмуэль, – все трое давние друзья, качавшие ее, Мару, еще в зыбке... Она делает несколько шагов им навстречу, падает на грудь успевшего спрыгнуть

с верблюда Цадока и только тогда, впервые с самого Родоса, горько и безутешно рыдает, всхлипывая и вздрагивая спиной.

– Повсюду горе, – говорит Цадок. – Крепись, девочка! «Враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову. Против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою. Сказали: «пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз: селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне».

Герод хотел бы убить всех! Но не будет дано ему это! Подымается Иудея, как река, ломающая лед! Ширятся ряды кнаим, крепнет их решимость свергнуть узурпатора, сбросить с горла Иудеи мертвящую лапу Рима... Иуда бен Езекия поднял всю Гавлontiду, движение перехлестнуло на этот берег Иордана. Отчаянные парни сорвали римского орла с фасада Храма в Ур-шоломе...

Ошибка! Указано неверное имя файла.

Интерлюдия

ИГРА В ИЗЛОМАННЫЕ КОСТИ

...Посвящать ему храмы, жрецов, священнослужителей он воспрещал; ставить статуи и портреты разрешал лишь с особого дозволения...

Светоний, Жизнь 12 цезарей, Тиберий, 26 (1).

...Цезарь [Тиберий] стал часто бывать в сенате и в течение многих дней слушал представителей Азии, споривших, в каком городе возвести ему храм. Состязались одиннадцать городов, с одинаковой настойчивостью, но не с равными основаниями...

Тацит. Анналы, IV: 55.

ТИБЕРИЙ. РИМ. 26 г. н.э.

Тиберий Клавдий Нерон, владыка Рима, болезненно морщится: справа под ребрами тупо болит печень, и от этой боли подкатывает тошнота; во рту завяз горький привкус, ломит поясницу... Можно сказать – неудачно начинается день. А можно сказать – неудачно заканчивается жизнь.

«*Horas non numero nisi serenas*»¹, – поразительные слова! Он увидел их недавно вырезанными на медном циферблате солнечных часов. Выходит, ему считать нечего. Все его светлые часы в прошлом. *In omni adversitate fortunae infelicissimum genus infortunii est fuisse felicem*²... Это она ему когда-то сказала, в каких-то небывших временах, в прошлой жизни... Как она была права!

...Сегодня ему приснился мучительный сон. Тиберий был у себя в атриуме, и на сердце у него накалилось ощущение томительной, сосущей пустоты, как вечером перед грозой, тоскливой уверенности, что должно произойти нечто страшное и неизбежное. И тут появился этот юноша... (Потом, проснувшись, Тиберий понял, что стоял тот в позе Зевса-Александра на картине, писанной с натуры Апеллесом и украшавшей его виллу на Родосе.) Лучезарные белые одежды юноши слепят Тиберия, мучили его ощущением недоступного и потустороннего: горнего. Возможно, это была святость. В руках он держал закрытую книгу, не обычный свиток, а новомодный кодекс, страничка к страничке. Почему-то Тиберий знал, что называется она – «Книга жизни», и в нее записаны имена тех, кого не коснется смерть. Ангел не торопился открывать ее, просто смотрел на Тиберия, а того до слез мучило нетерпение заглянуть в книгу хоть одним глазком, увидеть, внесено ли туда его имя. Он уже готов был попросить юношу об этом,

¹ Не считаю никаких часов, кроме светлых (лат.).

² При всех превратностях судьбы самое большое несчастье – быть счастливым в прошлом (лат.).

но тот сам развернул страницы и изящным движением кисти указал на них. И Тиберий без слов понял, что он требует положить сюда тот, давний, парфянский дубовый лист.

Отчего-то ощущая мучительный стыд и холод, словно был голым, Тиберий взял из ларария знакомый пергаментный пакет... В нем пересыпалась ломкая желтая труха да сиротливо лежал скелетик коричневых жилок... Ничто и никого не щадит время, – сентенциозно подумал Тиберий, и ужаснулся, до чего эта мысль неуместна здесь и сейчас, в присутствии божества или его посланника... Все еще недоумевая и стыдясь, он положил трухлявый лист в книгу...

Захлопывал кодекс юноша или нет? Кажется, нет, но в книге уже лежал молодой лист, свежий, зеленый, слегка с краснотой, каким и положено быть листу горного падуба... Юноша, продолжая указывать на страницы, возгласил «*Tolle, lege!*»¹, и Тиберий прочел то, что стояло на них:

«Вовек не дам увидеть тления избраннику Моему!»

Тем сон и кончился. Тиберий не мог даже вспомнить, взял ли лист из книги... Во всяком случае наутро листа в руке не было. Но не было его и в ларарии!

Тиберий несколько раз сжал и разжал кулак, посмотрел на пустую ладонь. Разумеется, листа нет. Есть императорский перстень с печатью, но это совершенно не то. Жизнь просочилась сквозь пальцы. Ее не ухватить, не удержать. *Vita non est medicabilis herbis*². Даже дубовым листом.

«Сократ смертен». Педагогиумы и дидактики и сегодня твердят это детям. Но то был силлогизм, а здесь – жизнь. Смешно сказать, но он вовсе не ожидал, что и к нему придет старость, и до сих пор не мог поверить, что, как все прочие, однажды умрет. А как же мир? Без него он немислим, он рухнет, рассыплется, исчезнет...

Что значит «не дам увидеть тления»? Стоики-софисты уверяют, что человек никогда не увидит смерти: пока, мол, есть он, нет ее, а когда она все же приходит, его уже нет...

¹ Возьми, читай! (лат.).

² Жизнь травами не вылечить (лат.).

И что значит «избранник»? Разве он сказал, что я и есть избранник? Он вообще ничего не сказал. А мои догадки – это всего лишь мои догадки. Но даже если бы он сказал что-то определенное... Что может тень? Разве можно верить словам тени?

А тление... Оно уже не вокруг, а внутри. Гниют зубы. Вдущается живот. Сохнет и морщится кожа. Мутнеют глаза. Вот – болит печень, она выдается за край ребер и затвердела, пальцы это чувствуют... А финал один: погребальный костер. Может и не слишком скорый, но неизбежный. Как горечь и тошнота – неизбежные с некоторых пор спутники жизни.

Долгой и безупречной жизни! Жизни, состоявшей из одних только успехов и удач! Двадцать шесть лет: претор Тиберий правит Галлией. Тридцать три года: консул Тиберий триумфатором вступает в Рим. Тридцать шесть лет: Тиберий – трибун... Да что вспоминать!.. Вся жизнь его была подвигом самоотвержения во имя империи, вся она без остатка отдана Риму. И что он получил взамен?

Он не принял ни одного ошибочного решения! Он не потерпел ни одного поражения! Но жизнь прошла, как ветерок по полю ржи. Пролилась, как вода сквозь пальцы. И вышло, что сотни больших и малых побед сложились в одну оглушительную, ошеломительную неудачу.

Где награда? Не говорю – достойная, соразмерная: хоть какая-то? Где? Вот это? То, что копошащиеся во прахе черви называют сияющими вершинами власти? Шестьдесят восемь лет: пустой, судорожно и бессильно сжатый старческий кулак, боль, горечь и тошнота. Впереди – дряхлость, болезни, смерть. Все! И еще – пустые и, вероятно, лживые обещания божества.

За всю-то жизнь если и дано было ему счастье, то лишь те несколько месяцев на Родосе, четверть века назад. Но дело было не в Родосе, дело было в Маре. Вместе с ней из его тела словно душу вынули. Мары больше нет... И не будет. Ирод с подачи Августа еще тогда выжег ее родное гнездо, Бейт-Лехем.

На Родос в его состоянии ехать страшновато... Но он нашел нечто почти совершенно такое же рядом, на Капри...

...Нужно велеть перевезти картину Апеллеса с Родоса

на каприйскую виллу... И не только ее; мраморы и бронзы тоже. В первую очередь Лаокоона...

Решено: это последнее заседание Сената, на котором он присутствует. Как только вопрос будет решен, он уедет на Капри. А оттуда только в Иерусалим. И уж никак не в Рим!

И пусть для солнечных часов в парке на Капри отольют новую бронзовую плиту. Образец он укажет.

«Horas non numero nisi serenas»...

Тиберий отрывает взгляд от своего кулака, от перстня всевластия на пальце и смотрит вокруг. Сегодня Сенат заседает в Храме Согласия. По этому случаю зал украшен пурпурными льняными полотнищами, гирляндами из ветвей лавра и дуба. В простенках вывешены венки из тех же ветвей, да еще из пшеничных колосьев, окружающие знак катящегося по небосводу солнца. И венки, и гирлянды увязаны витым золотым шнуром с пышными кистями. По трем сторонам алтаря стоят статуи – Юпитера Капитолийского, божественного Августа и его, Тиберия. С жертвенника подымается дым: жгут ароматические травы. Прежде Тиберию нравился этот запах.

Когда он был ребенком, слово «бессмертие» казалось солоноватым, как кровь во рту, когда разбит нос. Сегодня оно стало горьковатым, как улетающий от жертвенников дым.

Внутри храма рядами стоят шестьсот кресел. Многие пусты, но кворум есть, по крайней мере четыреста пятьдесят червяков копошатся в креслах и они поскрипывают. Для всех без исключения лягушек, сидящих по берегам Средиземной лужи, эти люди – боги. Весь мир лежит у их ног. Вон многозначительно улыбается Муций, с гноем в уголках глаз и лишаями на щеках. Плешивый Деций, свесивший крючковатый нос так, что выпятилась шишка на шее, похожая на ягоду можжевельника, внимательно слушает его, кивает... О чем они шепчутся?

«...вообрази себе, порошок парфянской ромашки! Я велел пересыпать ею все одежды, и попросту позабыл о моли...»

Смешно? Но стоит им обменяться парой *иных* фраз – и потоки крови польются по мостовым, конница вытопчет

хлеба, запылают села, копыеносцы, пересмеиваясь и срывая на ходу гроздь, пойдут через уже ничейные виноградники...

Они всеильны. И все же, в отличие от подлинных богов, они могут творить только зло. Даже паршивого дождя в засуху от них не добьешься...

Что ж такого важного обсуждают здесь сегодня досточтимые сенаторы, чему посвящена звучащая сейчас *vox litterata et articulata debito modo pronunciata*¹? Тиберий подносит к уху ладонь, делая вид, что прислушивается. Он насмешничает, слух у него пока отличный. Однако выступающий, это посланник Галикарнасса, тут же заметил жест принцепса и возвысил голос. «...За тысячу двести лет наши жилища ни разу не сотрясались от подземных толчков, ибо город стоит на природной скале, на коей будет покоиться и фундамент храма...»

Тиберий равнодушно убирает руку от уха. Сенат заслушивает представителей городов Азии: те спорят, в каком городе возвести храм божественному Тиберию. Ему то есть. Воплощенному богу, высшему существу на земле. Посему депутаты римского народа и простирают руки отточенными, отшлифованными жемами, произносят тщательно выверенные фразы, в которых смысл умело соединен с эмоциями, где тщательно просчитана и неотразимо убедительна последовательно нагнетаемая аргументация... Лишь замшелый пень может остаться равнодушным, не проникнуться горением таких чувств...

...Это хорошо, что в Галикарнассе храм Тиберию будет стоять на природной скале, – но будет ли он вообще там стоять? Тиберий знает еще один город, где храм стоит на природной скале. У всемогущего Тиберию есть желание, – невыполнимое, как ему и положено быть, ибо все выполнимые желания властелина полумира исполняются по мере их появления. Чего же хочет Тиберий? На *какой* скале, в *каком* храме желает увидеть он свое изваяние?

Он прикрывает глаза. Вот он, этот храм: ослепительно белый с золотом, млеет он в струящемся мареве, вознесенный в опрокинутую ввысь бездну цвета лесных

фиалок. Вокруг – кедры, рвущиеся в небо, красноватые стволы которых, подобно струнам, звенят на ветру. Пахнет смолой, морем, сапфирами, вечностью – и юностью... Тиберий никогда не был там, но уверен – Храм в точности такой, каким является ему в видениях. Вот подлинное сокровище, может быть единственное сокровище, оставшееся в этом дряхлом мире, – и оно, так же как и дубовый лист, никак не дается в руки.

Дело не в изваянии. Дело в идее. Ясно, что Рим должен владеть всем миром. На западе победоносные легионы донесли свои значки до Геркулесовых столпов, дальше – Океан; но на Востоке сделан лишь первый шаг. Персы и скифы, гиркане и каспии, индийцы и синьцы, и все племена, сколько их там ни есть, «*ultra Aurogam et Gangem*»¹, – Александр смог же их покорить! Разве сегодня в моих легионах нет героев, способных повторить этот подвиг? А когда это случится, когда и Парфия, и сказочная Индия, и империя Син, упирающаяся в океанский берег, станут римскими провинциями, – где тогда будет располагаться столица мировой империи? В Риме? Да, Рим – это Средиморье, но разве это – Средиземье? Разве не с Востока, не из Трои пришли сюда римляне? Недаром еще Цезарь хотел перенести столицу и выбирал между Александрией, Афинами и Троей...

Где должна располагаться столица мира?

Тиберий пока ничего не решил. Дикеарх учит, что диафрагма, широтная линия, разделяющая мир на север и юг, идет от Геракловых Столпов² через Сицилию, Пелопоннес и Родос, его драгоценный Родос, к Тавру и Гималаям. А меридиан, отделяющий Восток от Запада, проходит по линии Дон – Нил, от Танаиса к Александрии Египетской; обе линии пересекаются на Кипре, там, где из моря вышла Пеннорожденная... Или все-таки греки-географы ошибаются, и пмиблпт, пуп земли, центр мира, место, где небо целует землю, все же лежит восточнее? Евреи говорят, что он – в Иерусалиме, на горе Мория, там, где высится Храм...

¹ Грамотная и отчетливая речь, должным образом произносимая (лат.).

¹ За восходом и Гангом (лат.; Ср. *Ювенал.* Сатиры. IV: 10, 2).

² Гибралтарский пролив.

...Тиберий открывает глаза, и видение Храма пропадает. Теперь перед ним, куда он ни взглянет, плывут желтовато-черные пятнышки, словно он только что глядел на солнце. Если присмотреться – это не отдельные пятнышки, а сплошная мутно-желтая пелена. Она словно стеной отделяет его от всего мира. Уже давно, уже много лет отделяет. Врачи говорят – катаракта, но он-то знает, что это нечто совсем другое. Ведь и кожа потеряла былую чуткость! Вот, скажем, сейчас – ощущение шершавого холста тоги, под которой прячется печень, приходит словно бы не от кончиков пальцев, а из какого-то многолетнего и полузабытого прошлого, да еще сквозь безлунную и беззвездную снежную ночь...

Из-за этой пелены и дым с алтаря, и сенаторы в тогах с пурпурными полосами, и дубовые венки на стенах, – все кажется несколько ненастоящим. Это мучает как астма, когда хочешь и никак не можешь вдохнуть полной грудью... Но еще хуже, когда мир по ту сторону пелены обретает реальные черты. Тогда Тиберий начинает чувствовать ненастоящим себя. Словно кто-то чужой и незнакомый шевелится внутри его одежд, глядит из его глазниц. Страшно и отвратительно...

Когда-то, не в этой жизни, у Тиберия не было сомнений в реальности – и своей собственной, и вещей по ту сторону... Собственно, «той стороны» в то время не было, она возникла вместе с пеленой. Та жизнь из сегодняшней кажется счастьем, но была ли она вообще? Не приснилась ли она, как и дубовый венок, возложенный на его чело Юпитером?

Тиберию доводилось слышать от мудрецов, что Бог вновь и вновь творит мир каждые семь дней, но таким, что выглядит он существующим давным-давно. Прежде эта идея казалась Тиберию бессмыслицей. Но теперь она все чаще приходит ему на ум. И другая, от тех же мудрецов – что Бог для каждого творит такой мир, в котором наилучшим образом может испытать именно его. Что ж, если так, то у Тиберия все в порядке. Он с честью выдержал посланные ему испытания. Сегодняшней мощью, сегодняшним величием Рим обязан лично Тиберию – его легионам, его предусмотрительности, его

распорядительности...

А что он получил взамен? Что у него есть?

Тиберий вновь смотрит на сжатые в кулак пальцы, морщинистую кожу, складки тоги на коленях... Вот что несомненно есть: он сам, обвитый туникой и пурпурной тогой... Но кто он? Отчего одежды порой кажутся ему погребальными пеленами? Мумия, аккуратно увитая и умощенная...

...Рыжие короткие волоски на пальце придавлены массивным золотым перстнем, в который вделан смарагд с изображением головы Александра Македонского. Собственный перстень древнего героя, когда-то похищенный из его гробницы, от грабителей достался Августу, а от него перешел к нему... Из стран, которые покорила Александр, с Востока, купцы привозят коконы, с которых девушки нежными пальчиками разматывают шелковую нить. Когда шелк разматан, обнажается бабочка, хрупкое тельце с яркими крыльями. Тиберий уверен, что именно так будет выглядеть его душа, если кто-нибудь аккуратно, внимательно и ласково разматает все увившие его пелены...

Если бы кому-нибудь было бы дано увидеть его душу, – какой святостью, каким кротким величием светилась бы она! Как блистали бы в ней справедливость и отвага, воздержность и разумность, вливали бы свой свет в общее сияние скромность и сдержанность, терпимость и щедрость, общительность и редчайшее в человеке благо – человечность, милосердие. А предусмотрительность, а тонкость вкуса, а самое возвышенное из свойств – благородство – сколько они прибавляют красоты душе, сколько степенности и величавости!..

Только кто это сможет сделать? Кто сможет рассмотреть душу Тиберия под всеми ее покровами? Сенаторы – да все, кто только ни есть – кланяются и свидетельствуют свое почтение пустым его одеждам, а не ему самому, он давно это заметил. *Vestis virum facit*¹. Они просто не видят в нем того, что для него единственно важно: его души. Даже не подозревают о ее существовании. Они

¹ Одежда делает человека (лат.).

обращаются мимо нее, к тоге, к курульному креслу, к топорикам ликторов. Как же они будут разматывать увившие его шелка?

О шелках – разговор особый и здесь неуместный. Тиберий понимает их как высокую аллгорию его деяний. Славных деяний. А тот Единственный, кому надлежит разобраться в них, в их величии... Тот Единственный, кто по заслугам сможет оценить и увенчать его...

Не статуя ему нужна – это всего лишь чучело, вон одно стоит, и какая разница, из тряпья оно, набитого соломой, или из белейшего паросского мрамора? «Eхegi monumentum»¹, писал Гораций, мучила, видно, его, мысль о посмертной судьбе, мучила... Но слова, пусть и стихи – тоже труха, а желание сохраниться по смерти в тленной материи – наивно и смешно. Это тоже неподлинное. Вся эта pompa funebris², когда народ рыдает у твоего погребального костра и клянется в вечной верности и любви – не то, не то, типичное не то! Даже когда жена бросается в погребальный костер мужа – это тоже остается здесь. Это не касается судьбы ушедшего туда.

Не статуя ему нужна, не сама статуя: она – лишь символ. Признания заслуг, обожествления, апотеоза. А ему нужно загробное бытие.

Потому что он хочет там снова встретиться с Марой.

Любой нормальный человек знает, что по ту сторону жизни его ждет иная. Вопрос в том, какая. Приобщенные к сонму богов там достигают блаженства, причем тело преобразуется, становясь нетленным. «Не дам увидеть тления избраннику Моему!» Liliata rutilantium te turba circumdet: iubilantium te virginum chorus excipiat³. Пир на Олимпе, нектар и амброзия из чаши Ганимеда, небесная любовь...

Грош цена возведенным ими храмам. Грош цена и присвоенным ими титулам, их любви и их памяти. Вот Ахиллес – греки его живого чтит как бессмертного бога, но по ту сторону творения это, как оказалось, ровно ничего

¹ Я памятник себе воздвиг... (лат.)

² Погребальный обряд (лат.)

³ И окружают тебя лилиями увенчанные сонмы, и хоры ликующих дев возрадуются тебе (лат.)

не значило, и он горько жаловался Одиссею:

*Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми
царствовать мертвый... 1*

Такая судьба Тиберия не устраивает.

Предпоследним – у греков – чести быть приобщенным к богам удостоился Геракл, последним – Александр Македонский. А у римлян?

Первым был Дардан, который

...занял престол в чертогах звездного неба,

*Свой прибавив алтарь к алтарям бессмертных
высоким¹.*

Потом богом стал Цезарь: ему воздвигли храм, учредили жреческую коллегию. Отчим, Август стал богом уже при жизни. Вся империя ныне исповедует его культ, возносит жертвы на его алтарях. А он, Сын? Когда придет его пора?

Август относился к своей божественности иронично. Тиберий – очень серьезно. Август (так казалось Тиберию) все получил играючи. Тиберию чуть ли не зубами приходится вырывать каждую из полагающихся ему почестей. Разве не пришлось ему торжественно заверять «отцов-сенаторов», что ему совершенно достаточно быть простым смертным? «Любовь Сената и римского народа – вот тот единственный храм, который желал бы я себе воздвигнуть; вижу его возведенным не из мрамора, но из куда более стойкого и прекрасного материала, – из биенья человеческих сердец; не на песке созиждется он, но на куда более прочном фундаменте, – на благодарной человеческой памяти. А посему я заклинаю граждан Рима, чтобы, когда это смертное тело погрузится в вечный покой, они восславляли бы мои деяния (если решили бы, что они заслуживают того) воскресив и увековечив их в душах своих, а не возводя храмы, не учреждая жреческие

Гомер. Одиссея / Пер. В. Жуковского. XI: 488-491.

¹ Вергилий. Энеида, VII: 210-211.

коллеги, не вознося регулярные жертвоприношения или изыскивая иные пышные формы *внешней обрядности*.

Только если тысячу раз повторить «нет», эти идиоты начинают понимать, что оно означает «да»!

Никто и никогда не становился иным, чем он изначально был. *Ex nihilo nihil fit*². Нельзя стать императором: им нужно быть с детства. Или ты владыка, или никогда им не станешь. Человек может просто не знать, кто он есть. Вероятно, так же точно нельзя стать поэтом. Или евреем. И точно так же нельзя стать богом. Нужно им быть с самого начала.

Разве у его души не божественная природа?

Он вновь прикрывает глаза; бабочка мечется перед ним неровным, порхающим полетом, грубая совка «Мертвая голова». Череп на ее грудном панцире дружески скалится Тиберию. «*Το σῶμα εἶναι τὸ σῆμα*¹, – шелестит она. – Человек – душонка, обремененная ходячим трупом»...

В давно прошедшем мире, в незапамятной из жизней видел он уже эту бабочку...

Тиберий трясет головой, открывает глаза. Ткавшийся в голове тяжелый узор полудремотных мыслей рассеивается, он вновь видит храмовый зал... Там продолжают словопрения. Хитро нижутся речи, омерзительно скользкие, словно змеи, извиваются потоки восхвалений...

*Вот они – Рима сыны, владыки земли, облаченные в тогу!*²

Вот они – ходячие трупы, обремененные душой. А, может быть, уже и не обремененные? Вернее, уже не душой?.. Ему доводилось слышать, что демон может задолго до физической смерти вырвать душу из человека, нарушившего ненарушимые веления богов, и отправить ее в Аид на мучения. Человек продолжает казаться живым, ходит, смеется, но в нем теперь пребывает не душа, а демон...

Тиберия подташнивает от брезгливости к раболепию и

² Из ничего ничего не получится (лат.).

¹ Тело – это могила (греч.).

Вергилий. Энеида, I: 282.

лицемерию своих сенаторов. Он придавливает рукой правое подреберье, где все так же мучительной тяжестью ноет печень. Ползают на брюхе, следы моих ног целуют, ублюдки подлые, лстецы поганые, недочеловеки. Им ли судить обо мне? Лишь тот Единственный...

...deum qui non summum putet

Aut stultum aut rerum esse inperitum existumem.

Cui in manu sit, quern esse dementem velit,

*Quern sapere, quern insanire, quern in morbum inici...*¹

Кажется, последние слова он произнес вслух, – во всяком случае Сеян придвинулся с выражением полного внимания на лице... Тиберий недовольно поморщился, и тот сразу отпрянул, ушел в тень...

О чем он? Ах, да... Им ли судить о нем!.. Им, больным страхом смерти... Все они, как стервятники падалю, живут надеждой на чудотворное вмешательство бога, дарование им благой судьбы. И ради этого возносят мольбы и жертвы на своих алтарях, словно подкупая богов. Что за нравственное легкомыслие, что за оскорбительное равнодушие к морали! Таковы греки, таковы египтяне, – но таковы же и римляне!

Они не смогут по достоинству оценить его. Кроме того, все они сплошь и рядом лгут. Как будто не понимают, что единственный способ служить богам – выполнять их волю.

Тиберию просто необходим божественно строгий суд. Такой, на котором очевидны бы стали все его несравненные достоинства. Такой, который не упустил бы ни черточки в его характере и нелицеприятно подтвердил бы его принадлежность к сонму богов, его право на посмертное блаженство. Стал бы его апотеозом. Да, вот оно нужное слово. Апотеоз, обожествление.

Вот почему судить его должны не отеческие боги – холодные и бездушные абстракции; не греческие –

¹ ...тот глуп или неопытен,

Кто не поймет, что бог сей – выше всех богов:

В его руках – и разум и безумие,

В его руках – болезни и целение... (лат.)

Цецилий Стаций. Пер. М. Гаспарова.

ошибающиеся и лгущие развратники; и не египетские, которых способен обжудить любой мошенник, знающий ритуал. О чудовищных северных истуканах, вытесанных из бревен, измазанных жиром и кровью, он даже не думал.

В мире нет иного Бога, кроме еврейского: бестелесного, невидимого, вездесущего. В нем никогда и не было иного Бога. Зевс, Юпитер, Терапис, Адонис – все это лишь подделки, пустое, никчемное... Однако сегодня это понимают еще не все. Он сам, было время, не понимал этого...

...Там, на Родосе, четверть века назад, впервые узнав о свойствах еврейского Бога – вернее, об отсутствии у него всяких поддающихся определению свойств, – он с усмешкой сказал Луцилию Лонгу:

– Слыхано ли что либо более вздорное? «Ты дальше, чем мерцание звезд, но ближе, чем биение крови»? Или еще: «Бог вне всех миров, но наполняет все миры»... Софисты уж и не знают, как щегольнуть оригинальностью мнений, говоря о богах. На самом деле боги подобны людям; отличаются же от них бессмертием, а также неизмеримо ббльшим могуществом, мудростью, красотой и силой...

Сегодня он добавил бы «и милосердием».

Правду сказать, он и сейчас так думает. Еврейский Бог, невидимый и вездесущий, беспощадный и немилосердный, – он как был, так и остался для него загадкой, но эта его неопределимая таинственность манит, властно притягивает к себе.

Говоря языком юридическим, вопрос стоит так: Тиберий желает предстать перед нужным ему судебским жюри. Он желает, чтобы его личное дело принял к своему рассмотрению именно тот Бог, которого он выбрал сам. Он уверен, что положиться можно только на то решение, которое будет вынесено этим Богом.

И не в посмертии. Еще при жизни.

В приговоре он не сомневается.

Вот почему его статуя должна быть воздвигнута именно в том Храме. Только там она будет свидетельством подлинного апотеоза, превращения его в божество.

Но как же это непросто сделать!

Вот Антиох парфянский: взял Иерусалим, внес в Храм статую – и что? Получил кровопролитную войну, в которой сначала его самого вышвырнули вон из Иерусалима, а потом и внесенный им идол, как пакостную скверну, выбросили вон из Храма. Храм же вычистили и освятили, и теперь каждый год празднуют день воспоминания об этом – день ежегодного позора Антиоха.

Нет, такой ценой ему там статуя не нужна. Он никогда не отдаст прямого приказа поставить ее там. Собственно, это не его решение. Когда Помпей взял Иерусалим и вошел в Храм осенью 690 года¹, – началась новая, великая эра, и ныне идет ее 89 год. Но Помпей ничего не тронул в Храме – и Рим смог утвердиться в Иудее. Формально и Цезарь, и Август, и он принимают религиозную автономию иудеев как должное, делают вид, что это само собой разумеется, что иначе быть не может. Он, как и отец, регулярно посылает в их Храм быков и овнов; иудеи принимают их, по своим законам проверяют пригодность для алтаря и снисходительно закаляют в числе прочих жертв за грех, ничего при этом не обещая ему.

Снисходительно, вот в чем дело! Ничего не обещая! Как он сам принимает приношение какого-нибудь захудалого фракийского или иберийского муниципия, и в ответ на горячие прошения равнодушно роняет:

– Отцы-сенаторы рассмотрят ваше дело...

Тиберия разбирает гнев. Так вовсе не должно быть! Тот не император, подданные которого относятся к нему со снисходительной брезгливостью.

Но как заставить их отнестись к нему всерьез?

Принимать иудаизм он не хотел и не мог по многим причинам. Перечислять их? Проще развязать тугой и запутанный корабельный узел, пропитанный смолой и морской солью. Ergo¹, иудаизм должен был принять его, Тиберия, что бы ни означала эта парадоксальная и почти бессмысленная фраза. Возможно, им придется при этом немножко подправить свою религию. Плата, в сущности,

¹ По счету лет «ad urbe conditia» – «от основания города» (Рима). 63 г. до н.э.

¹ Следовательно (лат.).

небольшая, если учесть, что взамен они получают поддержку всей имперской мощи!

Ему нравилось единобожие евреев, их строгая нравственность, их умение в мгновение ока что угодно достать из-под земли, их широкие международные связи, их порядочность и обязательность в делах, их умение стеной стать за друга, даже их умение повернуть в свою пользу любое слово заключенного договора – или отсутствие в договоре нужного слова. Но ему не нравились они сами, этот их *fetor judaicus*², их уверенность в своей богоизбранности, их смешное и постыдное обрезание, их нелепые пищевые запреты, их субботы-бездельницы, наконец, просто запах чеснока от них.

Ах, если бы очистить еврейскую религию от евреев!..

Из всех людей в мире именно евреи менее всего способны понять его величие. Как они не видят, что ожидаемый ими Машиах уже пришел?! Это он! Разве мир под его десницей не обрел единства, покоя и процветания? Разве по всему Средиземноморью не прекращены грабежи, разбои и пиратство, не утвердилась власть Закона и Права? Разве не пролегли во все концы мира отличные мощные дороги, разве не стали моря и доли безопасными для торговцев и путешественников? Разве великолепные акведуки не несут в большинство крупных городов хрустально-чистую воду, берегущую население от эпидемий? Разве не прекратились войны, не настали всеобщий мир и благоденствие? Отец, Октавиан Август, законно гордился, что при нем трижды запирался храм Януса Квирина¹, что прежде случалось лишь раз при Нуме, да еще на несколько дней между Пуническими войнами. А сейчас он закрыт год за годом! Войн нигде не ведется. Разве он не достойнейший сын достойного отца?! Разве он не Машиах?

Машиах Тиберий Клавдий... М-м-м...

Не статуя ему нужна в Храме, нет, не статуя! Он сам хочет войти в этот Храм, именно в этот Храм, единственно

в этот Храм. В нем, говорят, есть потайная комната, Давир, Святая Святых, в которой раз в год Бог исполняет самые заветные желания вошедшего. Тиберий хочет попасть в нее. Но сделать это не просто: туда не войти ни тайной, ни силой, ни хитростью.

Силой в нее вошел Антиох Епифан, но его в два кнута высекли там ангелы. Вот и все, чего он добился. Силой вошел Марк Красс – и вскоре был в пух и прах разбит при Каннах, а рот ему залили расплавленным золотом... Украдкой вошел Помпей: воровато отвернул уголок Завесы, заглянул в Святая Святых и, ничего не тронув, ничего не испросив для себя, выскочил прочь. Что испугало его там?

Нет! Не как насильник-завоеватель, не как вор, не как гость, все равно, званный или незванный; Тиберий желает войти туда как вернувшийся домой долгожданный хозяин. Войти при ликующих воплях народа, машущего пальмовыми ветвями, под гром музыки, в парадной одежде первосвященника...

И это будет часом его величайшего торжества. Достойной наградой за безупречно прожитую жизнь!

И с этого начнется иная, поистине Новая эра человечества...

«*Horas non numero nisi serenas?*» Нет, «...*nisi astras!*» В счет идут только звездные часы!

Получив эти полномочия, он передаст их так, как пожелает. Его наследники – как и он, верховные понтифики Рима – должны так же свободно, легко и празднично входить в этот Храм, в его Святая Святых. Уже Калигула, его внук и, возможно, наследник, должен туда так войти. Иначе он, Тиберий, уйдет из этого мира, не все в нем доделав.

...Все, что должен был сделать мессия, сделал он, Тиберий. Дело теперь за иудеями. Разумеется, его вступление в Храм должно быть абсолютно законным, легитимным. Их верховный первосвященник должен сам ввести его туда, официально верить ему титул и полномочия... Как этого добиться? Как утвердить там законного и в то же время нужного Риму – нужного мне – первосвященника?

² Еврейский дух (лат.).

¹ Этот храм запирался в дни, когда нигде на территории Римской империи не велось никаких военных действий.

В Иудее сейчас Валерий Грат. Он меняет тамошних верховных понтификов как повар – блюда на столе. Анан, Исмаил, Элеазар, Симон Канфера... Ни один не оказался на высоте положения! Ни один не проникся в должной мере идеей величия императора Рима. Теперь Грат поставил Иосифа, тестя бывшего первосвященника Анана. Говорит – этот подходит!..

Полгода назад по всем крупным восточным городам разъехались гонцы, частным образом сообщившие заинтересованным лицам, что принцепс не будет возражать против небольшой дискуссии в Риме по вопросу о том, где, в каком именно городе должен стоять храм, посвященный его гению. Никому конкретно они ничего не предписывали, но намекали, что цезаря, безусловно, удивит, если кто-то проявит равнодушие к этому вопросу. Кроме того, победитель конкурса сможет рассчитывать на широкую помощь казны, и не только в деле строительства или реконструкции храма... А там, глядишь, город с храмом цезаря мог и на налоговые льготы рассчитывать, прочие послабления... Речь, таким образом, шла о многих и многих миллионах сестерциев в перспективе. Умные люди не могли не понимать этого, а евреи – умные люди.

Тем самым он бросил свой жребий. Бог знает о его заветном желании и найдет способ выполнить его. Все должно произойти как бы само собой. Если Ему будет угодно. Поэтому он до сегодняшнего дня удерживался, не вникал в этот вопрос, оставив его на усмотрение специально созданной сенатской комиссии.

И вот здесь и сейчас, в храме Согласия, решается его судьба. Сейчас он увидит, как разлеглись кости. Представители городов съехали со своими предложениями и вариантами, они спорят между собой перед лицом Сената. Сочли ли, наконец, иудеи возможным пойти на компромисс со своими предрассудками и принять его покровительство? В самое ближайшее время он узнает это... И, разумеется, разумеется, конкурс выиграют именно они... Но сначала он хочет послушать, как именно они станут доказывать необходимость помещения его статуи в Храм. А уж потом...

А уж потом он не поспеет на реконструкцию Храма.

Сейчас его с неслыханной щедростью перестроил и отделал Ирод, но то, что сделает с Храмом Тиберий, будет настолько же величественнее, насколько Рим величественнее Иудеи. Они получают все, чего пожелают – золото, самоцветы, кедровый лес, жемчуг, слоновую кость. Никакая цена не кажется ему слишком высокой за вечное посмертное блаженство.

День, в который здесь выступит представитель Иудеи, – сегодняшний или завтрашний – Тиберий отметит в счете дней белым камешком.

«Horas non numero nisi serenas»...

Тиберия начинает мучить весьма редкое для него чувство – нетерпение. Кто выступает? Все еще Галикарнасс?

Тиберий делает жест Сеяну, и тот, с полувзгляда понимая своего повелителя, подсовывает ему табличку. Лаодикея, Магнесия, Галикарнасс, Пергам, Эфес, Милет, Илион, Сарды, Смирна, – читает Тиберий. Брови его удивленно приподымаются, на лице проступают удивление, усталость, и наконец, брезгливость, отвращение:

– Это – все?

В финале конкурса блистал своим отсутствием представитель того единственного города, ради которого все было затеяно! Тиберий проиграл, еще не начав игры. Тот, кого он считал соперником, просто-напросто не пожелал сесть с ним за игорный стол.

Ну что ж, они сами выбрали свою судьбу...

– Вызови мне Пилата, – роняет он Сеяну. – Я сменю Грата на Иудее. Он ничего не может!

И добавляет длинное и невероятно грязное ругательство.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Текст этот появился в издательстве «самотеком». Однажды июльским вечером 2001 года, когда асфальт под ногами плавился и тек, а стены зданий источали зной не хуже микроволновки, в помещение редакции зашел высокий и худой, с рыжими усами донской казак. Казак – он так и представился, – из тех, что первыми, по собственному желанию ринулись на защиту Югославии... Он положил на мой стол толстенную пачку машинописных листов и отрывисто спросил:

– Это можно издать?

Первый же, беглый взгляд на листы привел меня в восторг. Великолепная, пожелтевшая до оттенка слоновой кости бумага первого листа (на нем раскинул острые крылья державный орел со свастикой в когтях) топорщилась многочисленными умлаутами. Текст был напечатан на машинке, готическим шрифтом, каким печатались бумаги немецких оккупационных властей в последнюю мировую войну. Это, видимо, была «сопроводилка», адресованная в Аненэрбе, «институт расового наследия». На листе стояла единственная фраза: «При сем препровождаю полный текст документа, о котором уведомлял Вас отношением от 11.11.43. Хайль Гитлер!» И размашистая подпись.

Второй лист, как и все прочие, был напечатан тем же шрифтом, но не по-немецки: это была латынь. Речь шла об античных временах. Роман, написанный каким-то штабным воякой с рунами СС на мундире?

– Откуда это у вас? – спросил я.

И казак рассказал удивительную историю. Все началось с того, что рядом с железнодорожными путями взорвалась натовская авиабомба. Она-то и вывортила из земли немецкий полевой сейф оккупационных времен. В районе этом в свое время действовали югославские антифашисты, видимо, сейф оказался в земле в результате крушения поезда. Бирку, на которой значился номер части, сорвало осколками, от нее оставались лишь погнутые заклепки. Только вдавленные в сталь буквы «REINMETALL» неопровержимо свидетельствовали о

былой принадлежности сейфа «Третьему рейху». Он был герметично заварен. «Золото? – подумали ребята. – Бриллианты?» В сейфе что-то погромыхивало...

Когда рассказчик дошел до этого места, передо мной так и поплыли перстни, сорванные с отрубленных пальцев, серьги, с мясом вырванные из ушей расстрелянных или еще живых девушек, золотые зубы, выломанные из челюстей стариков...

– Целый ящик золота! – продолжал казак. – Так мы подумали. Что еще могли посылать фашисты в фатерланд в такой надежной упаковке?

...Свистящий диск «болгарки» срезал одну из стенок сейфа. Оттуда не посыпалось ни жемчугов, ни бриллиантов. Там было множество гильз калибра 88 мм (от длинноствольной пушки L-71, – заметил рассказчик, – такую ставили и на «Тигры», и на самоходки. Отличное орудие: высокая начальная скорость снаряда, прекрасная настильность...). Гильзы были попарно соединены, попросту говоря, аккуратно подрезаны и вколочены друг в друга, так что получались поместительные пеналы.

Новый всплеск радости. Бриллианты – в пеналах! Но в них оказалось вот это.

– Здесь – все? – недоверчиво спросил я. – Весь сейф?

– Нет, – сказал казак. – Мы все поделили... По жребию. Нас было двенадцать – и пеналов столько же. Что б вы еще придумали? Мы их поделили *до того*, как вскрывать.

Выяснилось, что бумаги с машинописным текстом оказались только в одном пенале – том, который достался моему посетителю. В остальных, впрочем, тоже был текст, видимо, тот же самый, – но написанный на коже.

– Вот такой, – сказал казак. – Мне ребята дали один лоскут. Чтобы обидно не было. А я им – по своей страничке...

И он показал мне лоскут кожи, производившей впечатление глубочайшей древности. Буровато-коричневый пергамент, скорее всего телячий, в беловатых и зеленоватых пятнах – следах плесени. Когда-то он был тщательно выдублен и выглажен, но от времени пошел морщинами. С одной стороны – более светлой – пергамент был покрыт не текстом даже, а едва различимыми,

бледными следами чернил. Однако, присмотревшись, можно было довольно свободно читать латинский текст, написанный чрезвычайно манерным почерком с наклоном влево и сложными виньетками у знаков, выступающих под и над строкой.

– Я нашел, откуда это, – сказал казак, и начал рыться в машинописной стопке. Действительно, на найденном им листе стоял тот же текст, что и на коже.

– Вы можете оставить это у меня до завтра? – прямо спросил я его.

Он кивнул:

– Но только не кожу!

Я не уходил из редакции всю ночь. «Файнридер» – отличная программа. К утру у меня слипались глаза, но весь текст был на жестком диске.

И очень хорошо, что я это сделал! Потому что утром, чуть свет, казак пришел снова, без всяких объяснений забрал листы, тщательно их пересчитав, и больше не появлялся – по сей день.

Отдавая в печать эту книгу, я надеюсь, что лица или организации, у которых в настоящее время находится оригинал, свяжутся со мной. Сегодня текст не представляет никакой документальной ценности. Необходимо научное его издание – на языке оригинала, с точным подстрочным переводом, с комментариями. Я не могу сделать даже этого, ибо «файнридеровский» латинский оригинал, после того, как я сделал первый, прикидочный, корявый его перевод, погиб у меня вместе с жестким диском, – я подозреваю вирус...

Необходимы текстологическая, почерковедческая, папирологическая и иные-прочие экспертизы, которые установят или подлинность документа, или злонамеренную фальсификацию. А фальсификация, в свою очередь, могла быть выполнена либо в воюющей Германии (для придания фальшивке документальной достоверности поддельщик мог взять палимпсесты древних пергаментов), либо задолго до того – в Византии, например. Кем, зачем, с какой целью?

Пока научное издание не осуществлено, – и будет ли еще осуществлено? – я прошу читателей не связывать имена фигурирующих в книге лиц с реальными историческими и мифологическими персонажами. Я довольно сильно переработал и сократил текст (он изобиловал скучнейшими длиннотами), добавил несколько эпиграфов, возможно, не всегда удачно, – и прошу отнестись к получившемуся повествованию как к художественному вымыслу или, если угодно, апокрифу. Надеюсь, что – пока!

Первые семь страниц собственно к тексту не относятся – на них неведомый переписчик уверяет, что сей текст не может стать достоянием читателя, пока не восполнятся некие «времена и сроки», и живописует страшную судьбу, выпавшую на долю книги и ее хранителей: и убивали-то за нее, и ссылали-то, и сама-то книга, украдкой переписанная, не единожды была ввержена в огонь рукой палача... Почему, спрашивается? Для современного читателя она выглядит совершенно невинно. Я опустил эти страницы. Надо понимать, что «времена и сроки» восполнились, если она будет напечатана?

Еще одно. На титульном листе выставлено имя Сервия Юлия Макрона. Дело в том, что значительные фрагменты текста (он стилистически весьма неоднороден) написаны от первого лица: «Я приказал стенографистке зафиксировать для потомства эти слова божественного Тиберия...» и т.п., и простейший анализ показывает, что это «я» везде относится или может относиться именно к нему. Я ввел Юлия Макрона в число действующих лиц, не желая приписывать себе текста, автором которого, в сущности, не являюсь.

И последнее. Везде, где, на мой взгляд, это придавало тексту дополнительную выразительность или убедительность, я оставлял в переводе латинские фразы, по возможности отыскивая их античные источники.

СОДЕРЖАНИЕ

1

РОДОССКАЯ ПАУТИНА	4
Пролог. ЦИНТИЯ	6
ГЛАВА 1. ТИБЕРИЙ	22
<i>Ауспиции</i>	22
<i>Иксион</i>	34
ГЛАВА 2. МАРА	38
ГЛАВА 3. МИР ФОРМИРОВАНИЯ	54
<i>Кадм</i>	66
<i>Авива</i>	70
ГЛАВА 4. «ОДЕЖДЫ КОЖАНЫЕ»	73
<i>Древо познания</i>	76
<i>Галут</i>	88
<i>Слово и плоть</i>	92
ГЛАВА 5. МУХИ В ПАУТИНЕ	98
<i>Машиах или Спаситель?</i>	104
ГЛАВА 6. ТОРА	113
<i>Сокрытие</i>	121
<i>Праздник Таммуза</i>	130
ГЛАВА 7. ЕДИНСТВЕННОЕ ЛЕТО	135
<i>Луцилий Лонг</i>	147
<i>Дядя и племянница</i>	148
ГЛАВА 8. КОЛОСС РОДОССКИЙ	152
ГЛАВА 9. ИСЦЕЛЕНИЯ	174
ГЛАВА 10. ФРАСИЛЛ	187
<i>Вера и верность</i>	191
<i>Вода и вино</i>	199
ГЛАВА 11. НЕКРОМАНТЫ	205
ГЛАВА 12. ПРЕДАТЕЛЬСТВО	223
<i>От яиц Леды</i>	226
ГЛАВА 13. ПОБЕГ	238
<i>Каин</i>	238
ГЛАВА 14. НЕУДАВШЕЕСЯ ЧУДО	246
ГЛАВА 15. ФРАСИЛЛ И ЛОНГ	259
Эпилог. РЕЗНЯ В БЕЙТ-ЛЕХЕМЕ	266
<i>Ночь</i>	271
<i>Утро</i>	276
ИНТЕРЛЮДИЯ	280
ИГРА В ИЗЛОМАННЫЕ КОСТИ	280

ТИБЕРИЙ. РИМ. 26 г. н.э.	281
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА	299
СОДЕРЖАНИЕ	303
КНИГА ВТОРАЯ	305
КАМЕНЬ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ	305
КНИГА ТРЕТЬЯ	306
САД РАСХОДЯЩИХСЯ АПОСТОЛОВ	306

Книга вторая

КАМЕНЬ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

В числе действующих лиц – сын Мары Шмуэль, Иоханан Отшельник, бывший первосвященник Симон Канфера и действующий – Ханан, Симон Волхв, девица легкого поведения Мария из города Магдалы, Тиберий, теперь уже император Рима, прокуратор Иудеи Понтий Пилат, претор Сирии Вителлий и ряд других известных лиц. События происходят в течение трех недель в середине лета 35 г. н.э., главным образом на Иордане, но также в Вифсаиде, Иерусалиме, Кесарии, Риме и других местах империи.

Книга третья

САД РАСХОДЯЩИХСЯ АПОСТОЛОВ

Те же лица, что и во второй книге; события происходят в течение недели накануне праздника Песах 36 г. н.э. и концентрируются вокруг Храма в Иерусалиме.